Ив. Ивановъ.

ИЗЪ ЗАПАДНОЙ КУЛЬТУРЫ.

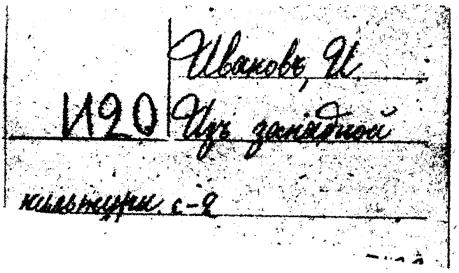
Статьи по вопросамъ литературы, философіи, политики, искусства и общественной жизни Западной Европы новаго времени.

ВТОРОЙ СБОРНИКЪ.

Изданіе журнала «МІРЪ БОЖІЙ».

3Л221
И20

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 43).
1900.



И20с-2

СЛАВЯНО
АС
8

Ив. Ивановъ.

ИЗЪ ЗАПАДНОЙ КУЛЬТУРЫ.

Статьи по вопросамъ литературы, философіи, политики, искусства и общественной жизни Западной Европы новаго времени.

ВТОРОЙ СБОРНИКЪ.

Изданіе журнала «МІРЪ БОЖІЙ».

БИБЛІОТЕКА
СОЦІАЛЬ-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
АКАДЕМІИ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 43).
1900.

13

ГДѢ НАСТОЯЩАЯ ФРАНЦІЯ?

По поводу книги—*France*, by John Courtenay Nodley, London 1898.

I.

До послѣднихъ дней Франція не утратила своей, по крайней мѣрѣ, трехвѣковой привилегіи — привлекать вниманіе всего міра не только событіями, но и заурядными фактами и происшествіями. Объясняется это очень просто. Нигдѣ на земномъ шарѣ съ такимъ усердіемъ не поднимаются и не обсуждаются вопросы общечеловѣческаго содержанія, нигдѣ такъ много не говорятъ объ идеяхъ и принципахъ, и нигдѣ эти рѣчи не выходятъ такими красивыми и удобопонятными. Привилегія — завидная, принесшая не мало славы Франціи и существенной пользы міровой публикѣ.

Но именно вопросъ о пользѣ, къ сожалѣнію, не можетъ имѣть одного постояннаго значенія. Онъ мѣняется до безконечности, сообразно съ обстоятельствами, и иной разъ невольно является мысль: было бы гораздо лучше, если бы міръ поменьше занимался Франціей и не придавалъ слишкомъ общаго смысла ея практической и всякой другой жизни. Иначе впечатлѣніе и выводы получаются совершенно неосновательныя и ни въ какомъ случаѣ не желательныя. Именно въ такомъ положеніи находится въ настоящее время одно изъ самыхъ существенныхъ явленій европейской культуры. Франція изъ году въ годъ сообщаетъ ему такое освѣщеніе, направляетъ его по такому скользкому и ломкому пути, что обобщать фактъ—значитъ рѣшительно отчаяться въ одномъ изъ самыхъ трудныхъ культурныхъ и политическихъ завоеваній Запада.

Мы говоримъ о парламентскомъ строѣ.

Ни для кого не тайна, что за все время третьей республики французскій парламентъ дѣйствуетъ далеко неудовлетворительно. Повидимому, онъ обставленъ всѣми условіями для самаго блестящаго развитія; всеобщая подача голосовъ, неограниченный доступъ къ политической дѣятельности для талантовъ всякаго званія и состоянія, безпрекословная власть народнаго представительства во внѣшней и внутренней политикѣ... Чего бы, кажется, больше для торжества настоящей свободной, просвѣщенной демократіи? Въ дѣйствительности — самые нелѣпые результаты.

Прежде всего парламентъ съ самаго начала не стяжалъ сочувствія самыхъ образованныхъ и интеллигентныхъ французовъ.

И это отрицательное отношеніе не только не разсѣялось, но даже съ теченіемъ времени усилилось. Нигдѣ литература и наука съ такимъ постоянствомъ не нападаетъ на парламентскій режимъ, какъ во Франціи, нигдѣ среди высшей интеллигенціи нѣтъ такого количества индифферентовъ и нигдѣ холодные историки и критики съ такой готовностью не превращаются въ памфлетистовъ, лишь только коснется дѣло демократіи, всеобщей подачи голосовъ, вообще республиканской конституціи.

Les misères parlementaires. Парламентскія пошлости—вотъ обычный отзывъ французскихъ первостепенныхъ талантовъ о народномъ представительствѣ. И книжный рынокъ Парижа предлагаетъ любознательности міровой публики романы съ краснорѣчивыми заглавіями—*Les valets*, *Les mediocres*,—и эти «лакеи» и «посредственности» — никто иные, какъ депутаты, избранники свободной и полноправной демократіи. Предъ нами—самая удручающая галлерея, и для нея нѣтъ лучшей характеристики, чѣмъ старинное восклицаніе Фигаро по адресу выродковъ стараго монархическаго строя: médiocre et rampant et l'on arive â tout, т.-е. надо быть посредственностью и пресмыкаться и достигнешь всего. Одно съ другимъ неразрывно связано: только посредственность можетъ пресмыкаться, а это необходимо: самодержавная демократія любитъ лесть и ухаживанья. Попасть въ парламентъ—значитъ пройдти многія игольныя уши и узкія ворота. Естественно,—въ результатѣ подбирается собраніе лишенное истиннаго гражданскаго мужества и совершенно чуждое высокимъ политическимъ стремленіямъ. Такого взгляда держатся всѣ «интеллигенты». Они упорно уклоняются отъ чести—представлять націю и презрительно пожимаютъ плечами въ отвѣтъ на предложенія министровъ и избирателей. Если они снисходятъ до объясненія причинъ своего презрѣнія,—убѣдительность является поразительная.

По мѣрѣ того какъ демократія старѣетъ, роль принциповъ и безкорыстныхъ идей все болѣе суживается. На сцену выступаютъ очень сложные партійные и личные интересы, борьба обостряется, возникаетъ необходимость—вступать въ компромиссы, идти на взаимныя уступки, политика *маневровъ* постепенно вытѣсняетъ политику идей и отъ государственныхъ людей требуется не столько государственное мышленіе, сколько искусство справиться съ случайными людьми и обстоятельствами. Политика становится яркимъ ремесломъ и очень спеціальнымъ. Можно быть первостепеннымъ мыслителемъ, ученымъ, писателемъ и оказаться совершенно безпомощнымъ на парламентской аренѣ, съ перваго же шага запутаться въ мелкихъ интригахъ, въ едва уловимыхъ сѣтяхъ и окончательно потерять голову.

Все это отлично сознаютъ высшіе интеллекты Франціи и предпочитаютъ быть управляемыми, чѣмъ управлять, — по крайней мѣрѣ спокойнѣе и для самолюбія меньше риска.

Но такъ разсуждаютъ не одни мыслители и ученые. Отъ парламента бѣгутъ даже призванные, повидимому, политики. Они, вкусивъ ораторской славы, рады сбросить бремя и предаться

пріятнымъ воспоминаніямъ. Таковы, напримѣръ, чувства Клемансо, выброшеннаго обстоятельствами за бортъ политическаго корабля.

Друзья поспѣшили было заявить соболѣзнованіе и вызвать надежды у отставнаго jeune premier палаты,—Клемансо энергически отклонилъ дружескія изліянія. Онъ счастливъ, переставъ произносить рѣчи. Не принадлежать ни къ какой парламентской партіи—да это высшее блаженство. «Стать самимъ собой, когда захочется взяться за перо и сказать себѣ: вотъ какъ я думаю объ этомъ предметѣ и объ этомъ человѣкѣ,—и ничто въ мірѣ не помѣшаетъ мнѣ напечатать свое мнѣніе». Напечатать только потому, что это считаешь истиной и правдой.

Ничего подобнаго невозможно въ званіи депутата, — и даже для Клемансо, вождя партіи, общепризнаннаго перваго современнаго оратора. Что же должны чувствовать менѣе счастливые и сильные: или невыносимое, обидное рабство, или разъ навсегда покончить съ своимъ личнымъ достоинствомъ и своей нравственной свободой.

Наконецъ,—единомышленницей мудрецовъ и блестящихъ ораторовъ оказывается, повидимому, вся нація, во всякомъ случаѣ ея самая здравомыслящая и дѣятельная часть. Этотъ фактъ утверждаютъ единодушно и французы и иностранцы, добросовѣстно изучавшіе психологію французской демократіи.

Англичанинъ, напримѣръ, подробно разсказываетъ свои впечатлѣнія во время парламентскихъ выборовъ во Франціи. Дѣло происходило въ одномъ изъ южныхъ городовъ. За голоса избирателей ожесточенно боролись два кандидата и выборъ представлялся крайне затруднительнымъ: оба заявляли себя отчаянными сторонниками всяческихъ свободъ и даже принадлежали къ одной и той же масонской ложѣ. Споръ выходилъ бурнымъ и казался безвыходнымъ. Англичанинъ не дождался конца и оставилъ кафе—арену состязаній. Дорога привела его въ совершенно другой міръ.

Это былъ скромный, но чрезвычайно уютный домикъ. Хозяинъ—ремесленникъ, вполнѣ обезпеченный работой. Отъ всей обстановки и отъ самихъ обитателей вѣяло невозмутимымъ миромъ и довольствомъ. Англичанинъ съ первой минуты почувствовалъ, что предъ нимъ виновники истиннаго благоденствія и истинной славы Франціи, идеальное царство—труда, любви къ родинѣ, семейныхъ добродѣтелей, порядка, земледѣльческой культуры, неутомимой заботливости женщинъ о семьѣ. На иностранца повѣяло воздухомъ старой латинской цивилизаціи, столь необычнымъ среди высшихъ сословій Франціи.

Онъ, разумѣется, поинтересовался узнать, что думаетъ хозяинъ дома на счетъ выборовъ? «Я не занимаюсь политикой», отвѣтилъ тотъ. Изъ дальнѣйшаго разговора выяснилось, что этого сорта граждане легко примиряются со всякимъ режимомъ, лишь бы онъ позволялъ имъ мирно заниматься своими дѣлами. Политика, по ихъ мнѣнію, не должна привлекать людей солидныхъ и трудолюбивыхъ.

Англичанинъ пришелъ въ умиленіе: вотъ настоящая Франція,

сказалъ онъ себѣ, а не та, что шумитъ въ кафе и безтолково рѣшаетъ неразрѣшимую для нея задачу — управлять судьбами отечества.

За много лѣтъ до англичанина къ тѣмъ же выводамъ пришелъ Тэнъ. Онъ четыре раза исколесилъ страну изъ конца въ конецъ, совершилъ множество мелкихъ путешествій, бесѣдовалъ съ рабочими и съ крестьянами, жилъ по цѣлымъ мѣсяцамъ въ деревняхъ, и всюду встрѣчалъ одни и тѣ же чувства и мысли. Большинство населенія владѣютъ земельной собственностью, у многихъ имѣются процентныя бумаги, комфортъ ихъ постепенно увеличивается и они серьезно заняты вопросомъ экономическаго преуспѣянія. У нихъ уже не можетъ быть кучи дѣтей, что совершенно безсмысленно: крестьянинъ-отецъ мечтаетъ сдѣлать изъ своего сына обезпеченнаго собственника, а то и monsieur. Они любятъ копить сбереженія и о всякомъ режимѣ судятъ исключительно съ точки зрѣнія уменьшенія или увеличенія фамильнаго достоянія. Они, напримѣръ, въ плебисцитѣ высказались за имперію, по очень простой причинѣ: въ теченіе двадцати лѣтъ императорскаго режима они продаютъ свои продукты вдвое дороже *). Больше ничего и не надо и рѣшительно все равно, объявятъ ли въ Парижѣ республику или диктатуру. Именно эту Францію Тэнъ считаетъ настоящей—*la France veritable*.

Она, очевидно, совсѣмъ не заинтересована въ высшей конституціонной политикѣ. Вниманіе ея могутъ привлечь вопросы исключительно экономическаго содержанія, вопросъ о налогахъ, пошлинахъ, всякаго рода повинностяхъ. А вся парламентская борьба, игра въ министерства, группы и партіи—для нея праздная и тунеядная забава особой породы людей, менѣе всего почтенной и полезной.

Если теперь вы обратитесь за разрѣшеніемъ задачи къ ближайшимъ очевидцамъ и участникамъ дѣла, вы получите тотъ же отвѣтъ и въ очень сильной формѣ. Вамъ со всѣми подробностями объяснятъ, какъ создаются въ современной Франціи государственные люди, т.-е. представители народа и у васъ уже ни малѣйшихъ основаній сомнѣваться въ проницательности Тэна и англичанина. Только въ странѣ безусловно неполитической возможенъ такой порядокъ вещей и только при полномъ и предвамѣренномъ равнодушіи націи къ парламенту могутъ процвѣтать такіе нравы.

Все дѣло находится въ рукахъ кучки спеціалистовъ, мастеровъ избирательнаго искусства. Они составляютъ списки избирателей, по произволу мѣняя на бумагѣ мѣста ихъ жительства, вписывая покойниковъ, вычеркивая живыхъ и снабжая гражданскими правами лицъ, безправныхъ по суду. Это первый маневръ. Дальнѣйшіе столь же призрачны, но не менѣе дѣйствительны. Кандидатъ въ депутаты начинаетъ выпускать газету, исключительно на время выборовъ. Всѣ номера очень искусно направлены

*) Taine. *L'opinion en Allemagne et les conditions de la paix. Essais de critique et d'histoire.* Paris 1882.

къ одной цѣли: подъ всевозможными соусами и съ особенно пикантнымъ вкусомъ подать избирателю намѣченное имя. Передовая статья, хроника, фельетонъ—вездѣ царство одного и того же господина, признаннаго благодѣтеля края. Но рядомъ съ нимъ появляется другое лицо. Это не кандидатъ, а такъ называемый *шампиньонъ*, все его назначеніе въ томъ, чтобы отвлечь нѣсколько голосовъ отъ настоящаго, но почему-либо непріятнаго кандидата.

На помощь газеты являются ораторы, спеціально выдрессировавшіе себя для выборныхъ агитацій. Ихъ услуги принадлежатъ всякому желающему. Ораторъ даже не живетъ въ данномъ округѣ: онъ путешествуетъ по всей странѣ, будто гастролирующій артистъ. Но это не мѣшаетъ ему вездѣ и за кого угодно бросаться въ свалку съ неудержимымъ азартомъ и пускать въ ходъ какія угодно средства.

Англичанинъ разсказываетъ, что въ его присутствіи одинъ изъ кандидатовъ былъ обвиненъ противной партіей въ братоубійствѣ. Несчастный кандидатъ клялся всѣми святыми, что у него никогда даже и не было брата. Обвинители не вѣрили и требовали доказательствъ. Но доказать, что у человѣка никогда не было брата, дѣло хитрое и въ теченіе всей избирательной кампаніи оратора неизмѣнно прерывали криками: «Поговорите намъ лучше о братѣ! Онъ жилъ бы до сихъ поръ, если бы не вы!..»

И это не исключительный фактъ. Клевета — самый обычный пріемъ политической борьбы во Франціи. Президентъ Форъ испыталъ ея прелести при самомъ вступленіи на свой постъ, испытываютъ ихъ и другіе. Полный просторъ клеветѣ при самомъ зарожденіи будущаго государственнаго мужа. Памфлеты, афиши, оскорбительные крики на публичныхъ собраніяхъ бурей проносятся надъ головой кандидатовъ въ депутаты. Устраиваются особые миттинги, съ цѣлью порицанія, оправданія или распространенія пущеннаго слуха. Температура ораторовъ и публики на этихъ миттингахъ достигаетъ чуть не точки кипѣнія. Первобытные инстинкты, столь свойственные всякой толпѣ, овладѣваютъ даже людьми, при обычныхъ условіяхъ сдержанными и благоразумными. Они, въ отвѣтъ на нападки и обвиненія, сами принимаются чѣмъ попало громить врага, не щадятъ личной и семейной чести, не оставляютъ въ покоѣ мертвецовъ, сыплютъ самой откровенной бранью, выносятъ ее за предѣлы собранія и расклеиваютъ на уличныхъ столбахъ.

Не бываетъ недостатка и въ физическихъ рѣшеніяхъ споровъ, въ обращеніяхъ за помощью къ полицейской и военной власти. Однимъ словомъ, страна впадаетъ будто въ пароксизмъ лихорадки, весьма похожій на временное умопомѣшательство и легко представить, съ какимъ чувствомъ собственнаго достоинства и въ блескѣ какого общественнаго почета избранники націи являются въ парламентъ и вооружаются мудростью законодателей!

Мы говоримъ—страна, избранники націи, не всуе ли произносятся эти слова, когда рѣчь идетъ о герояхъ подобной политики? Можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ они вполнѣ заслуживаютъ аристократическаго презрѣнія ученыхъ и пренебрежительнаго

равнодушія здравомыслящаго народа? Отвѣтъ внѣ сомнѣнія для англичанина и французскихъ интеллигентовъ. Всѣ они смотрятъ приблизительно въ одну сторону, далеко за предѣлы современной республики, вплоть до классической эпохи Людовика XIV.

Это не новость. Французскихъ академистовъ во снѣ и на яву преслѣдуетъ неотразимый образъ августѣйшаго мецената, все равно будь это прирожденный монархъ бурбонскаго поколѣнія или «коронованный солдатъ». Вольтеръ въ своихъ мечтахъ о просвѣщенномъ деспотѣ, о государѣ-философѣ, повидимому, навсегда предвосхитилъ національный политическій идеалъ французскихъ высшихъ умовъ. И мы безпрестанно слышимъ то совсѣмъ откровенныя, то кое-какъ вуалированныя хвалы доброму старому времени. Тэнъ пропѣлъ совершенно искренній и чрезвычайно громкій гимнъ старому режиму со всѣми его историческими красотами, даже съ аристократическими привилегіями и всякаго рода общественными неравенствами. Ужъ очень спокойно жилось при такомъ порядкѣ! Каждый сверчокъ зналъ свой шестокъ: и какой-нибудь мѣщанинъ не лѣзъ въ господа, и мужикъ не мечталъ сдѣлаться владѣтелемъ замка. У каждаго было свое заранѣе опредѣленное мѣсто на общественной лѣстницѣ и это именно, по соображеніямъ историка, создавало удивительную ясность духа у подданныхъ старой монархіи, и они безъ перерыва распѣвали пѣсни и разсказывали анекдоты *). Такъ въ теченіе вѣковъ и оставалась бы Франція обѣтованной землей, если бы не революція.

Она и есть источникъ всѣхъ бѣдствій. За ея исторіей лежитъ настоящая Франція—покорная, разбитая на соціальныя клѣтки, мѣщански-ограниченная.

Такъ склоненъ думать и англичанинъ. Онъ не считаетъ революцію прогрессивнымъ явленіемъ. Всѣми достоинствами, какія имѣются во французскомъ характерѣ и во французской культурѣ, нація обязана прошлому, старымъ преданіямъ, расовой наслѣдственности. Въ эти достоинства отнюдь не входитъ современное политиканство. Они ограничиваются строгой семейной нравственностью, изумительной бережливостью, аккуратностью, мелочной методичностью во всѣхъ дѣйствіяхъ и высшей практической выдержанностью. Личность, обладающая этими добродѣтелями—полный контрастъ парламентскому политику—вертлявому, непосѣдливому, вѣкъ перебѣгающему отъ одного министерства къ другому, безпрестанно мѣняющему положеніе министра на званіе простого депутата или просто адвоката и вѣчнаго политикана.

Естественно, англичанинъ не меньше Тэна восхищается государственнымъ умомъ Наполеона, умѣвшаго до послѣдней степени съузить предѣлы политическихъ интересовъ для своихъ подданныхъ и требовавшаго отъ нихъ именно только расовыхъ доблестей—аккуратности и муравьинаго трудолюбія.

И онъ, говоритъ намъ, былъ правъ. Это и есть настоящій идеалъ всякаго солиднаго француза. Онъ по природѣ матеріалистъ

*) Taine. *Le régime moderne*. I, 258—9, 311—8.

и идеально трезвый практикъ: недаромъ влюбленность французскаго крестьянина въ свою земельную собственность давно вошла въ пословицу. Зачѣмъ ему какія-то общечеловѣческія идеи, принципы высшей политики, вопросы о разныхъ формахъ правленія? Для него неизмѣримо интереснѣе смѣна погоды въ его мѣстности, чѣмъ какія угодно головокружительныя комбинаціи государственныхъ умовъ.

И онъ систематически уклоняется отъ своего гражданскаго долга. Его политическій индифферентизмъ не менѣе глубокъ и не излѣчимъ, чѣмъ у его ученыхъ соотечественниковъ, хотя и по разнымъ причинамъ. Тѣ презираютъ политиковъ, потому что убѣждены въ ихъ посредственности и своекорыстныхъ цѣляхъ,—а народъ просто не интересуется парламентскими партіями, какъ совершенно ненужными ему въ его обыденныхъ дѣлахъ.

Но тотъ же народъ врядъ ли согласился бы вычеркнуть изъ отечественной исторіи революцію. Давно замѣчено—отвращеніе къ старому режиму единственное безусловно реальное чувство французскаго крестьянина и мелкаго собственника. Токвиль утверждаетъ,—именно это чувство пережило всѣ революціи и всѣ политическія формы. Съ Токвилемъ были согласны даже искреннія поклонники бурбонской монархіи, въ родѣ Малле-дю-Пона, жесточайшаго гонителя революціоннаго движенія. Надо, слѣдовательно, думать, что переносить Францію по ту сторону великой революціи по крайней мѣрѣ неосновательно. Она никоимъ образомъ не согласилась бы снова впречься въ колесницу феодализма и отказаться отъ безусловнаго соціальнаго и политическаго равенства.

И все-таки она не Франція республики, это слишкомъ очевидно, и даже всеобщая подача голосовъ для нея благо довольно безразличное. Съ другой стороны, парламентъ въ его современной исторіи—учрежденіе явно нецѣлесообразное. Фактъ признаютъ сами политики и притомъ несомнѣнно либеральнаго направленія.

Достаточно познакомиться съ содержаніемъ парламентскихъ преній, съ результатами сессій, чтобы убѣдиться въ практической безплодности политическихъ схватокъ. Цѣлыми годами остаются безъ движенія настоятельнѣйшія экономическія и соціальныя реформы, и десятки засѣданій тратятся на запросы по внѣшней политикѣ, по поводу разныхъ инцидентовъ, по случаю партійныхъ счетовъ, и такъ-называемые «большіе дни» парламента знаменуются потокомъ совершенно безцѣльнаго краснорѣчія, запальчивыми дебатами о формулахъ перехода къ очереднымъ дѣламъ и особенно о довѣріи или недовѣріи министерству.

Но пусть хотя бы эти вопросы рѣшались по какому-нибудь опредѣленному плану, группировали депутатовъ въ болѣе или менѣе устойчивое большинство. Ничего подобнаго. Ни одно министерство не можетъ поручиться за свою участь даже на пространствѣ одного засѣданія, т. е. нѣсколькихъ часовъ. Сегодня, положимъ, министерство получило радикальное большинство, но это не значитъ, будто такое большинство существуетъ въ палатѣ: на слѣдующій день радикалы могутъ соединиться съ реакціонными группами и низвергнуть министерство за умѣренность. И власть без-

престанно переходитъ отъ радикаловъ къ умѣреннымъ и наоборотъ,—а реформы остаются безъ движенія въ портфеляхъ министровъ. Все это калифы на часъ и вся ихъ энергія и искусство сполна поглощается «маневрами», т. е. текущими изворотами между партіями. Правительственная политика сводится съ перваго дня до послѣдняго къ отраженію крупныхъ и мелкихъ натисковъ, рѣже всего принципіальнаго характера.

Можно ли при такихъ условіяхъ уважать парламентъ и считать политику дѣломъ серьезнымъ? И сами политики заявляютъ, что равнодушіе и усталость растутъ со дня на день и что все грознѣе выдвигается вопросъ о будущемъ свободы. И это послѣ столькихъ революцій и жертвъ! Десятилѣтія существуетъ всеобщая подача голосовъ, и между тѣмъ ни одинъ депутатъ не рѣшится утверждать, что парламентское большинство, по своимъ цѣлямъ и дѣятельности, представляетъ большинство націи; парламентъ, слѣдовательно, остается внѣшнимъ учрежденіемъ въ странѣ. Фактъ по истинѣ отчаянный! И онъ—внѣ сомнѣнія.

Какъ же помочь горю и въ чемъ корень недуга?

Въ отвѣтъ *политики* предлагаютъ обычныя средства, вотъ уже въ теченіе столѣтія практикующіяся во Франціи на всѣ лады. Необходима избирательная реформа. Это значитъ надо прежде всего сдѣлать избирательскій вотумъ обязательнымъ. Какая злая насмѣшка надъ самодержавной демократіей! Ее приходится *принуждать* пользоваться политическими правами, тащить честью къ избирательной урнѣ. И это говорится вполнѣ серьезно! Другая мѣра—частичное возобновленіе палаты. Она примѣнялось при реставраціи, но нисколько не способствовала совершенствованію парламентаризма. Да и какая разница выбирать палату цѣликомъ или по частямъ, ежегодно или чрезъ нѣсколько лѣтъ, если граждане не желаютъ участвовать въ выборахъ и предоставляютъ поле дѣйствія интриганамъ и выскочкамъ?

Это одно. А потомъ, въ самомъ парламентѣ республика до сихъ поръ не успѣла выработать крупныхъ партій. Депутаты распадаются на группы—это значитъ, весьма слабо примыкаютъ къ какимъ-либо принципамъ и общимъ идеямъ. Группа—это личная свита какого-нибудь отдѣльнаго искуснаго политика, его штабъ. Только большія партіи могутъ съ извѣстнымъ постоянствомъ представлять идейные интересы и властно проводить ихъ, а мелкія фракціи по неволѣ должны примыкать къ той или другой вліятельной личности и поддерживать свое существованіе сдѣлками съ частными стремленіями вождей. Очевидно, при такихъ условіяхъ большинство—нѣчто совершенно случайное и крайне измѣнчивое, потому что оно всякій разъ можетъ составиться изъ самыхъ разнородныхъ элементовъ. Такъ это и происходитъ во французской палатѣ, и министры ежечасно должны считаться съ неожиданными перетасовками группъ и изъ-за вотума довѣрія пускать въ ходъ хитрѣйшіе маневры...

Такой парламентъ, дѣйствительно, явленіе тунеядное и его не преобразуетъ никакая избирательная реформа. Корень зла, очевидно, гораздо глубже, въ самомъ французскомъ народѣ. Фран-

цузы нація не парламентская—таково естественное заключеніе изъ существующихъ фактовъ. Англичанинъ согласенъ съ нимъ и немедленно рекомендуетъ французамъ покончить съ парламентомъ, какъ учрежденіемъ заимствованнымъ, чужеземнымъ. Рекомендація, безъ сомнѣнія, слишкомъ скоропалительная, но вопросъ не становится проще. Поиски за «настоящей Франціей» рано или поздно должны стать жгучимъ, неотвратимымъ интересомъ настоящаго и будущаго. Мы думаемъ, ихъ слѣдуетъ вести историческимъ путемъ, какъ всякое изслѣдованіе національной психологіи и народныхъ идеаловъ. Англичанину не пришла эта мысль, а между тѣмъ ничего нѣтъ поучительнѣе, какъ именно историческіе корни и первые шаги французскаго парламентаризма. Рѣдко когда отдаленное прошлое столь ярко и непогрѣшимо свидѣтельствовало о будущемъ и преданія такъ гармонично совпадали съ современностью!

II.

Какъ возникла во Франціи республиканская форма правленія? Отвѣтить можно очень легко: назвать годъ учрежденія третьей республики и разсказать разныя обстоятельства. Но опредѣленіе—*третьей*—должно подорвать простоту отвѣта: слѣдовательно, замѣтитъ читатель, раньше уже было *двѣ* республики и ихъ замѣнили другія политическія формы. Очевидно, республика вовсе не такой настоятельный строй во Франціи, чтобы разсчитывать на безусловную прочность и третьяго ея появленія. И читатель будетъ вполнѣ правъ: республика менѣе всего органическое созданіе французскаго національнаго духа. Это фактъ громаднаго значенія: онъ бросаетъ истинный свѣтъ и на французскій парламентаризмъ.

Слово республика, какъ чрезвычайно чарующій звукъ, раздалось во Франціи очень давно,—немедленно по смерти Людовика XIV. Король, умѣвшій казаться великимъ, обходился со всѣми учрежденіями своего государства въ высшей степени безцеремонно, и особенно съ парламентомъ. Ему стоило появиться среди краснорѣчивыхъ гражданъ въ охотничьихъ сапогахъ и съ хлыстомъ въ рукѣ, чтобы привести къ порядку самые свободолюбивые умы. И Людовикъ производилъ съ полнымъ успѣхомъ подобные опыты. Онъ не забылъ ихъ, сочиняя наставленія для своего наслѣдника и увѣщевая его считать парламентъ сборищемъ людей трусливыхъ и ничтожныхъ.

И вотъ это самое сборище, по смерти своего владыки, вдругъ вообразило себя чуть не римскимъ сенатомъ. Воображеніе, конечно, было внушено обстоятельствами. Регентъ Филиппъ Орлеанскій обратился къ парламенту съ предложеніемъ измѣнить завѣщаніе покойнаго короля въ желательномъ смыслѣ—и парламентъ воспользовался случаемъ. Съ тѣхъ поръ въ его средѣ появляются Цицероны и Демосѳены,—такъ публично именуются особенно краснорѣчивые декламаторы. По желанію герцога Орлеанскаго, они лишили всѣхъ правъ, какими Людовикъ XIV одарилъ своихъ незаконныхъ сыновей, и вообразили, что послѣ этого они сами

пріобрѣли исключительныя политическія полномочія. Открылся рядъ эффектныхъ сценъ: парламентъ услышалъ чрезвычайно смѣлыя рѣчи, и особенно отважныхъ смѣльчаковъ парижская толпа даже на улицахъ привѣтствовала криками и аплодисментами. Они такое отношеніе публики считаютъ «особенно славнымъ и лестнымъ» и, конечно, стараются поощрять его. Они признаютъ себя «отчасти республиканцами». Въ дѣтствѣони читали греческихъ и римскихъ авторовъ, теперь настало время ставить живыя картины на мотивы школьныхъ воспоминаній. Въ учебныхъ заведеніяхъ также нашлись «отчасти республиканцы». Они восхваляли ученикамъ доблести древнихъ законодателей и героевъ, имена Брута, Ликурга и даже легендарнаго Миноса звучали необычайно интересно, и подготовляли классическіе спектакли позднѣйшихъ революціонныхъ собраній.

И все-таки ни рѣчи, ни аплодисменты, ни учебники не свидѣтельствовали о республиканскихъ стремленіяхъ всѣхъ этихъ ораторовъ и еще менѣе—націи. Они не представляли пока ни малѣйшей опасности для королевской власти. Это могъ понять всякій хладнокровный наблюдатель. Принцы королевскаго дома аплодировали въ театрѣ республиканскимъ рѣчамъ античныхъ героевъ, привѣтствовали, напримѣръ, такое восклицаніе вольтеровскаго римскаго гражданина: «Я сынъ Брута, въ моемъ сердцѣ запечатлѣна свобода и отвращеніе къ королямъ». Но вѣдь не вытекало же изъ этихъ привѣтствій дѣйствительное намѣреніе какого-нибудь герцога Шатрскаго или графа Артуа низложить Людовика XVI и объявить Францію республикой на образецъ древняго Рима.

То же самое справедливо и относительно самихъ поэтовъ, украшавшихъ свои произведенія цицероновскими цвѣтами. Тотъ же Вольтеръ пришелъ бы въ ужасъ при одной мысли быть гражданиномъ французской республики, онъ, воспѣвшій Генриха IV, не переставшій всю жизнь мечтать о Маркѣ Авреліи или Цезарѣ!

Вотъ именно въ Генрихѣ IV и заключаются истинныя идеальныя чувства нашихъ республиканцевъ. Они восторгаются Брутомъ и Ликургомъ только ради оппозиціи и немедленно готовы крикнуть *vive le roi* съ самымъ непосредственнымъ восторгомъ, лишь только имъ почудятся въ королѣ достоинства Генриха. Такъ они и поступаютъ при восшествіи на престолъ Людовика XVI.

На памятникѣ Генриха они начертываютъ надпись: *воскресъ!* Каждое слово и распоряженіе новаго государя они толкуютъ, какъ очевидныя отраженія мудрости и любвеобильнаго сердца его предка. Они готовы забыть весь классическій блескъ Цицерона и Демосѳена ради министра Тюрго, столь похожаго на Сюлли—министра Генриха IV, и опять-таки Вольтеръ будетъ просить облобызать руки министра, друга и защитника народа.

Это истинные, прирожденные монархисты. Ихъ трагедія—не болѣе какъ пышная декорація и громкая реторика. Ихъ парламентскія рѣчи въ сильнѣйшей степени разсчитаны на впечатлительность толпы. Здѣсь нѣтъ дѣйствительно гражданскаго, свободно и глубоко протестующаго міра. Парламентскіе Демосѳены,

смотря по обстоятельствамъ, то являли изъ себя неограниченно отважныхъ теоретиковъ, то трусливыхъ подданныхъ. Стоило королю устроить такъ-называемые lit de justice, т. е. лично явиться въ парламентъ, и республиканская температура немедленно падала до точки замерзанія. Гражданскія изліянія замолкали и монарху, и его совѣтникамъ открывался полный просторъ управлять по-своему усмотрѣнію «добрымъ французскимъ народомъ». Не слѣдовало, конечно, злоупотреблять этимъ правомъ и все-таки стараться сколько-нибудь уподобить современную дѣйствительность задачамъ и духу правленія «добраго короля Генриха IV», но можно было вполнѣ не опасаться грозы и землетрясенія изъ нѣдръ парижскаго парламента.

То же самое и «добрый городъ Парижъ». На улицѣ онъ рукоплещетъ Демосфенамъ и въ то же время пристально интересуется всякой мелочью изъ жизни своего короля. Людовику XV — даже ему!—онъ даетъ наименованіе *Возлюбленнаго* и не знаетъ какъ быть съ памятникомъ этому удивительному государю, гдѣ: на какой площади, его воздвигнуть. Вполнѣ надежный свидѣтель тоски чувствительно подданныхъ парижанъ пишетъ: «для Людовика Возлюбленнаго весь Парижъ превращается въ архитектора».

Эти чувства переживаютъ всѣ вопіющіе скандалы Версальскаго дворца, г-жи Помпадуръ, Дюбарри и вспыхиваютъ яркимъ блескомъ наканунѣ самой революціи. Страна призвана представить правительству свои соображенія на счетъ безнадежнаго положенія королевства,—она прежде всего спѣшитъ увѣнчать чувствами благодарности своего короля, проектируетъ монументъ *Людовику XVI, возстановителю свободы и правъ націи*, и даже на развалинахъ Бастиліи. До такой степени искрення и простодушна вѣра народа въ доброе сердце своего государя! Теперь царствующій монархъ уже окончательно отождествляется съ Генрихомъ IV, оба они рядомъ живутъ въ сердцахъ французовъ, и на потомка сыплются самые лестные эпитеты: имъ нація желаетъ придать значеніе оффиціальныхъ прозвищъ—*Благодѣтель*, *Отецъ отечества*, *Соревнователь Карла Великаго*... Сами виновники свои манифестаціи называютъ *праздникомъ чувства* и болѣе подходящее названіе трудно придумать: такъ шумны и единодушны вѣрноподданнѣйшія увѣренія и крики!

Всего за два-три мѣсяца до собранія генеральныхъ штатовъ Парижъ продолжаетъ торжествовать тотъ же праздникъ, въ театрахъ подчеркивать восторгами всякій монархическій стихъ и начинаетъ революцію, оставаясь искреннимъ почитателемъ Генриха IV и его преемника. Революція быстро растетъ, колеблетъ и рушитъ вѣковыя основы общественнаго строя, но она долго не смѣетъ прикоснуться къ трону. Самымъ отважнымъ теоретикамъ не приходитъ мысль устранить монархическую власть. Они твердо помнятъ, что даже Руссо, республиканецъ въ Женевѣ, во Франціи былъ монархистомъ; Лафайэтъ, вставшій за американскую свободу, вернулся на родину подданнымъ, короля и самъ Камиллъ Демулэнъ въ моментъ созванія генеральныхъ штатовъ сочинилъ оду въ честь Людовика XVI.

И въ началѣ революціи совсѣмъ нѣтъ республиканской партіи. Революціонное собраніе издаетъ *Декларацію правъ*, народную волю объявляетъ источникомъ всякой власти, но и для него вопросъ о французской монархіи не подлежитъ сомнѣнію, и уже послѣ разрушенія Бастиліи онъ объявляетъ французское правительство монархическимъ, хотя и подчиненнымъ закону. Одновременно съ трибуны произносится рѣчь, объявляющая всякое стремленіе превратить монархію въ республику—смѣшнымъ. Республика соотвѣтствуетъ только небольшимъ государствамъ, кромѣ того французы искони вѣковъ преданы монархіи, своимъ августѣйшимъ монархамъ. Это преданіе священно и неприкосновенно. И дальше слѣдовалъ настоящій гимнъ государю—возстановителю французской свободы, утѣшителю всѣхъ униженныхъ и оскорбленныхъ. Одного слова, одного только слова, звучащаго волшебнымъ очарованіемъ, говорилъ ораторъ, одного отеческаго имени короля достаточно, чтобы вдохнуть въ подданныхъ надежду.

Собраніе не только одобрило рѣчь, но распорядилось напечатать ее къ свѣдѣнію и къ поученію всей Франціи.

И даже Маратъ не могъ бы протестовать противъ смысла этихъ положеній. Въ началѣ революціи онъ составляетъ планъ конституціи и во главѣ ставитъ послѣдственную монархію. Впослѣдствіи клубъ якобинцевъ, съ Робеспьеромъ во главѣ, не признаетъ республиканскихъ идей, и по очень основательной причинѣ: Робеспьеръ не вѣритъ въ достаточное умственное развитіе даже парижской демократіи, чтобы можно было ждать отъ нея республиканской добродѣтели и мудрости. А Маратъ, превосходно изучившій парижскія предмѣстья, увѣренъ въ ихъ монархизмѣ.

Онъ упорно стоитъ за ограниченную монархію и даже непрочь помириться на Людовикѣ XVI. Его крайній демократизмъ, безпощадная ненависть къ аристократамъ и привилегированнымъ очень далеки отъ республиканскихъ мечтаній, и никогда не дойдутъ до нихъ. Если бы на французскомъ тронѣ явился король-демократъ, дѣйствительный отецъ своихъ подданныхъ,—Маратъ явился бы однимъ изъ самыхъ преданныхъ подданныхъ. Таковъ по крайней мѣрѣ, смыслъ его заявленій. И не одного его, а вообще всѣхъ крайнихъ радикаловъ и демократовъ.

Имъ, конечно, трудно соблюсти мѣру въ своихъ революціонныхъ чувствахъ. Постоянное подчеркиваніе правъ народа, неумолимая критика стараго режима должны неблагопріятно отражаться на авторитетѣ и достоинствѣ королевской власти. Но это невольный размахъ революціонныхъ страстей: въ основѣ ихъ нѣтъ непримиримой злобы вообще на монархію, и отъ Людовика XVI и его совѣтниковъ зависитъ ввести въ разумные предѣлы революціонный азартъ, сдержать вѣками накипѣвшую обиду демократіи на неправды разрушаемаго порядка и пойти навстрѣчу принципамъ свободы и равенства.

Но король рѣшительно не способенъ на такую мудрость и энергію, и въ этомъ его личное несчастье и главнѣйшая причина гибели французской монархіи. Онъ не въ силахъ считаться съ фактами, идеями и людьми. Ему доступно одно лишь средство—

спасаться бѣгствомъ, искать защиты у другихъ, отряхнуть прахъ отъ своей власти и своего королевства ради личной безопасности и спокойствія; нѣтъ недостатка и въ соотвѣтствующихъ совѣтникахъ. Весь этотъ дворъ, совершенно выродившійся нравственно и умственно, можетъ только ненавидѣть, мстить и въ случаѣ пораженія также бѣжать. Понимать, осмысленно бороться и защищаться, ни одинъ человѣкъ не въ состояніи. А между тѣмъ, именно на такого рода людей монархія цѣлыя столѣтія изливала свои щедроты и, слѣдовательно, на нихъ возложила нравственный долгъ спасать монарха и его власть. Но спасители разбѣгаются, какъ вспуганная стая птицъ, предварительно до послѣдней степени озлобивъ націю слѣпымъ презрѣніемъ къ самымъ вопіющимъ требованіямъ справедливости. Въ настоящее время не можетъ быть сомнѣнія въ причинахъ крайняго, якобинскаго направленія революціи. Современники самаго умѣреннаго образа мыслей, безусловные роялисты по убѣжденіямъ, единогласно заявляютъ: «демократія и всѣ ея неистовства были порождены вызывающими притязаніями аристократіи» *).

Эти притязанія наталкнули ту же демократію и на республику.

Впервые о ней начинаютъ говорить въ Парижѣ по поводу неизлѣчимой вражды Людовика XVI и его двора къ новой конституціи. Становится очевиднымъ,—бурбонскаго монарха нельзя приспособить къ свободному образу правленія, а феодальное дворянство никогда не перестанетъ разсчитывать на движеніе вспять. Приходится подумать о новой политической формѣ. Но и теперь эти думы волнуютъ только очень немногихъ. Король, какъ идеальный представитель національнаго государственнаго принципа, остается все еще очень популярнымъ. Демократія негодуетъ на интриги двора, приходитъ въ ужасъ отъ сношеній своего монарха съ иноземными государями, отъ попытокъ королевы и вельможъ заручиться преданностью войскъ противъ народа. Но съ монархіей вовсе не кончено, и радикальные политики не перестаютъ убѣждать Людовика XVI стать гражданиномъ, государемъ народа и публично заявлять, что республика рѣшительно немыслима во Франціи: въ ея населеніи слишкомъ много невѣжества, испорченности. Даже радикалы на этотъ разъ признаютъ положеніе Монтескьё: въ республикѣ жизненнымъ принципомъ должна быть добродѣтель. Гдѣ же ея взять у французовъ XVIII вѣка въ той степени, въ какой она процвѣтала въ Греціи въ Римѣ.

Но король и дворъ ведутъ свою линію. Они замышляютъ союзъ съ иностранными державами противъ новой Франціи. Для демократовъ это значитъ союзъ государей противъ народовъ. Логическій выводъ: и народы должны организоваться въ союзъ противъ государей. Отсюда — одинъ шагъ до идеи о всемірной республикѣ, такъ какъ «заговоръ» Людовика XVI съ другими монархами ничто иное—какъ всемірная монархія.

Теперь у республики возникаетъ нѣчто вродѣ партіи. Пока

*) Таково мнѣніе Малле-дю-Пана и Малуэ—*Mémoires* I, 334. Ср. Francois Descortes: *La revolution française vue de l'etranger*. Tours. 1897.

республиканцевъ очень мало и они еще колеблются въ своихъ сочувствіяхъ. *La monarchie populaire* — народная монархія—все-таки была бы для нихъ лучшимъ исходомъ,—но неотразимая историческая судьба влечетъ несчастнаго Людовика по наклонной плоскости. Онъ рѣшается бѣжать,—и разнуздываетъ окончательно инстикты парижской толпы. Она перестаетъ уважать его личность, утрачиваетъ всякую вѣру въ его отеческія чувства, между королемъ и народомъ разверзается пропасть—и намъ сообщаютъ: «республиканскій духъ перекочевываетъ изъ департамента въ департаментъ». Короля возвращаютъ, но учредительное собраніе признаетъ его неспособнымъ носить санъ монарха, лишаетъ его власти, а парижское населеніе встрѣчаетъ неудачнаго бѣглеца, не обнажая головы.

Но даже и послѣ этихъ событій практическое осуществленіе республики весьма незначительно подвинулось впередъ. Прежде всего Маратъ, преисполненный злобы на Людовика XVI, не переходитъ на сторону республики. Онъ требуетъ диктатуры и согласенъ, чтобы диктаторъ носилъ королевскій титулъ. Не говорятъ о республикѣ Робеспьеръ и Дантонъ, молчатъ о ней якобинскій и другіе радикальные клубы, иногда даже заявляютъ рѣзкое негодованіе противъ республиканскихъ вожделѣній не по разуму усердныхъ энтузіастовъ. Во время процесса Людовика XVI также нѣтъ рѣчи о республиканской формѣ. Напротивъ, — слышатся голоса, безусловно ей враждебныя. Крайніе демократы представляютъ республику, какъ своего рода олигархію, сравниваютъ ее съ журавлемъ въ баснѣ, истребившемъ лягушечье царство. Единственнымъ виднымъ республиканцемъ является Кондорсе, но его соображенія чисто теоритическія и впослѣдствіи были разбиты фактами. Онъ, напримѣръ, ожидалъ, что при республикѣ невозможно деспотическое преобладаніе столицы надъ всей страной, немыслимо появленіе военнаго диктатора... Все это, какъ извѣстно, осуществилось въ ближайшемъ будущемъ — и даже не разъ. И практическій урокъ показалъ, какъ были смутны республиканскія идеи даже у одного изъ первостепенныхъ политическихъ умовъ своего времени.

И республика все-таки была учреждена. Но мы видимъ почему и въ результатѣ какихъ событій. Тронъ Франціи оказался пустымъ. Французскій король возсталъ противъ своего королевства, пытался дезертировать, призвалъ иностранцевъ на родную почву. Правда, — его можно бы замѣнить, — такъ и разсчитывали дѣятели революціи. Но кѣмъ? Ни одинъ принцъ королевскаго дома не внушалъ достаточно довѣрія, думали были достать короля изъ за границы,—но кто бы рѣшился отправиться царствовать въ революціонную страну! Оставалось примириться съ республикой. Она явилась-за невозможностью создать другую форму правленія,—и немедленно доказала полную свою непригодность на французской почвѣ.

Это—въ высшей степени печальная исторія, можетъ быть самая жалкая изъ всего прошлаго Франціи. Первая республика совсѣмъ не имѣла республиканцевъ. Даже ея признанные и оффи-

ціальные учредители и хранители только и помышляли о переворотахъ — въ цезарскомъ духѣ,—и въ особенности блистательно оправдывали опасенія демократовъ: хватитъ ли у французовъ достаточно добродѣтелей, чтобы съ честью нести бремя гражданской республиканской свободы?

Добродѣтелей не оказалось и въ поминѣ. Каждая республиканская власть стремилась превратиться въ журавля и захватить на свою долю побольше благъ лягушечьяго царства. Такъ называемые «директоры» изображали изъ себя маленькихъ монарховъ, усиливались во-что бы то ни стало отдѣлить себя стѣной отъ своихъ вчерашнихъ равноправныхъ соотечественниковъ; въ каждомъ республиканскомъ представителѣ «исполнительной или законодательной» власти уже сидѣлъ будущій герцогъ и графъ бонапартовской имперіи, — и только ждалъ случая — заявитъ о своемъ существованіи.

Случай скоро представился. Республиканскій спектакль, слишкомъ дурно и бездарно исполняемый, отмѣненъ, античныя декораціи сданы въ кладовую,—и на сцену выступилъ монархъ—сначала въ республиканскомъ мундирѣ, а потомъ и въ императорской мантіи.

Вчерашніе Бруты и Катоны сегодня просто подручные и слуги своего господина. Изъ тринадцати «гражданъ», носившихъ титулъ директора, одинадцать превращаются въ покорнѣйшихъ паредворцевъ и даже изъ среды самого что̀ ни на есть радикальнаго революціоннаго собранія—Конвента—сто-двадцать-одинъ—поступаетъ на службу, преимущественно полицейскую и административную. Будто не существовало никогда *Декларацій правъ* и соперниковъ Цицерона и Демосѳена. Немногіе съ болѣе развитой совѣстью спѣшатъ стушеваться, исчезнуть безслѣдно и безгласно въ толпѣ новыхъ вѣрноподданныхъ. Они не пишутъ даже мемуаровъ — столь любезныхъ для каждаго отставного французскаго государственнаго мужа, не стараются вообще оставить послѣ себя память, направленіе, школу. Республиканская традиція вдругъ обрывается, становится какой-то доисторической археологіей,—и впослѣдствіи республиканцы должны начать снова свою идеологію. У нихъ будто нѣтъ идейныхъ предковъ,—и они, въ свою очередь, также безъ потомства сойдутъ съ политической сцены предъ лицомъ второго Бонапарта и вообще воспроизведутъ старую исторію со всѣми ея сценическими эффектами и со всѣми ея реальными тѣнями.

Наполеонъ изчезаетъ, водворяется конституціонная свобода, парламентъ, возникаютъ партіи,—вотъ теперь, повидимому, удобный случай опредѣлить національную государственную форму. Сдѣлать это тѣмъ естественнѣе, что воскресшіе Бурбоны попрежнему остаются людьми другой планеты, слѣпыми, упорными, со всѣми наслѣдственными деспотическими замашками и со всѣми родовыми недостатками ума и натуры.

Оппозиція противъ такого правительства—долгъ чести и свободы. Карлъ X, бывшій закулисный герой и игрокъ, теперь выступаетъ въ роли защитника католической церкви и религіи и

играетъ эту роль, какъ и подобаетъ артисту-любителю, съ неограниченными вызывающими претензіями и съ самымъ жалкимъ искусствомъ.

Какая благодарная тема для самой жестокой, уничтожающей критики! Здѣсь-то и развернуться республиканскимъ чувствамъ и политическимъ талантамъ. Тѣмъ болѣе, что сеньёры повторяютъ съ точностью свою прежнюю младенческую политику, ребромъ ставятъ вопросъ: или все, или ничего, т. е. или старый порядокъ Людовика XIV во всей его неприкосновенности или новая революція. И въ поученіе современникамъ даже припоминается сцена короля-солнца въ охотничьихъ сапогахъ и съ хлыстомъ.

Какая находка бороться съ такими политическими противниками! Несчастные сами себѣ роютъ яму и будто панургово стадо стремятся въ пропасть: ихъ даже не надо толкать, достаточно напутствовать достойной истинно-похоронной рѣчью.

Какъ же поступаютъ граждане и республиканцы?

III.

Прежде всего,—республиканцевъ нѣтъ и, по мнѣнію либеральнѣйшаго изъ либераловъ Лафайэта—и быть не можетъ. Республиканецъ для французскаго народа—синонимъ якобинца и для него нѣтъ выбора между Бурбонами и Бонапартами. Другой радикалъ—очень знаменитый въ свое время—Манюэль выражался еще энергичнѣе: «ничто не даетъ права думать, что республиканская партія существуетъ—все равно въ головахъ ли, совсѣмъ лишенныхъ опытности, или въ головахъ зрѣлыхъ». Правда, настоящее очень неудовлетворительно и вызываетъ глубокое броженіе въ молодыхъ умахъ. Но они далеки отъ республиканскихъ увлеченій. Они будто даже боятся къ нимъ приблизиться, хотя и описываютъ свои мечты въ очень поэтической формѣ. Огюстенъ Тьерри говоритъ, что онъ мечталъ о «какомъ-нибудь правительствѣ»—съ возможно болѣе широкой личной свободой и съ возможно болѣе узкими правами административной власти. Будущій великій историкъ желалъ страстно увидѣть въ своемъ отечествѣ правительство—безупречной нравственной чистоты, стоическое и въ тоже время гуманное. И, оказывается, идеальнымъ представителемъ такого правительства юному мечтателю казался Лафайэтъ.

Демократическій маркизъ, можетъ быть, и готовъ былъ записаться въ граждане республики, какъ вообще онъ не отсталъ бы ни отъ какого передового движенія. Но только его собственный республиканизмъ выходилъ чрезвычайно смутнымъ и неустойчивымъ. И въ республиканской партіи онъ давалъ свободное мѣсто—и монархистамъ, все равно какой угодно династіи. Дѣлалъ онъ это на случай, если французская нація пожелаетъ «продлить опытъ съ народными учрежденіями, имѣющими связь съ наслѣдственностью и съ тономъ».

Довольно запутанный символъ политической вѣры! Онъ соотвѣтствуетъ какимъ то темнымъ интригамъ Лафайэтта съ бонапартовской семьей. Несомнѣнно,—интриги клонились къ замѣнѣ

Бурбоновъ наполеонидами—и учрежденіями, имѣющими связь съ новой наслѣдственностью.

Къ этой цѣли шелъ вообще французскій радикализмъ. Въ высшей степени любопытное, чисто французское совпаденіе! Какимъ образомъ можно было одновременно провозглашать крайніе революціонные принципы, демократическій строй считать идеаломъ и—видѣть спасеніе въ какомъ-либо Бонапартѣ? И это—не единоличное заблужденіе какого-нибудь сочинителя куплетовъ и пѣсенокъ, въ родѣ Беранже,—это подлинная программа республиканскихъ политиковъ. Какъ они дошли до такой комбинаціи идеи,—откровенно и вполнѣ точно объяснилъ тотъ же Манюэль. Процессъ его мысли слѣдующій.

Принципы и идеи обладаютъ, разумѣется, могуществомъ,—но всякая теорія осуществляется въ дѣйствительности только при помощи матеріальной силы. Но гдѣ же найдти такую силу—какъ не среди бывшихъ слугъ Бонапарта,—солдатъ, офицеровъ, чиновниковъ? Всѣ они недовольны королемъ и конституціей,—и представляютъ готовое орудія для революціи. Кто-нибудь можетъ возразить, что всѣ эти люди очень дешево цѣнятъ свободу и они при первомъ же случаѣ поднимутъ знамя имперіи и провозгласятъ имя Наполеона II. Пусть! Для насъ—радикаловъ—безразлично, какимъ бы путемъ ни достигнуть цѣли, лишь бы достигнуть.

Въ результатѣ—радикализмъ всецѣло сливается съ бонапартизмомъ. Радикалы являются усерднѣйшими распространителями наполеоновской побѣды, сочиняютъ восторженныя оды Наполеону II, разукрашиваютъ эпоху имперіи всѣми прелестями славы, могущества и всенароднаго благоденствія. Наполеонъ становится ихъ девизомъ, онъ сообщаетъ лирическое чувство ихъ оппозиціоннымъ настроеніямъ, онъ для нихъ—и великій императоръ, и несравненный человѣкъ. Радикальный журналистъ—Арманъ Каррель—самый талантливый и умный въ современномъ газетномъ мірѣ—провозглашаетъ Наполеона вдохновителемъ всякой оппозиціи во имя свободы и гражданскихъ правъ...

Трудно повѣрить всѣмъ этимъ предпочтеніямъ, а между тѣмъ, они—неотъемлемая исторія французскаго радикализма,—и не временная только. Все равно—чьимъ оружіемъ достигнутъ цѣли,—это заявленіе Манюэля можно бы поставить эпиграфомъ на повѣствованіи о парламентской борьбѣ французскихъ партій,—и преимущественно радикальной. Въ двадцатыхъ годахъ, она увивалась вокругъ бонапартизма, въ пятидесятыхъ повторилось тоже самое, въ восьмидесятыхъ—видоизмѣнили игру только по внѣшности: Бонапарта замѣнили какимъ-нибудь Буланже. Ее вдохновляетъ поразительная мысль: необходимость создать свободу при помощи военной силы, руками диктатора и цезаря. Она воображаетъ въ каждомъ французскомъ генералѣ видѣть Цинцинната и Вашингтона: онъ выстроитъ ей роскошный храмъ свободы и удалится къ своимъ скромнымъ пенатамъ.

Блестящій образчикъ политической мудрости! И за нее-то приходится расплачиваться странѣ, въ лучшемъ случаѣ присутствовать при феерическихъ представленіяхъ на законодательной сценѣ.

Идеямъ должна соотвѣтствовать и критика. Она—очень краснорѣчива у старыхъ радикаловъ, прямыхъ предшественниковъ современныхъ республиканцевъ. Потомство цѣликомъ унаслѣдовало примѣры прошлаго и не предвидится времени, когда негодное наслѣдство будетъ отброшено и забыто.

«Большіе дни» стараго французскаго парламента создавались чаще всего крайней лѣвой. Она и тогда имѣла въ своей средѣ блестящихъ ораторовъ, чрезвычайно популярныхъ, въ полномъ смыслѣ Демосфеновъ. Рѣчи выходилъ поразительно эффектными, звучали на всю Францію—и преимущественно отдавались громкими происшествіями въ стѣнахъ палаты. Что же собственно вызывало блескъ и громъ?

Какія нибудь радикальныя реформы, особенно рѣшительныя идеи насчетъ народнаго блага, соціальнаго развитія демократіи, экономическихъ преобразованій? Ничего подобнаго. Политическіе радикалы даже и знать не хотѣли о народѣ и его нуждахъ. У нихъ была сцена, публика, право говорить когда угодно и сколько угодно,—и этого достаточно, А раздражающихъ темъ—непочатый уголъ. Стоитъ только припомнить, при какихъ обстоятельствахъ совершалась революція и потомъ вернулись Бурбоны—и всѣ умѣренные и роялисты будутъ ужалены нетерпимымъ ядомъ. Произойдетъ скандалъ, засѣданіе будетъ закрыто, состоится, можетъ быть, дуэль.—отъ всего этого рѣшительно ничего не выиграетъ ни гражданская свобода, ни нравственное достоинство парламента,—но за то—сенсаціонное зрѣлище и оно на долго останется въ памяти зрителей.

Иногда мы читаемъ разсказы о засѣданіяхъ палаты депутатовъ семьдесять лѣтъ тому назадъ; намъ думается: ужъ не правъ ли въ самомъ дѣлѣ пессимистическій современникъ революціи—Малле-дю-Понъ. Правда, онъ говорилъ жалкія слова по поводу эмигрантовъ, т. е. реакціонеровъ, но несомнѣнно, тоже самое онъ повторилъ бы и объ ихъ антиподахъ.

«Въ самомъ дѣлѣ, когда видишь, какъ идутъ дѣла сего міра, и какъ послѣ восьми лѣтъ опытовъ—предъ тобой все тотъ же заколдованный кругъ видѣній, упорнаго сопротивленія очевидности, всяческой безсмыслицы, междоусобицъ, эгоизма,—то теряешь всякій интересъ къ будущему».

Именно такими словами отвѣчаютъ современные французскіе «интеллигенты», когда ихъ укоряютъ за индифферентизмъ.

Въ самомъ дѣлѣ, не вѣетъ ли на васъ чисто-современнымъ духомъ французскаго парламентаризма при такихъ, напримѣръ, сценахъ несравненно болѣе отдаленнаго прошлаго, чѣмъ восемь лѣтъ назадъ?

На трибунѣ Манюэль. Онъ сегодня далъ себѣ слово привести въ ярость роялистовъ и постепенно и искусно подходитъ къ одному изъ самыхъ проклятыхъ, но и столь же безплодныхъ вопросовъ: гдѣ были настоящіе патріоты во время революціи—въ Гентѣ съ будущимъ Людовикомъ XVIII или въ Парижѣ и на границахъ съ республиканскими войсками? И кто, на самомъ дѣлѣ, преступники—покинувшіе отечество или защищавшіе его?

Отвѣтъ рѣшительно не нуженъ для современной внѣшней и внутренней политики и нѣтъ никакой нужды кого бы то ни было увѣнчивать гражданскимъ вѣнкомъ или клеймить позоромъ. Но роялисты выходятъ изъ себя: самые горячіе кричатъ, что настоящая Франція была съ королемъ за границей, а во Франціи оставались только бунтовщики и грабители.

Оратору только этого и хотѣлось. Онъ становится въ позу и отчеканиваетъ слово за словомъ, воображая въ эту минуту своимъ слушателемъ весь французскій народъ:

«Итакъ, господа, таково ваше мнѣніе: надо имѣть смѣлость высказать его откровенно націи. Остается узнать, расположены ли подвергнуться такому униженію; остается узнать—согласятся ли принять этотъ позоръ и это оскорбленіе тѣ, кто имѣлъ счастіе оставаться на родной землѣ, кто проливалъ кровь, завоевывая свои вольности, защищая свои законы и свою независимость».

Эффектъ неописуемый! Но его запомнятъ враги и рано или поздно, а упекутъ, въ свою очередь, ехиднаго артиста, добьются его изгнанія изъ палаты, что будетъ еще поразительнѣе, но уже гораздо злополучнѣе, какъ вопіющее нарушеніе конституціи ради партійной мести.

Другая сцена. Дѣйствующее лицо поважнѣе Манюэля,—генералъ Фуа. Это—человѣкъ общепризнанной честности и золотого сердца, и кромѣ того, онъ блестящій ораторъ. У него эффектная внѣшность, громкій голосъ, пламенный взглядъ, необыкновенно стремительная, страстная и въ то же время благородная манера говорить. Онъ знаетъ все это, и онъ прирожденный артистъ. Его опьяняетъ шумъ аплодисментовъ, онъ невольно поддается злому демону увлеченія въ надеждѣ одержать побѣду надъ впечатлительностью публики. Онъ съ величайшимъ наслажденіемъ пускается въ декламацію, въ пространный разговоръ объ общихъ политическихъ вопросахъ, вообще читаетъ лекціи наивныя, элементарныя но для французской галлереи неотразимыя. Человѣкъ онъ незлобивый и совершенный джентльменъ, но ужъ очень соблазнительна, идея—создать инцидентъ, и онъ, подобно Манюэлю, начинаетъ бередить роялистскія раны.

Онъ вспоминаетъ о нашествіи иноземцевъ на Францію и вдругъ въ лицо роялистамъ говоритъ, какая презрѣнная «кучка» эмигранты и сколько они претерпѣли униженій внѣ Франціи... При словѣ *miserables* поднимается вопль на правой, встаетъ роялистъ, подходитъ къ трибунѣ, скрещиваетъ руки на груди и кричитъ оратору: «Вы—нахалъ!» Слѣдуетъ, конечно, дуэль, разумѣется спеціально французская — безъ кровопролитія и безъ особенныхъ опасностей. Противники трогательно мирятся, а на слѣдующій день въ палатѣ генералъ Фуа вноситъ поправку въ свои слова.

И вотъ его-то именно рѣчи печатались и расходились въ тысячахъ экземпляровъ. «Блестящая и лестная» участь,—скажемъ мы словами французскаго Цицерона до-революціонной Франціи, но прибавимъ также и его соображеніе о современныхъ ему «настоящихъ римлянахъ»: рядомъ съ блескомъ мало политическаго развитія и опытности *).

*) Journal de Barbier. I, 70—1.

Отсюда полная безплодность для современниковъ всѣхъ ослѣпительныхъ парламентскихъ турниров и очень печальная поучительность ихъ для потомства. Въ теченіе цѣлаго вѣка французъ остается политикомъ-артистомъ. Его, какъ ребенка, тѣшитъ замысловатая игра въ безконечныя партійныя комбинаціи, разные хитроумные manoeuvres et expédients, онъ вѣчно или за кулисами готовитъ машины и всякую бутафорію для своего бенефиса, или на сценѣ играетъ коронную роль, самъ же первый являясь собственнымъ очарованнымъ зрителемъ.

И намъ понятно, почему англичанинъ почувствовалъ негодованіе при ближайшемъ знакомствѣ съ французскимъ парламентаризмомъ. Онъ увидѣлъ нѣчто, совершенно невозможное въ его отечествѣ, могъ и отъ самихъ французовъ услышать жалобы на отечественные государственные таланты. И не только жалобу, а тоску по совершенно другомъ порядкѣ вещей, гдѣ бы не могло процвѣтать политиканство и безсмысленная парламентская суета, гдѣ бы дѣйствительно правительство слѣдило за народными нуждами и осуществляло потребныя реформы. Все это англичанинъ слышалъ, самъ убѣждался и пришелъ къ заключенію: французъ не парламентское животное и Франція должна освободить вовсе свою конституцію отъ парламента.

Легко сказать! Что же останется—Бурбоны въ стилѣ Людовика XIV или имперія въ духѣ Наполеона I? Вопросъ, несомнѣнно, превышающій политическую мудрость англійскаго путешественника, но и дѣйствительно въ высшей степени трудный.

Несомнѣнно, парламентаризмъ современной Франціи—явленіе ненормальное, «парламентскій режимъ не функціонируетъ нормально»,—какъ выразился недавно одинъ изъ либеральныхъ политиковъ. Также несомнѣнно, что эта ненормальность отталкиваетъ отъ политическихъ интересовъ наиболѣе достойныхъ гражданъ страны. И, наконецъ, столь же несомнѣнно, что при такихъ условіяхъ и третья республика можетъ оказаться такимъ же промежуточнымъ и мимолетнымъ явленіемъ, какимъ были уже первыя двѣ. Очевидно, Франція не нашла себѣ прочныхъ истинно-національныхъ политическихъ устоевъ. «Зданіе остается недоконченнымъ», въ этомъ отношеніи французскіе ученые и солидные люди совершенно правы. Правы, думается намъ, будемъ и мы, если признаемъ неосновательными всѣ заключенія на счетъ парламентскаго режима, сдѣланныя на основанія современнаго французскаго парламентаризма. Мы видѣли, исторически-республиканская форма во Франціи возникла неохотно и была скорѣе *вынуждена обстоятельствами*, чѣмъ вызвана къ жизни общимъ сочувствіемъ націи. Можно заключить, настоящая Франція могла бы обойтись и безъ республики. Мы видѣли также первые опыты парламентскаго режима, въ политическомъ смыслѣ крайне легкомысленные и практически-несостоятельные, характеризовали на отдаленное будущее вообще французскій парламентаризмъ. Можно ли отсюда заключать, что та же *настоящая Франція* обошлась бы и безъ парламента?

Никоимъ образомъ.

Основныя нравственныя и экономическія завоеванія революціи, безусловно неотъемлемы. Мечтать о старомъ порядкѣ съ его насильственной рабской общественной лѣстницей можно только въ своего рода горячешномъ бреду. Ни одинъ самый индифферентный французскій крестьянинъ и рабочій не согласился бы одной минуты своей жизни потратить на привиллигированнаго господина, только потому, что тотъ далъ себѣ трудъ родиться. Токвиль неопровержимо правъ: Франція можетъ пережить какіе угодно перевороты, смѣнить, пожалуй, и третью республику на монархію, но *ancien régime* для нея вѣчно останется воплощеніемъ всѣхъ возможныхъ на землѣ бѣдствій и уродствъ.

Настоящая Франція не можетъ быть не демократической и не свободной, но это не помѣшаетъ ей стать не-парламентской въ *современной* формѣ. Болѣе или менѣе продолжительная эволюція должна привести одинъ изъ даровитѣйшихъ и культурнѣйшихъ народовъ къ рѣшенію уже теперь наболѣвшаго вопроса, и это рѣшеніе, какъ всѣ культурныя рѣшенія Франціи, явится однимъ изъ важнѣйшихъ уроковъ всемірной исторіи.

КУЛЬТУРНАЯ ЗАДАЧА ГРЯДУЩАГО ВѢКА.

По поводу статьи Gabriel'я Tarde'a—*Le publik et la foule*, «Révue de Paris», 1898.

I.

Нашему вѣку безчисленное число разъ старались подъискать достойное и мѣткое опредѣленіе: называли его нервнымъ вѣкомъ, желѣзнымъ, серьезно и иронически, вѣкомъ великихъ изобрѣтеній и положительной мысли, скоро, пожалуй, назовутъ совершенно наоборотъ — вѣкомъ отчаянія въ наукѣ, вѣкомъ мистицизма и исканія новой вѣры.

Но всѣ эти наименованія имѣютъ одинъ крупный недостатокъ: каждое изъ нихъ можно въ большей или меньшей степени приложить къ какому-либо другому столѣтію, и въ особенности два самыя излюбленныя — нервный и положительно-мыслящій вѣкъ. Нервами европейское человѣчество страдало неизмѣримо опаснѣе лѣтъ пятьсотъ или даже шестьсотъ назадъ, критически мыслить начало также очень давно, уже въ шестнадцатомъ столѣтіи доходило до крайнихъ предѣловъ современнаго отрицанія. Заканчивающемуся вѣку, въ интересахъ исторической оригинальности, необходимо подыскать себѣ другое имя, и, мы думаемъ, искать далеко не приходится. Оно подсказывается едва ли не каждымъ фактомъ рѣшительно по всѣмъ направленіямъ современной умственной и практической жизни, и особенно краснорѣчиво первыми культурными шагами нашего столѣтія.

Вспомните, какія думы и чувства владѣли людьми наканунѣ его. Сколько блестящихъ созданій воображенія, сколько надеждъ на будущее и вѣры осуществить ихъ! И источникъ всего этого—

героическое представленіе личности о силѣ своего творчества и своей мысли.

Послушайте Руссо, когда онъ любуется восходомъ солнца и съ вершины холма упивается чарующимъ видомъ просыпающейся долины. Въ теченіе пятидесяти лѣтъ, говоритъ онъ, подобныя картины замѣняли ему богатство и славу и для наслажденія ими не требовалось ничего, кромѣ времени.

Его уста невольно шепчутъ молитву. Онъ вступаетъ въ открытую бесѣду съ Верховной Силой, развертывающей предъ нимъ такую волшебную жизнь. И этотъ человѣкъ на своемъ холмѣ увѣренъ, всѣ чары—ради него, въ эту минуту этотъ холмъ—центральная точка, управляющая силами природы. И человѣкъ обращается къ божеству въ восторженномъ порывѣ любви, какъ къ другу, къ старшему брату, къ всепрощающему отцу. Немного позже, ученики философа, члены революціоннаго собранія, предъ многочисленной толпой также за-просто будутъ бесѣдовать съ верховнымъ существомъ, будто оно ихъ обязательный и благосклоннѣйшій слушатель.

Что̀ злого, не цѣлесообразнаго можетъ создать такая природа? Зло существуетъ, но въ немъ она неповинна. Изъ ея рукъ человѣкъ вышелъ божественно-прекраснымъ. Его обезобразили время, собственныя ошибки и онъ теперь точно античная статуя, брошенная безъ призора. Надъ ней пронеслась буря, прокатились морскія волны, и она стала походить больше на дикаго звѣря, чѣмъ на бога... Но всегда возможно смыть пыльный илистый налетъ, и геніальное произведеніе заблещетъ первобытной прелестью.

Произойдетъ это въ высшей степени просто. Все можетъ исправить тотъ же человѣкъ, вооруженный мудрымъ, побѣдоноснымъ словомъ. Стоитъ пробудить заснувшія на время естественныя чувства, и на землю вернется золотой вѣкъ.

Все такъ ясно. Придетъ геній-философъ, облеченный неограниченной силой и властью, герой изъ героевъ, черкнетъ перомъ и вселенная обновится. Люди снова начнутъ любить другъ друга, какъ братья, снова станутъ свободными, довѣрчивыми, вѣчно счастливыми.

И превращеніе скорѣе всего совершится тамъ, гдѣ до сихъ поръ сильна власть природы и первобытной простоты—въ толпѣ простыхъ людей, въ народѣ.

Онъ, теперь такой ничтожный, часто раболѣпный и преданный грубымъ инстинктамъ, по зову новаго пророка воспрянетъ къ новой свѣтлой жизни. Онъ въ глубинѣ души до сихъ поръ хранитъ исконное чувство правды и неподкупный здравый смыслъ. Народъ можно иногда обмануть, но его нельзя совратить съ путей правды и справедливости, Онъ—верховный и непогрѣшимый судья нравственности и разума, потому что близокъ природѣ.

Мечтатель наканунѣ нашего вѣка не зналъ, какъ выразить свое счастье въ званіи человѣка и какой комплиментъ сказать человѣчеству. Кончилъ тѣмъ, что человѣка поставилъ выше ангеловъ, а народъ объявилъ «истинно-человѣческой породой».

За идеей быстро слѣдовали факты. Пришли творцы революціи...

Какое *вдохновенное* законодательство! Сколько рѣчей, похожихъ на гимны, и гимновъ, признанныхъ за политическія программы! Сколько созданій художественнаго воображенія и лирическаго чувства, принятыхъ за продуктъ строгой логической мысли! Законодатели не различали правды отъ поэзіи и дѣлали исторію по часамъ, ослѣпленные вѣрой въ материнское сочувствіе природы и дѣтскую воспріимчивость народа.

Отрезвленіе не заставило ждать себя и похмелье оказалось безпощадно-горькимъ и ядовитымъ. Вожди революціи гибли одинъ за другимъ. Гильотина съ одинаковымъ желѣзнымъ упорствомъ рубила головы политикамъ и философамъ, ученымъ и поэтамъ... Кто управлялъ ею? Кто могъ стерпѣть столько крови? Какъ могла сорокатысячная толпа смотрѣть спокойно, когда ея короля везли на казнь и вскорѣ затѣмъ привѣтствовать смерть его же убійцъ?

Очевидно, надъ событіями царствовала сила, невѣдомая и недоступная ни одной изъ жертвъ, сила—новая и страшная своей новизной и загадочностью. Падали благороднѣйшія головы, и божество, рѣявшее надъ ними, представлялось смутнымъ, неумолимымъ призракомъ. Видѣли только, что призракъ бросалъ громадную тѣнь и тѣнь выростала съ каждымъ мгновеніемъ, грозила охватить весь міръ и поглотить все, что до сихъ поръ считалось на землѣ блестящимъ, великимъ, даже священнымъ.

Вскорѣ увидѣли и другое, уже совершенно неожиданное.

Таинственный духъ, очевидно, нисколько не былъ заинтересованъ ни въ личностяхъ, ни въ ихъ идеяхъ. Онъ шелъ какимъ-то особеннымъ, своимъ путемъ, будто буря, уничтожая на пути все рослое и упругое.

Раздавивъ идеалистовъ революціи, онъ теперь присутствовалъ при трагической судьбѣ ея уродливѣйшаго дѣтища—перваго французскаго цезаря. Сначала онъ вознесъ корсиканца на вершину славы, увѣнчалъ его короной, потомъ допустилъ изнывать въ униженіи и неволѣ. А пока вѣнчалъ другихъ избранниковъ, также свергалъ ихъ одного за другимъ, забывая о нихъ на другой день послѣ событія...

Чего хотѣла эта сила? Ясно было одно: для нея не было ни героевъ, ни боговъ, завѣщанныхъ преданіемъ. Всѣхъ, кто мечталъ безъ ея вѣдома устроить ея благополучіе, или кто, созданный ею, дерзалъ отдѣлиться отъ нея,—всѣхъ одинаково постигала карающая рука. «Всѣ, кто не со мной—тотъ противъ меня», говорилъ новый дѣлатель исторіи, и не хотѣлъ терпѣть ничего индивидуальнаго, ничего обособленнаго, будь это подвижники идеи или герои войны.

Тогда страшная тоска охватила человѣка. Личность, въ теченіе вѣковъ и еще такъ недавно самоувѣренно располагавшая судьбами міра, теперь почувствовала себя безнадежно униженной.

«Героевъ больше не надо», «преобразователи и вожди—старый бредъ, непригодный къ жизни», «все исключительное и обособляющееся подлежитъ упраздненію»,—такія рѣчи звучали непрерывно въ каждомъ новомъ событіи, скрѣплялись каждымъ шагомъ вновь явившейся власти.

Вы помните одну изъ остроумнѣйшихъ сценъ русской комедіи? Герой, переполненный пламенными чувствами, принимается поучать толпу, изливать скорби наболѣвшей души. Его нѣкоторое время слушаютъ, но скоро всѣ одинъ за другимъ расходятся и рѣчь героя тонетъ въ звукахъ вальса, и мысли его развѣяны танцемъ... Какое совпаденіе смѣха и слезъ!

То же самое произошло въ Европѣ въ началѣ нынѣшняго вѣка. Послѣ многолѣтнихъ проповѣдей и поученій вдругъ оказалось безцѣльнымъ проповѣдывать и учить. Не стало ни учениковъ, ни слушателей. Всѣ идеалы, теоріи, системы смывались могучимъ потокомъ безъ разбора и безъ пощады. Волна исторіи неслась куда-то къ другой цѣли, какая не грезилась политикамъ и философамъ.

Что долженъ былъ почувствовать Чацкій, увидѣвъ бѣгство толпы въ отвѣтъ на его страстныя рѣчи? Онъ долженъ былъ въ ту же минуту сообразить, что ему нѣтъ здѣсь мѣста и враждебное чувство къ этимъ людямъ невольно наполнило его сердце.

То же произошло съ отдѣльными личностями въ началѣ нашего вѣка. Тоскующіе и розочарованные герои заполонили литературу. И имъ предстояло множиться и все глубже отчаяваться въ своей силѣ. Чѣмъ дальше развивалась исторія, тѣмъ все шире сцена ея захватывалась толпой и тѣмъ меньше оставалось мѣста избраннымъ мыслителямъ и свободно-вдохновеннымъ художникамъ. И, наконецъ, политическая власть и власть увѣнчивать таланты и создавать возможную на землѣ справедливость окончательно перешла въ руки силы безличной, смутной, но непобѣдимой въ своемъ стихійномъ могуществѣ. Имя этой силы—*толпа* и она своимъ значеніемъ сообщила рѣзкій своеобразный характеръ девятнадцатому вѣку.

Вѣнцомъ ея усилій было узаконеніе всеобщей подачи голосовъ въ конституціяхъ. Отнынѣ она становилась распорядительницей государственнаго порядка и общественнаго благополучія. Она—истинный монархъ современнаго свободнаго государства, она—первоисточникъ всякой власти и ея единственный верховный судья. Естественно, все, что способно служить обществу умомъ, талантомъ, ученостью является слугой этого государя. Писатель творитъ ради его одобренія, политикъ составляетъ программы своей дѣятельности и произноситъ краснорѣчивыя рѣчи въ разсчетѣ на его вниманіе и сочувствіе, ученому грозитъ одиночество, забвеніе и упреки въ тунеядствѣ и гражданскомъ равнодушіи, если онъ вздумаетъ затворить двери своего кабинета предъ тѣмъ же господиномъ и дѣлиться сокровищами своей науки только съ одними избранными.

Когда-то вполнѣ безнаказанно можно было бросать презрительные взоры на сѣрое скопище людей, именуемое на поэтическомъ языкѣ чернью, на политическомъ—толпой. У поэтовъ имѣлись благородные покровители и тонкіе цѣнители, государственные люди отличались предъ своими повелителями и предъ мнѣніемъ почтеннаго и высшаго общества, какое имъ было дѣло до настроеній улицы? Даже Шекспиръ, отнюдь не изящный франтъ

и не блюдолизъ, истинный англійскій плебей по широтѣ натуры, по непосредственности вкусовъ, по свободѣ здраваго вкуса, даже онъ съ пренебреженіемъ толкуетъ о привѣтствіяхъ толпы и съ уваженіемъ о судѣ знатоковъ. Даже онъ не понимаетъ и не желаетъ понимать разумныхъ стремленій, политической мудрости, иногда присущихъ собранію простого народа. И онъ—сынъ крестьянина—не жалѣетъ красокъ для изображенія грубыхъ наклонностей, тупоумія и нравственной посредственности, будто бы неизбѣжно отличающихъ толпу. Онъ желаетъ быть для нея аристократомъ, человѣкомъ не ея міра и не ея ума.

Такъ мыслилъ и чувствовалъ свободнѣйшій поэтъ свободной Англіи! Что же было на континентѣ, гдѣ не смѣли и думать о свободѣ и о гражданскомъ достоинствѣ человѣка безъ мундира и предковъ? Вотъ одинъ краснорѣчивый примѣръ.

Знаменитый испанскій поэтъ Аларконъ, многому научившій Мольера, печатно обращался къ толпѣ съ самой откровенной бранью, называлъ ее дикимъ звѣремъ, канальей, изобличалъ въ тупости и несправедливости, заранѣе признавалъ свои произведенія никуда не годными, если они понравятся ей, и находилъ утѣшеніе только въ джентльменахъ, всегда проницательныхъ и благосклонныхъ.

Эта удивительная рѣчь—образчикъ вообще всѣхъ молчаливыхъ или громкихъ чувствъ старыхъ поэтовъ. На ихъ языкѣ за словомъ народъ непремѣнно слѣдуетъ опредѣленіе тупоумный, *le peuple stupide,* за выраженіемъ толпа еще болѣе сильная характеристика—неблагодарная, безстыдная, не знающая упрековъ совѣсти, ненавидящая своихъ доброжелателей и бѣгущая за льстецами...

Политики также не стѣснялись ни въ словахъ, ни въ дѣйствіяхъ. Тамъ, гдѣ поэты сочиняли жестокіе стихи, они пускали въ ходъ соотвѣтствующія мѣры или просто не желали считаться съ двуногимъ стадомъ въ своихъ самыхъ мудрыхъ предначертаніяхъ. Панюржъ у Рабле отлично представляетъ эту породу правителей народовъ: имъ достаточно знать 63 способа получать доходы и 214 способовъ дѣлать расходы, а что думаютъ на этотъ счетъ жуки, улитки и ягнята—это касается исключительно ихъ самихъ.

И вдругъ столь покойный и благородный порядокъ вещей рѣзко мѣняется! Улитки не желаютъ больше хорониться въ своихъ раковинахъ и ягнята блистать кротостью и молчаливымъ послушаніемъ. Они проявляютъ очень назойливый интересъ къ способамъ своихъ пастуховъ получать доходы и дѣлать расходы. Этимъ самымъ они выражаютъ притязаніе вмѣшиваться вообще въ ходъ государственной и общественной жизни и косвенно посягаютъ на свободу и аристократическую неприступность искусства и науки.

Потокъ ростетъ неудержимо. Толпа врывается всюду и требуетъ къ себѣ самаго пристальнаго вниманія. Сначала она становится госпожей въ театрѣ. Она занимаетъ партеръ и налагаетъ властную руку на поэзію и сцену. Она требуетъ, чтобы

писатели занимались ею, ея интересами и ея идеями. Разные герои, короли и принцы должны очистить мѣсто простымъ мѣщанамъ и даже мужикамъ. И эти люди явились на всенародное зрѣлище со всею непринужденностью своего языка и своихъ манеръ и принялись поучать изощренныхъ эстетиковъ естественности творчества, житейской правдѣ и даже государственной мудрости и всякимъ другимъ идеаламъ.

И тотъ же канунъ нашего столѣтія увидѣлъ поразительныя сцены не на сценѣ, а среди самой публики. Раньше, чѣмъ революція создала свободу и равенство, театральный партеръ уже давно присвоилъ себѣ эти права. Онъ, по собственному усмотрѣнію, распоряжался содержаніемъ и смысломъ пьесъ, ихъ судьбой и славой авторовъ. Онъ не стѣснялся выражать какія угодно свои чувства, и непремѣнно въ свою, плебейскую пользу, вызывающе хохоталъ надъ глупымъ господиномъ, свисталъ развратному придворному и восторженно рукоплескалъ честному буржуа, разсудительному крестьянину и неприступной крестьянской дѣвушкѣ. Онъ дѣлалъ политику, еще не имѣя права быть политическимъ собраніемъ. Онъ производилъ сильнѣйшее впечатлѣніе на правительство путемъ аплодисментовъ и свистковъ. Это было вѣрнымъ предзнаменованіемъ другихъ, несравненно болѣе внушительныхъ воздѣйствій и на другомъ, менѣе всего увеселительномъ поприщѣ.

И толпа, дѣйствительно, скоро увидѣла себя на ораторскихъ трибунахъ, на депутатскихъ скамьяхъ, въ министерскихъ креслахъ. Всюду явились ея избранники, ея близкіе знакомые, покорные и родные ей люди.

Съ первыхъ же дней новой исторіи — толпа настоящая властительница положенія. Подъ ея контролемъ и крайне напряженнымъ вниманіемъ народные представители развиваютъ основы новаго государственнаго строя. Въ началѣ она сравнительно скромно и спокойно присутствуетъ при непривычномъ для нея зрѣлищѣ, но проходитъ всего нѣсколько мѣсяцевъ, и галлереи управляютъ ходомъ всего движенія. Тотъ ораторъ великъ и знаменитъ, кого онѣ осыпаютъ рукоплесканіями, наоборотъ—опозоренный криками негодованія долженъ заживо умереть и покинуть сцену дѣйствія. Никакія благія намѣренія и блескъ таланта не спасутъ его отъ трагической участи: онъ не угодилъ народу, онъ врагъ народа, и часто до отдаленнаго потомства съ его именемъ будетъ неразлученъ этотъ небывалый смертный приговоръ.

Пусть обиженные и уничтоженные какъ угодно обзываютъ своего врага: populace, canaille miserable, troupeau humain: чѣмъ рѣзче наименованіе—тѣмъ краснорѣчивѣе безсиліе побѣжденныхъ. И съ этихъ поръ народится особая порода гордыхъ отшельниковъ и одинокихъ протестантовъ. Они прямые потомки прежнихъ тонко-художественныхъ натуръ и недосягаемо возвышенныхъ мыслителей, но какая несоизмѣримая разница въ положеніи и чувствахъ!

Раньше можно было презирать спокойно и къ великому соб-

ственному удовольствію, ни слава, ни земныя блага отъ этого не страдали, напротивъ, презрѣніе къ черни окружало ученаго и поэта особо-возвышеннымъ ореоломъ. Не то теперь.

Толпа стала силой, совершенно неуязвимой для какого угодно олимпійскаго пренебреженія. Приходится волноваться болѣе глубокими и мучительными чувствами, надо поискать въ словарѣ болѣе убѣдительныхъ и серьезныхъ словъ. И современные аристократы идей усиленно ищутъ. Они стараются раскрыть опасности, какими грозитъ толпа міровой цивилизаціи. Поражающими красками они рисуютъ ея варварскіе вкусы, ея вѣчную наклонность къ вандализму и грубѣйшимъ матеріалистическимъ вожделѣніямъ. Въ такой средѣ идеальный мыслитель и художникъ являются мучениками своего генія, существами высшей породы, попавшими въ рабство къ дикарямъ и полуживотнымъ.

И сколько гнѣва и страсти умѣлъ высказать даже вѣчно ясный и радостно-безразличный Ренанъ, сочиняя своего Калибана! Какой ужасъ разсчитывалъ онъ внушить своимъ просвѣщеннымъ читателямъ, изображая гибель искусства подъ мертвящимъ безсмысленнымъ деспотизмомъ толпы! Цѣлый свѣтлый міръ готовъ погибнуть безслѣдно со всѣми волшебными образами поэзіи и чарующими звуками музыки, со всей несказанной красотой вѣковой цивилизаціи. И не будь Ренанъ по природѣ такимъ неизлѣчимо жизнерадостнымъ эпикурейцемъ, въ его рѣчи звучали бы слезы и проклятія: онъ вѣдь искренно вѣрилъ въ смерть высокихъ идеаловъ предъ натискомъ толпы.

У другихъ и звучатъ эти проклятія. Ни одна эпоха не знала такой мучительной погони за чистымъ искусствомъ. Никогда міръ не видалъ ничего, похожаго на болѣзненное отвращеніе современнаго символизма къ публикѣ, къ рядовому человѣчеству, къ «филистимлянамъ» и «самаритянамъ» и никогда не возникало философскаго пессимизма на почвѣ ненависти и презрѣнія—не къ жизни, не къ человѣческой природѣ вообще, а именно къ толпѣ, къ улицѣ.

Прочтите искреннѣйшія признанія Шопенгауэра, вы будете поражены какимъ-то органическимъ, безотчетнымъ отвращеніемъ къ самой идеѣ объ обыкновенномъ, заурядномъ человѣкѣ. Смотритъ ли философъ на Аполлона Бельведерскаго, ему грезится, будто страстное негодованіе и презрительный жестъ бога музъ направленъ на «филистимлянъ», т. е. въ толпу, этотъ «источникъ вѣчной глупости», божество только что метало свои стрѣлы. Вдумывается ли философъ въ теченіе человѣческой исторіи, онъ убѣждается въ необыкновенномъ, въ высшей степени гордомъ аристократизмѣ *природы*. Именно она крайне скупо создаетъ избранныхъ личностей и пригоршнями сѣетъ плебеевъ. На десять тысячъ черни приходится развѣ только одинъ патрицій и на цѣлые милліоны—одинъ принцъ. Все и всюду—*толпа* и, по естественному закону, аристократы по природѣ не должны смѣшиваться съ толпой, все равно, какъ живутъ отдѣльно и недосягаемо высшія привилегированныя сословія государства. Терпимость великихъ людей къ посредственностямъ—не добродѣтель,

а просто высшая степень презрѣнія. Великій человѣкъ не смотритъ на другихъ, какъ на подобныхъ себѣ и, конечно, не можетъ предъявлять имъ серьезныхъ требованій. Онъ такъ же терпимо относится къ нимъ, какъ и къ животнымъ; нельзя же животныхъ упрекать въ безсмыслiи и животности!

И сколько разъ философъ принимался оплакивать судьбу генія рядомъ съ толпой! Живетъ онъ будто въ пожизненной ссылкѣ на пустынномъ островѣ, никогда ему не приходится встрѣтиться съ существомъ близкимъ и родственнымъ, кругомъ одни только обезьяны и попугаи. И сколько усилій ему требуется, чтобы вѣчно подавлять свое настоящее мнѣніе о жалкихъ ничтожествахъ, даже когда они изъявляютъ свои восторги предъ его величіемъ и силой!

Вслѣдъ за Шопенгауэромъ явится аристократъ по природѣ, еще болѣе откровенный. Презрѣніе къ толпѣ, къ человѣческому стаду подскажетъ Нитче образъ сверхчеловѣка, особаго существа, имѣющаго законное право бросать себѣ подъ ноги тысячи «ариѳметическихъ единицъ» и строить пьедесталъ своей власти на человѣческихъ жизняхъ, будто на извести и камняхъ. Философъ закончитъ свою духовную жизнь сумасшествіемъ, онъ убѣдится, что онъ никто иной, какъ творецъ міра. И умственный свѣтъ навсегда исчезнетъ для несчастнаго генія...

Странная участь! Повидимому, нѣтъ ничего спокойнѣе и завиднѣе для человѣка глубокой увѣренности въ личномъ недосягаемомъ превосходствѣ надъ всѣмъ окружающимъ міромъ. Къ чему волноваться надеждами или лишеніями, разъ все человѣческое до такой степени ничтожно и пошло? Мудрецъ доволенъ самимъ собой,—говорили стоики и безукоризненно слѣдовали этой истинѣ. Они дѣйствительно сторонились отъ современной толпы и не переживали въ своемъ одиночествѣ никакихъ драмъ, мирно и счастливо занимались перепиской другъ съ другомъ, читали сочиненія лучшихъ писателей и боялись только одного: какъ бы какой-нибудь Неронъ не заставилъ ихъ умереть именноза это слишкомъ полное и обособленное счастье.

А въ наше время одинъ аристократъ мысли сходитъ съ ума, съ другимъ совершается нѣчто еще болѣе удивительное. Ужъ, кажется, на что краснорѣчивѣе аристократической гордости Шопенгауэра, а между тѣмъ этотъ геній въ теченіе всей жизни страдальчески изнываетъ о славѣ, о популярности какъ разъ среди столь презираемато человѣческаго стада. И самый гнѣвъ его возростаетъ и становится надменнѣе не потому, что философъ видитъ все худшихъ «филистимлянъ», а потому, что эти несчастные долго не обращаютъ ни малѣйшаго вниманія на честолюбиваго пессимиста. А когда, наконецъ, начинается слава, у Шопенгауэра нѣтъ высшаго интереса, какъ слѣдить именно за ростомъ этой славы.

Какимъ наивнымъ, юношески влюбленнымъ трепетомъ дышитъ его переписка съ преданнымъ ученикомъ! Онъ желаетъ знать, въ какомъ количествѣ экземпляровъ расходятся его портреты, высчитываетъ, сколько храмовъ будетъ ему воздвигнуто

послѣ его смерти, едва не падаетъ въ обморокъ, когда восхищенный поклонникъ цѣлуетъ ему руку...

И все это имѣетъ прямое отношеніе къ тѣмъ самымъ плебеямъ, какіе, въ глазахъ мудреца, равны животнымъ! Противорѣчіе, убійственное для нашего аристократа, но, очевидно, неизбѣжное. Попугаи и обезьяны своими гримасами и крикомъ способны смутить даже единственнаго человѣка на пустынномъ островѣ и заставить его внимательно прислушиваться и присматриваться къ дикому зрѣлищу. Какая, надо думать, великая притягательная сила заключена въ толпѣ, столь бѣдно одаренной и столь безнадежно неразвитой!

II.

Утвердительные отвѣты идутъ со всѣхъ сторонъ. Толпа становится столь же избраннымъ мотивомъ литературы и любопытнѣйшимъ предметомъ психологіи, какимъ раньше были герои и люди. Казалось бы, совершенно немыслимо представить драму безъ центральной фигуры, безъ единой личности, сосредоточивающей на себѣ интересы окружающаго міра, и между тѣмъ современные драматурги рѣшаютъ задачу совершенно обратную.

Они желаютъ показать публикѣ величайшія историческія событія, безъ вождей и единоличной управляющей силы. Попытка Гауптмана въ *Ткачахъ* привлекла всеобщее вниманіе тамъ, гдѣ искони создавались всевозможныя, философски-развитыя теоріи искусства, и ученые соотечественники драматурга готовы провозгласить его основателемъ новой драмы, соотвѣтствующей общему духу нашего вѣка: драмы толпы, массы, вмѣсто трагедіи личности.

И на помощь искусству идетъ наука. Она безпощадно уничтожаетъ, одну героическую легенду за другой, развѣнчиваетъ все тѣхъ же бѣдныхъ героевъ ради все той же безличной толпы и посягаетъ какъ разъ на самыя поэтическія преданія прошлаго.

Ей не жаль отнять у романтическаго воображенія Вильгельма Телля, Орлеанскую Дѣву. Ея *правда* гласитъ: всюду дѣятелемъ и вдохновителемъ была народная масса, именно то стадо, какое даже стыдились выводить классики на свою сцену. И будущій дѣйствительно реальный поэтъ долженъ отодвинуть на второй планъ красивыя сказки о сверхчеловѣческомъ героизмѣ и заполнить сцену «цифрами». Для него это будетъ несравненно труднѣе, чѣмъ изобразить самаго грознаго и знаменитаго генія.

Проникнуть въ душу толпы, прослѣдить причины ея столь измѣнчивыхъ и столь мощныхъ нравственныхъ движеній гораздо болѣе сложная психологическая задача, чѣмъ раскрыть душевныя тайны хотя бы даже Лира, Гамлета, Юлія Цезаря. Здѣсь можно сосредоточиться на опредѣленныхъ идеяхъ героя, на его заранѣе установленныхъ инстинктахъ и свойствахъ, а толпа... Она у Шекспира устами одного изъ своихъ вожаковъ говоритъ о себѣ: «умы наши слишкомъ пестры». И пестрота, очевидно, до такой степени сложная и трудно уловимая, что величайшій драматургъ предпочитаетъ отдѣлаться отъ нея мимолетными замѣчаніями, односложъ-

ными перебранками и превратить толпу въ смутный фонъ для величественной фигуры героя.

И до сихъ поръ всемірная литература не знаетъ поэта, умѣвшаго проникнуть въ таинственный міръ массовой психологіи. Не знаетъ такого Колумба и наука. Она, повидимому, твердо рѣшила отречься отъ культа героевъ и часто даже наноситъ совершенно неосновательныя оскорбленія великимъ людямъ, укорачивая и принижая ихъ въ интересахъ разныхъ вліяній, среды и обстановки. Исторія старается создать новое направленіе во имя «почвы» и «атмосферы» и въ ущербъ личной оригинальности и иниціативы историческихъ дѣятелей. Но это значитъ, она только предчувствуетъ свою истину, разобраться въ ней не можетъ. Безчисленное число разъ изображалась, напримѣръ, фигура Лютера, описывалась съ величайшими подробностями личность Наполеона. Объ темы были чистымъ утѣшеніемъ для историковъ-художниковъ. Безъ сомнѣнія, онѣ еще долго будутъ разрабатываться любителями пріятной, но, по нынѣшнимъ временамъ, мало благодарной и слишкомъ элементарной работы.

Мы не вѣримъ больше въ геніальное, непреодолимо могущественное вдохновеніе личности, мы твердо помнимъ предѣлы человѣческой воли, разъ ей приходится встрѣчаться съ равнодушіемъ и враждой. По нашему мнѣнію, только на театральной сценѣ да еще развѣ у наивнаго историка-анекдотиста толпу можно двинуть на какое угодно дѣло басней о желудкѣ или дѣтскими посулами. Мы увѣрены, толпа дѣйствовала такъ, а не иначе, не по одному мгновенному увлеченію, не подъ неотразимой властью человѣка—полубога, а на основаніи давнишнихъ стремленій и инстинктовъ, воспитанныхъ, можетъ быть, годами и десятилѣтіями и только ждавшихъ случая обнаружиться. Герой сказалъ толпѣ нужное ей слово и двинулъ ее не столько силой своей рѣчи, сколько удачнымъ совпаденіемъ своихъ словъ съ ея уже готовыми представленіями.

Да, это внѣ сомнѣнія, и только такимъ соображеніемъ можно объяснить множество фактовъ, весьма нелестныхъ для героической славы вождей и вдохновителей. Почему, напримѣръ, герои, бывшіе сначала явно впереди толпы и влекшіе ее за собой, весьма скоро становятся ея рабами, идутъ за ней часто противъ воли или съ ужасомъ отступаютъ въ сторону отъ движенія, ими же, повидимому, и вызваннаго?

Это именно повторялось со всѣми вождями революціи. Неудержимый потокъ или влекъ ихъ вплоть до террора, или смылъ ихъ съ пути и они съ ужасомъ слѣдили за бурной стихіей, не имѣя средствъ остановить ее, ни силъ пристать къ ней. А Лютеръ, такъ тотъ даже изрекъ проклятіе на толпу, вздумавшую свободу религіознаго чувства основать на гражданской свободѣ.

И неужели вы поставите этихъ людей въ центрѣ историческаго движенія послѣ того, какъ они стали его жертвами или въ лучшемъ случаѣ его слугами? Неужели вы все еще будете заставлять ихъ произносить громкія рѣчи и показывать толпу, гипнотически подчиняющуюся оратору? Вы. напротивъ, должны при-

знать,—вся сила оратора въ способности и готовности толпы отозваться на его рѣчь и судьба его задачи зависитъ исключительно отъ нравственныхъ связей, заранѣе существовавшихъ между его идеями и затаенными желаніями его слушателей. Вы, слѣдовательно, обязаны направить всю силу психологическаго анализа на массу и здѣсь прежде всего выяснить тайну величія и успѣховъ героя.

И мы начинаемъ усердно заниматься вопросомъ. Мы знаемъ, значеніе толпы будетъ расти непрестанно и все настоятельнѣе придется считаться съ ней рѣшительно во всѣхъ областяхъ современной умственной и практической жизни. Въ политикѣ—все начинается и кончается толпой. Она выбираетъ представителей народа, она же потомъ возникаетъ среди этихъ самыхъ представителей. А страшныя экономическія задачи нашего столѣтія? Эти безпрестанныя забастовки, стачки, нерѣдко настоящіе бунты. Здѣсь самое подлинное и неограниченное царство толпы, со всей ея стремительной, загадочной психологіей, со всей грозой неожиданныхъ вспышекъ и потрясающихъ преступленій. Наконецъ, современная университетская аудиторія, хотя бы въ ученѣйшей европейской странѣ, въ Германіи... Преданіемъ сѣдой старины приходится считать спокойное и кабинетно-ученое слово какого-нибудь Ранке. Теперь съ каѳедры безпрестанно раздается пароль той или другой политической партіи, часто прямое воззваніе къ молодежи. И она привѣтствуетъ профессора, будто оратора въ парламентѣ или на митингѣ и по его политикѣ распредѣляетъ свою признательность и свое равнодушіе. Развѣ она также не толпа? Развѣ ея не волнуютъ страсти данной минуты и развѣ *историческое* прославленіе Фридриха *прусскаго* менѣе способно взволновать прусскія сердца, чѣмъ открытое славословіе Вильгельму II? И развѣ судьбу города Страсбурга при Людовикѣ XIV нельзя разсказать съ самымъ современнымъ патріотическимъ волненіемъ?

И университеты ежедневно внимаютъ этимъ рѣчамъ и разсказамъ и заранѣе воспитываютъ въ своихъ аудиторіяхъ политическую толпу. Студенты являются въ парламентъ, на народную сходку готовыми бойцами и повторяютъ все тѣ же сцены изъ своей молодости, только съ еще большей свободой и авторитетомъ.

Да, толпа—истинный герой нашего времени, и естественно ея психологія становится излюбленнымъ вопросомъ ученыхъ и публицистовъ. На всѣхъ языкахъ появляется множество статей, цѣлыхъ книгъ на жгучую тему. Авторы собираютъ факты, стараются объяснить ихъ съ помощью закона, какой-нибудь общей истины. Это необходимо не только въ научныхъ цѣляхъ. Толпа безпрестанно совершаетъ противозаконія, необъяснимыя ни нравственно, ни логически.

Французскіе углекопы предаютъ жестокой казни инженера, менѣе всего виноватаго въ ихъ бѣдствіяхъ. Неаполитанское населеніе разрѣзываетъ на части гражданина, отдавшаго голоднымъ все свое достояніе и раньше никогда не проявлявшаго безсер-

дечія и жадности... За что эти жертвы? Какая злая сила могла подвинуть массу людей на безцѣльное и не заслуженное кровопролитіе? И притомъ, достовѣрно можно сказать, каждый порознь изъ нихъ врядъ ли совершилъ бы убійство. Надъ нимъ будто отяготѣла какая-то темная власть, лишь только онъ явился однимъ среди тысячи.

Еще поразительнѣе сцены не на улицѣ, не съ героями-пролетаріями, а съ культурнѣйшими гражданами страны. На Западѣ въ рѣдкомъ парламентѣ не происходило за послѣднее время самыхъ отталкивающихъ сценъ. Даже англійскій не можетъ устоять предъ искушеніемъ и даетъ спектакли, не имѣющіе имени на парламентскомъ языкѣ. И послушайте, какъ одну изъ подобныхъ сценъ описываетъ очевидецъ, знаменитый вождь ирландской партіи, Макъ-Карти! Въ описаніи нѣтъ ни одной преувеличенной черты. Представьте, вамъ пришлось бы услышать его безъ названія времени и мѣста дѣйствія? Могли бы вы догадаться, что драма совершалась въ конституціонномъ собраніи свободнѣйшей и политически-даровитѣйшей націи всего міра?

«Какъ дико забавны были лица!—разсказываетъ депутатъ.—Казалось невѣроятнымъ, что эти люди, орущіе, привскакивающіе, мечущіеся, размахивающіе руками, какъ сумасшедшіе, джентльмэны, отцы семействъ, ученые, люди высшаго положенія въ обществѣ, образцовые денди, аристократы... Ни одинъ изъ этихъ людей, взятый отдѣльно, не былъ способенъ къ грубому оскорбленію, всѣ вмѣстѣ они представляютъ безпорядочно мятущуюся толпу вырвавшихся на волю паціентовъ Бедлама. Эти люди которые воютъ, будто спущенныя съ цѣпи собаки, не выказали бы ни малѣйшаго волненія, если бы имъ пришлось броситься со шпица св. Павла. Этотъ великій человѣкъ желѣзныхъ дорогъ, который теперь глядитъ какъ бѣшеный, сохранилъ бы невозмутимую физіономію и пріятную улыбку, если бы ему объявили крахъ его дорогихъ спекуляцій и банкротство»...

Молодая дѣвушка, видѣвшая эту картину—не могла, говоритъ авторъ, придти въ себя отъ изумленія, какъ разумныя существа могутъ дѣлать изъ себя такое грубое и низменное зрѣлище?

Французскій парламентъ множество разъ былъ свидѣтелемъ еще болѣе удивительныхъ происшествій. Удивительны они не энергіей жестовъ и криковъ: въ этомъ отношеніи врядъ ли когда какое политическое собраніе превзойдетъ современный австрійскій рейхсратъ. Несравненно любопытнѣе порывъ видимой безотчетности въ словахъ и дѣйствіяхъ, овладѣвающій толпой законодателей. Какъ, напримѣръ, разобраться въ такомъ фактѣ?

Депутаты явились въ палату спокойные, твердо знающіе программу своихъ отношеній къ министерству. Они ни подъ какимъ видомъ не желаютъ его гибели: напротивъ, они его признанное и испытанное большинство. Вдругъ во время преній всплываетъ какой-нибудь совершенно ничтожный вопросъ, просто даже министръ неудачно выразился или депутаты оппозиціи ловко изловили министра на пустяшной ошибкѣ или, что особенно ужасно, мнимомъ укрывательствѣ фактовъ. Начинаются дебаты. Темпера-

тура поднимается. Присущее всякому народному представителю желаніе не совершить поруху своему депутатскому достоинству, не прослыть угодникомъ власти и администраціи, вступаетъ во всѣ свои права. Вопросъ принимаетъ критическій, конституціонный характеръ, идетъ на голоса, и министерство оказывается въ меньшинствѣ.

Какъ это случилось? Никто изъ виновниковъ сцены, всего нѣсколько минутъ назадъ дружественныхъ министерству, не въ состояніи объяснить. Исторія помнитъ въ особенности одинъ поразительный случай въ этомъ духѣ, именно наканунѣ іюльской революціи. Вопросъ шелъ, ни болѣе, ни менѣе, какъ о судьбѣ династіи. У власти стояло либеральное министерство и только оно могло предотвратить катастрофу. Фактъ сознавала почти вся палата, за исключеніемъ совершенно невмѣняемыхъ реакціонеровъ.

И все-таки непоправимый шагъ къ революціи былъ сдѣланъ въ нѣсколько минутъ. Дебаты начались по третьестепенному вопросу и увлекли умѣренныхъ либераловъ и завѣдомыхъ роялистовъ. Въ порывѣ протеста всѣ они или голосовали противъ министерства, или совсѣмъ не голосовали. Голосованіе состоялось и въ палатѣ, разсказываетъ очевидецъ, воцарилось мучительное волненіе. Съ замираніемъ сердца ждали рѣшенія министровъ и не одинъ депутатъ, только что помогшій ихъ паденію, чувствовалъ жестокое раскаяніе. Министровъ быстро окружила толпа съ соболѣзнованіями и изумленіями. Но дѣло проиграно, собраніе законодателей закрылось при конфузѣ большинства, неожиданно для себя совершившаго преступную шалость.

И такихъ приключеній множество. Правда, они возможны преимущественно въ очень политически неопытной средѣ, гдѣ страсти идутъ впереди идей и впечатлѣнія минуты сильнѣе принциповъ и убѣжденій. Но знаменательна не эта связь незрѣлости съ опрометливостью. Любопытна внезапность событій, отсутствіе въ нихъ видимаго смысла даже для самихъ виновниковъ. Любопытна въ особенности нравственная перемѣна, охватившая каждаго человѣка отдѣльно и толкнувшая его на поступокъ, вовсе ему не нужный и въ его же собственныхъ глазахъ безразсудный.

Есть здѣсь какая-нибудь логика? Говорятъ, всѣ факты имѣютъ свою причину и, слѣдовательно свое разумное объясненіе. А между тѣмъ, предъ нами нѣчто необъяснимое не только для насъ, но и для самихъ героевъ. Попавъ въ толпу, они будто хватили отравляющаго газа, утратили ясность мысли и способность отдавать отчетъ въ своихъ словахъ и поступкахъ. Гдѣ же скрывался этотъ ядъ? Вѣдь толпа состояла изъ такихъ же здоровыхъ и разсудительныхъ людей. Они это наглядно доказываютъ, раздѣляя общее негодованіе на совершившійся фактъ и со стыдомъ вспоминая свое участіе въ немъ.

Скажутъ, всѣ эти люди грубы отъ природы, прирожденные бойцы и гладіаторы и рады случаю развернуть силу легкихъ и мускуловъ. Но тогда чѣмъ же объясняется фактъ, засвидѣтельствованный исторіей всѣхъ историческихъ движеній? Женская толпа оказывается самой жестокой и кровожадной. Во время

французской революціи ужаснѣйшія преступленія совершались женщинами. Онѣ превращались въ настоящихъ каннибаловъ, разрывали на части убитыхъ и, случалось, поѣдали ихъ сердца. Именно женщины обнаруживали неукротимую ярость противъ Маріи-Антуанетты, требовали четвертовать ее, изъ внутренностей надѣлать кокардъ и отдать на съѣденіе толпѣ ея сердце. И только женщинамъ приходили на умъ эти каннибальскія рѣчи.

То же самое свидѣтельствуетъ и исторія народнаго движенія при реформаціи. Толпы подъ предводительствомъ женщинъ, совершали самыя жестокія опустошенія и заклинаніями фанатизировали людей до полной потери человѣческаго чувства. И такъ дѣйствовали даже молодыя и красивыя дѣвушки.

Какое можно вывести заключеніе? Можно ли признать, что природа женщинъ сама по себѣ болѣе наклонна къ жестокости и крови? Доказать этого нельзя на основаніи наблюденій надъ обычными фактами преступности. Слѣдовательно, и здѣсь вся тайна въ какой-то силѣ, обнаруживающей себя только при извѣстныхъ условіяхъ. Стоило нѣсколькимъ личностямъ сойтись вмѣстѣ и получилось нѣчто новое, чего раньше нельзя было подозрѣвать ни въ одной изъ нихъ порознь. Будто два газа, въ извѣстномъ соединеніи дающіе жидкость.

И какое громадное участіе эта сила принимала въ величайшихъ событіяхъ исторіи! Возьмите, напримѣръ, біографію Наполеона, удалите со сцены толпу, вы этимъ самымъ вычеркните изъ исторіи рядъ ужаснѣйшихъ страницъ, какія только были написаны въ ней руками такъ называемыхъ великихъ людей. Эта ликующая парижская улица, встрѣчающая тріумфомъ генерала Бонапарта по возвращеніи изъ египетскаго, менѣе всего доблестнаго похода, это скопище людей, замирающее въ идолослужительскомъ восторгѣ предъ краснымъ консульскимъ мундиромъ, развѣ все это не пьедесталъ для сверхъчеловѣка! И вопросъ, сталъ ли бы этотъ просто человѣкъ сверхъчеловѣкомъ, если бы ему не подставило затылковъ и спинъ имъ же глубоко презираемое стадо?

И кто поручится, что подобное творчество толпы немыслимо и въ наше время, и въ отдаленномъ будущемъ. Никакіе Ренаны съ своей аристократической надменностью и божественной ясностью души не спасутъ людей отъ громадной, всеохватывающей власти толпы. Презирать, обращаться въ бѣгство, пренебрегать весьма часто—значитъ свидѣтельствовать о безсиліи или неумѣньѣ бороться.

Мы должны совершенно иначе считаться съ историческимъ явленіемъ, какимъ бы ненавистнымъ и дикимъ оно ни казалось намъ. И врядъ ли какой еще вопросъ въ современной психологіи и общественной мысли можетъ поспорить своимъ всестороннимъ практическимъ значеніемъ съ вопросомъ о психологіи толпы, о нравственномъ и политическомъ значеніи этой отнынѣ первенствующей силы.

III.

Мы все время говоримъ по поводу статьи французскаго публициста Тарда и между тѣмъ не могли извлечь изъ нея ни одного поучительнаго факта, ни одного цѣннаго замѣчанія. Написано громадное разсужденіе, совершенно призрачнаго, неуловимаго содержанія. Писатель съумѣлъ только обнаружить обычныя аристократическія чувства большинства современныхъ литературныхъ знаменитостей. Онъ ненавидитъ и презираетъ толпу. Онъ собираетъ о ней скандальныя исторіи по сочиненіямъ Тэна, и ему и на умъ не приходитъ задать себѣ вопросъ, какой же смыслъ этихъ скандаловъ? И была ли капля логики и историческаго пониманія событій у автора, задавшагося цѣлью величайшее движеніе новаго времени свести къ нарушенію общественной тишины и порядка?

Жалкій народъ эти литературные аристократы мѣщанской крови! На каждомъ шагу факты бьютъ ихъ наповалъ, парламентъ даетъ самыя несообразныя представленія, періодическая печать безпрестанно лжетъ, клевещетъ, играетъ на низменныхъ инстинктахъ улицы, политическіе дѣятели занимаются словеснымъ фехтованіемъ на сценѣ и заушеніемъ уголовнаго кодекса за кулисами... А они, эти господа въ академическихъ кафтанахъ, пробавляются презрительными улыбками и крѣпкими словами. Будто когда-нибудь эти средства доставляли кому-либо пользу или удовольствіе, кромѣ самихъ улыбающихся и бранящихся!

Такъ и нашъ авторъ.

Его образецъ Тэнъ могъ сквозь свои очки не видѣть самыхъ яркихъ явленій современной дѣйствительности и совершенно спокойно, съ помощью непарламентскихъ выраженій, уничтожать не только толпу, но даже всю демократію и созданный ею порядокъ вещей. Наивнѣйшій педантъ воображалъ, будто содержимое его чернильницы вполнѣ довлѣетъ противъ всѣхъ теченій жизни. Тардъ уже не можетъ раздѣлять ослѣпленія учителя.

Онъ искренне ужасается предъ неотразимымъ вліяніемъ толпы. Онъ понимаетъ, что современному писателю, поэту, философу нѣтъ ни малѣйшей возможности уберечься отъ гипнотизирующей власти улицы. Будь какая угодно оригинальная и сильная личность, она непремѣнно тѣсно соприкасается съ толпой: иначе она утратитъ всѣ пути идеями воздѣйствовать на внѣшній міръ, т. е. потеряетъ даже право считаться сильной и творческой единицей.

Ужасное положеніе! Авторъ не желаетъ примириться съ нимъ. Ему нужны непремѣнно Манфреды, ораторствующіе на одинокихъ скалахъ, Демоны, снисходящіе до земли только ради какого-нибудь «одного созданія», ну хотя бы нѣсколькихъ сенъ-жерменскихъ дамъ, и ужъ никакъ ради «людского стада». Вопросъ, какъ же сохранить эту породу смертныхъ?

Нѣкоторые думаютъ, высшіе экземпляры человѣческой расы будутъ пощажены той же толпой. Она во имя благодарности къ ихъ благодѣяніямъ и въ восторгѣ предъ ихъ исключительными

умами — предохранитъ ихъ отъ позорнаго приравниванія ихъ шалостей къ общему уровню.

Вы понимаете? Если нѣтъ, можете быть спокойны: и сами изобрѣтатели идеи, навѣрное, не понимаютъ ея, по крайней мѣрѣ, практическаго смысла. Недурна и логика. Толпа одарена непреодолимой властью привлекать къ себѣ всякую дѣятельную и даровитую личность и та же толпа будетъ ограждать одинокое самосозерцаніе избранныхъ умовъ. Какъ это она разрушитъ собственную свою природу и предастъ себя самоубійству—философы наши не входятъ въ подробности.

Тардъ разсчитываетъ на другое средство.

Земледѣльцы щадятъ вершины горъ, не обезображиваютъ нивами и виноградниками не потому, чтобы они щадили родники воды въ нѣдрахъ этихъ горъ, а просто потому, что поверхность ихъ слишкомъ тверда и недоступна ихъ заступамъ. То же самое и великіе одинокіе геніи.

Они должны разсчитывать исключительно на свою способность сопротивляться уравнительнымъ вліяніямъ толпы. Только въ ихъ собственной устойчивости ихъ спасеніе.

И нельзя не сознаться, просвѣщенные соотечественники автора весьма широко примѣняютъ это средство. Они стараются создать изъ своихъ ученыхъ кабинетовъ и аудиторій своего рода Θиваиду, воздвигнуть непроницаемую стѣну между интересами и задачами внѣшняго міра и своими изысканными вкусами и умственными наслажденіями. Они представляютъ особую расу эстетическихъ трутней, счастливыхъ при единственномъ условіи: лишь бы ихъ не трогали въ ихъ углахъ. А тамъ пусть на улицѣ царитъ стонъ, даже льется кровь, избранная личность закроетъ поплотнѣе окно и создастъ развѣ новый трактатъ на тему звѣрской психологіи толпы и безплодныхъ надеждъ мудрецовъ дождаться отъ нея когда-либо человѣческихъ чувствъ и поступковъ.

Но, къ несчастью, толпа весьма наклонна врываться даже въ закрытыя помѣщенія и обшаривать самые укромные углы. Она уже это неоднократно совершала и съ дикими воплями взывала: намъ не надо ученыхъ и поэтовъ! И она бросала ихъ въ тюрьмы, рубила головы на гильотинѣ...

И кто знаетъ, покончила ли она навсегда съ этой дикой ненавистью даже въ культурнѣйшихъ странахъ міра? Кто поручится, что парижская улица, когда-то участвовавшая въ гибели первостепенныхъ ученыхъ прошлаго вѣка, откажется современемъ достойно возместить литературнымъ и ученымъ поносителямъ Калибана? И развѣ мы не видимъ, какъ дешево цѣнитъ народъ современныхъ умственныхъ знаменитостей и какъ онъ при всякомъ удобномъ случаѣ готовъ привѣтствовать «человѣка на лошади» и освистать самаго основательнаго философа и блестящаго писателя?

И послѣ этого проповѣдывать отщепенство и устойчивость, убѣждать личность сторониться и спасать свое *я* отъ посягательствъ массы! Не значитъ ли это давать самый роковой совѣтъ и углублять и безъ того зіяющую пропасть между представите-

лями таланта и знанія и рядовымъ человѣчествомъ? И не только рядовымъ. Даже такъ-называемое современное общество въ сущности такая же толпа, даже менѣе серьезная и нравственно-устойчивая, чѣмъ народная масса.

Подойдите къ этому обществу въ моментъ, когда его охватываетъ какое-нибудь общее чувство, когда оно во власти одного всѣмъ доступнаго интереса, вы будете поражены первобытностью и низменностью его впечатлѣній. Въ сравненіи съ нимъ народныя массы, принимавшія участіе въ историческихъ событіяхъ, покажутся вамъ величественной, хотя и стихійной силой. Тамъ дѣйствительно власть и стремительность во имя безусловно жизненнаго идеала, годами, можетъ быть, вѣками назрѣвшей національной политической и общественной задачи. Стремится къ ней толпа дико, по варварски сокрушаетъ препятствія, не отступаетъ предъ преступленіями, но вы знаете цѣль стремленій и знаете, что эта цѣль ляжетъ въ основу новой исторической эпохи.

А эта—культурная, усовершенствованная толпа! Лучше всего наблюдать ее въ любимѣйшемъ ея положеніи, на театральныхъ зрѣлищахъ. Она считаетъ ихъ украшеніемъ своей цивилизаціи, необходимой умственной и художественной пищей развитого гражданина, она щедро награждаетъ славой и деньгами своихъ увеселителей, она лучше знаетъ имена артистовъ и драматурговъ, чѣмъ самыхъ геніальныхъ ученыхъ и мыслителей. Очевидно, это лучшее ея изобрѣтеніе, и краснорѣчивѣйшій пробный камень ея духовныхъ силъ и ея идеаловъ.

Что же показываетъ этотъ пробный камень?

Около года назадъ отвѣтъ далъ безусловно почтенный знатокъ дѣла. Сказалъ онъ очень мало новаго, но замѣчательно, что именно онъ все это сказалъ, съ непосредственной самоусладительной откровенностью прирожденнаго фельетоннаго болтуна и типичнѣйшаго представителя просвѣщенной толпы.

Францискъ Сарсэ извѣстенъ въ Парижѣ такъ же, какъ Эйфелева башня, и любимъ искренне и безгранично. Его умъ какъ разъ на уровнѣ среднихъ мыслительныхъ способностей интеллигентнаго француза, его вкусъ—общее достояніе всѣхъ, кто въ состояніи носить свѣжія перчатки и новые цилиндры. Почти полвѣка онъ провелъ въ театрѣ, въ залѣ или за кулисами. Это—живое метрическое свидѣтельство всѣхъ отечественныхъ этуалей и фуроровъ, но до послѣдней степени любезное и снисходительное. Онъ не выдастъ своей публики, и если что ужъ онъ говоритъ про нее, значитъ онъ это считаетъ безусловно въ порядкѣ вещей и не прочь приписать самому себѣ.

И вотъ Сарсэ вздумалъ изобразить психологію современной театральной толпы. Сдѣлалъ онъ это очень подробно и дѣльно: вѣдь психологическое изслѣдованіе на каждомъ шагу переходило въ самопризнаніе. Что же получилось въ результатѣ?

По наблюденіямъ Сарсэ, для театральной публики не существуетъ заранѣе никакихъ достоинствъ какой-угодно пьесы. Все зависитъ исключительно отъ впечатлѣній на мѣстѣ, въ театральной залѣ. Такъ опытные директоры театровъ и говорятъ: на

свѣтѣ нѣтъ ни хорошихъ, ни дурныхъ драматическихъ произведеній, а есть только благосклонныя и враждебныя впечатлѣнія театральной залы. Пьеса нравится,—вотъ единственно разумная критика, всѣ другіе разговоры объ ея содержаніи, о талантливости автора совершенно излишни. Поведеніе театральной толпы часто повергаетъ въ недоумѣніе самыхъ свѣдущихъ наблюдателей. Сарсэ изъ своей рецензентской практики знаетъ множество случаевъ, свидѣтельствующихъ чуть не мгновенное умопомѣшательство просвѣщенныхъ зрителей.

Вдругъ имъ понравится какая-нибудь фраза, три-четыре стиха,—и успѣхъ пьесы обезпеченъ на долго. Потомъ эффектъ забывается, и пьеса предается забвенію. Вообще нѣтъ нн малѣйшей возможности установить принципы общественнаго суда надъ авторами, драмами и даже артистами.

Въ этомъ случаѣ можно совершенно серьезно говорить о такого сорта вліяніяхъ, какія должны показаться пошлыми въ исторіи народной толпы, даже прямо невозможными.

Вы знаете, отчего зависитъ вкусъ интеллигентной публики и степень ея идеальныхъ построеній?

Вы думаете—отъ болѣе или менѣе животрепещущихъ идей писателя, отъ его творческой силы. Ничего подобнаго. Причинъ очень много и ни одной *психологической* въ прямомъ смыслѣ слова.

Во-первыхъ, весьма важно, давно или недавно пообѣдали зрители. Если недавно—никакой геній не вызоветъ у нихъ благосклоннаго вниманія. Пищевареніе вещь непримиримая съ эстетикой и пониманіемъ. И знаете, почему изъ современнаго репертуара почти окончательно исчезла серьезная, *высокая комедія* прежняго времени? Вовсе не потому, что некому писать такихъ комедій, а потому, что публика обѣдаетъ передъ самымъ спектаклемъ. Обѣдай они часа въ четыре—драматическая литература представляла бы совсѣмъ другой видъ. А теперь поневолѣ авторамъ приходится сочинять водевили и фарсы и еще худшіе драматическіе фокусы въ духѣ какого-нибудь Сарду.

Но существуетъ и еще болѣе удивительная причина, почему даже большой талантъ можетъ оказаться забракованнымъ и вчерашнее нистожество сегодня стать именемъ. Стоитъ, напримѣръ, поставить драму въ томъ театрѣ, куда публика привыкла ходить смѣяться, и все дѣло проиграно. Толпа изумлена неожиданнымъ къ ней запросомъ, у нея нѣтъ почвы подъ ногами, нѣтъ обычной руководящей нити: потому что она *животное привычки*, и блестящая драма на водевильной сценѣ погибнетъ неминуемо.

Вообще вліяніе мѣста на интеллигентную толпу громадно. Достаточно какому-нибудь несчастному театру неудачно начать свою дѣятельность, поставитъ скучную пьесу, и за нимъ немедленно устанавливается роковая репутація, онъ чахнетъ и гибнетъ отъ безсмысленнаго предубѣжденія публики. Наоборотъ, если театръ или какой-нибудь театральный жанръ въ модѣ, всякая посредственность имѣетъ успѣхъ.

Напримѣръ, въ теченіе, по крайней мѣрѣ, тридцати лѣтъ

царила оперетка. Всякое либретто, заурядн҃йшая музыка встр҃чались восторженно.

— Ахъ, это оперетка!—восклицала толпа и наполняла театръ. Даже Сарсэ, по его словамъ, впадалъ въ ярость, но молчаливую. У него сердце обливалось кровью при вид҃, какъ окончательно гибла комедія, какъ сцену заполняли куплеты и легкомысленные мотивы. Но какъ бороться съ врагомъ?

Критика совершенно безсильна предъ увлеченіями толпы. Она будто начальникъ отряда, поддавшагося паник҃. Ему волей-неволей приходится б҃жать вм҃ст҃ съ своими солдатами. Остановить ихъ н҃тъ возможности; хорошо, если удастся установить какой-нибудь порядокъ въ б҃гств҃. Такъ и критика.

Она видитъ б҃шеную стремительность публики къ предмету—явно предосудительному и пошлому. Ей остается б҃жать за толпой и только предупреждать ее въ особенно опасные моменты. Больше ничего она не въ состояніи сд҃лать и должна ждать, когда толпа остановится сама собой и приметъ другое направленіе. Тогда съ ней можно говорить!

Все это фактически в҃рно, но сколько же униженія и стыда заключается для критики въ подобномъ ея признаніи! Зач҃мъ же она тогда существуетъ, если у нея н҃тъ никакого самостоятельнаго вліянія, если она всякую минуту можетъ оказаться въ хвост҃ публики, вовсе даже не желающей и знать о настроеніяхъ критиковъ? Да въ сущности, такое положеніе не обычно ли вообще для критики? В҃дь она не выдерживаетъ позиціи въ критическіе моменты. Сл҃довательно, если при изв҃стныхъ обстоятельствахъ намъ кажется, будто она руководитъ толпой, не просто ли это потому, что толпа даннаго времени вяла и равнодушна или критика умѣла подладиться подъ ея вкусы?

Ставя эти вопросы, мы ни на минуту не должны забывать жизненнаго значенія фактовъ. Д҃ло идетъ о той самой сил҃, какая управляетъ всей современной общественной и политической жизнью. Театральная толпа можетъ совпадать до мельчайшихъ подробностей съ толпой парламентскихъ избирателей и съ толпой въ самомъ парламент҃, но она составляется изъ т҃хъ же элементовъ, пожалуй, даже во многихъ случаяхъ бол҃е культурныхъ. Театромъ увлекаются именно т҃ интеллигенты, для которыхъ не существуютъ политическія бури и совершенно безразличны парламентскія происшествія.

Очевидно, психологія театральной залы можетъ считаться весьма достов҃рнымъ показателемъ духовнаго уровня вообще современной просв҃щенной толпы. И мы видимъ, до какой степени безъидейна, безотчетна и часто жалко см҃шна эта толпа. У нея н҃тъ настолько устойчивыхъ, даже литературныхъ вкусовъ, что она способна обвинить или оправдать какое угодно яркое художественное явленіе подъ внушеніемъ самыхъ фантастическихъ или грубо матеріальныхъ мотивовъ. Она неуловима и непостижима въ своихъ приливахъ и отливахъ, но въ то же время она грозная, самодержавная сила. Критика даже вынуждена отказаться отъ борьбы съ ней и покорно сл҃довать за ней.

Поставьте теперь на мѣсто театральной залы другую залу митинга или парламента. Развѣ министерства торжествуютъ и падаютъ не подъ такими же внезапными порывами настроеній депутатской толпы? Развѣ рѣчи ораторовъ освистываются или заслуживаютъ чести быть афишированными по всей странѣ не на основаніи впечатлѣній даннаго момента? Развѣ чуть не ежедневно перетасовываются группы и преобразовываются ихъ комбинаціи не подъ вліяніемъ все того же мгновеннаго внушенія, часто мы видѣли, едва объяснимаго даже для самихъ артистовъ сцены?

Дальше. Критика устами одного изъ своихъ вліятельнѣйшихъ представителей слагаетъ оружіе предъ театральной толпой. А сколько разъ мы наблюдали и наблюдаемъ, когда государственный дѣятель умолкаетъ и ступевывается предъ натискомъ массоваго настроенія? Мы отлично знаемъ, во Франціи и въ Италіи въ настоящее время нѣтъ недостатка въ политическихъ дѣятеляхъ, превосходно понимающихъ бѣдственное положеніе народнаго представительства. Не всѣ они лишены мужества публично выяснять пороки и предлагать средства исцѣленія. Но кто ихъ слушаетъ?

Толпа поглощаетъ безслѣдно и безплодно разумныя рѣчи и продолжаетъ въ Италіи чествовать Криспи, во Франціи въ теченіе цѣлыхъ лѣтъ изъ-за одного судебнаго вопроса забывать важнѣйшія задачи государственнаго управленія и общественнаго порядка. Въ другихъ государствахъ еще печальнѣе: парламентская толпа уже прямо превращается въ уличную и чисто уличными средствами спасаетъ свою партійную честь и оскорбляетъ чужую.

Что остается дѣлать *политической* критикѣ?

То же самое, что однажды сдѣлалъ Гладстонъ, присутствуя при одной изъ самыхъ драматическихъ сценъ англійскаго парламента. Онъ сталъ въ сторонѣ отъ зрѣлища и, грустно созерцая дикую картину, произнесъ: «Я слишкомъ слабъ чтобы принять участіе въ генеральной битвѣ».

И безпрестанно современнымъ даже самымъ вліятельнымъ политикамъ приходится повторять Гладстона. Они безсильны предъ толпой, хотя бы даже она состояла изъ самыхъ развитыхъ и передовыхъ людей страны. Они безпрестанно вынуждены или подчиняться ей, или давать дорогу ея стихійному движенію и съ разбитымъ сердцемъ и озлобленнымъ умомъ взирать на слѣпо мятущуюся дикую силу.

Послушайте отчеты властей и печати о современныхъ народныхъ собраніяхъ: вы будете оскорблены въ лучшихъ своихъ человѣческихъ чувствахъ. Несомнѣнно, весьма часто дѣло обходится какъ и подобаетъ въ цивилизованной средѣ, но также весьма нерѣдко вопросъ объ идеяхъ переходитъ въ вопросъ о физической силѣ и поиски истины смѣняются покушеніемъ на личную честь противниковъ. И попробуйте спросить у свидѣтелей фактовъ, чѣмъ объясняются такія происшествія? Вамъ отвѣтятъ: толпа опьянѣла отъ страстей, толпу съумѣли раздражить и натравить, толпу обманули и увлекли...

Вездѣ толпа и толпу. Она причина всѣхъ варварствъ, совершающихся на свободной почвѣ конституціонныхъ странъ, она виновница нравственнаго разложенія, проникающаго въ народное представительство, она выноситъ на поверхность авантюристовъ и дѣльцовъ. И не предвидится конца ея разрушительной и растлѣвающей дѣятельности.

Въ нѣкоторыхъ государствахъ уже существуетъ всеобщая подача голосовъ, другіе постепенно идутъ къ той же цѣли. Право голоса на парламентскихъ выборахъ все расширяется и этотъ пунктъ стоитъ во всѣхъ радикальныхъ программахъ. Рано или поздно, онъ непремѣнно осуществится, и тогда толпа станетъ истинной властительницей культурнаго міра.

Измѣнится ли ея практика на такой идеальной высотѣ? Отъ самихъ политическихъ центровъ—никоимъ образомъ. Напротивъ, психологія толпы можетъ стать еще грознѣе и стихійный характеръ ея власти еще шире и могущественнѣе. Права толпы на пути къ росту и полному торжеству, можно ли тоже сказать о нравственномъ улучшеніи толпы, о подъемѣ ея человѣческаго достоинства, о пониженіи ея способности къ безотчетнымъ увлеченіямъ и нерѣдко непоправимымъ ошибкамъ?

Врядъ ли, и по очень простой причинѣ.

Толпа до сихъ поръ остается дѣвственной почвой. Мы видѣли, какъ недавно стали изучать ея психологію и какъ ничтожны результаты изученія. Толпа продолжаетъ играть роль сфинкса, страшной загадки, чреватой какими угодно, самыми странными и неожиданными разрѣшеніями. Ее или презираютъ, или идутъ за ней, съ покорностью отчаянія, или льстятъ ей и ищутъ средствъ воспользоваться ея инстинктами, вовсе не съ цѣлью просвѣтить и облагодѣтельствовать ее.

Но это не значитъ рѣшать вопросъ, все энергичнѣе и безповоротнѣе надвигающійся на человѣчество. Оно цѣлые вѣка изучало личность всяческими способами. Оно творило всевозможныхъ героевъ въ искусствѣ, анализировало ихъ душу, въ наукѣ, преклонялось предъ ихъ волей въ политикѣ...

Все это стало прошлымъ. Больше не быть на свѣтѣ маркизу Позѣ и не восклицать ему въ лицо какому-нибудь всемогущему единоличному деспоту: «Государь! перомъ черкнуть вамъ стоитъ и земля обновлена»...

Самъ деспотъ расхохотался бы въ отвѣтъ на эту идеально-героическую рѣчь. Онъ предложилъ бы своему совѣтнику справиться, какъ думаютъ на счетъ почерка пера и обновленія земли тѣ самыя ариѳметическія цифры, которыя горячему воображенію идеалиста представляются столь послушнымъ и впечатлительнымъ матеріаломъ?

Идеалистъ увидѣлъ бы, что это вовсе не матеріалъ, хотя онъ и обозначается кратко—цифрой. У него есть свой нравственный міръ, совершенно своеобразный: онъ не походитъ на психологію каждой отдѣльной личности, входящей какъ единица въ общее число, его нельзя открыть и путемъ сравненія и комбинаціи нравственныхъ качествъ всѣхъ этихъ единицъ. Однимъ словомъ это—

совсѣмъ особенный индивидуумъ и ради него слѣдуетъ открыть новый отдѣлъ психологіи, изобрѣсти новые пріемы анализа, короче, создать науку о толпѣ.

Тогда, можетъ быть, и откроются способы примирять ея душу съ идеями и чувствами личности, устранить съ общественной сцены недостойныя проявленія дикости, безразсудства и преступности. Тогда станетъ тяжелымъ воспоминаніемъ современный разладъ между благороднѣйшими личностями и массой и не будетъ больше самихъ наименованій—герои и толпа: будутъ только разумныя существа, взаимно понимающія другъ друга и во всякую минуту отвѣчающія за свои слова и дѣйствія. Одинаково трудная и неизбѣжная задача для наступающаго вѣка!

Европейская политика въ борьбѣ за справедливость и гуманность.

По поводу книги *La question d'Orient depuis le traité de Berlin.* Par Max Choublier, prof. à l'école française de droit du Caire. Paris. 1899.

I.

Предъ нами книга, представляющая истинный подвигъ философскаго спокойствія и ученаго безпристрастія. Казалось бы, что̀ можно представить безпокойнѣе, *раздражительнѣе* во всей современной европейской политикѣ, чѣмъ такъ называемый восточный вопросъ? Въ теченіе цѣлыхъ вѣковъ онъ не перестаетъ терзать душу культурнаго человѣчества, нанося кровныя оскорбленія рѣшительно всѣмъ благороднымъ инстинктамъ нашей природы—правиламъ справедливости, чувству гуманности, идеѣ умственнаго и нравственнаго прогресса.

И вотъ при такихъ-то условіяхъ французскій профессоръ съумѣлъ изобразить исторію вопроса,—и именно въ самый тревожный его періодъ,—безъ всякихъ сильныхъ волненій, будто дѣло шло о какомъ-нибудь средневѣковомъ спорѣ или древней, давно позабытой распрѣ народовъ. Даже самый непосредственный источникъ страсти—патріотизмъ не возъимѣлъ никакого вліянія на трудъ ученаго. Книга сохранила лѣтописный тонъ въ самыя критическія минуты, когда всякій другой современный французъ непремѣнно призвалъ бы громъ и молнію во-имя чести своей родины и ея многовѣковой культурной миссіи.

Все это большая профессіональная заслуга ученаго и публика всѣхъ національностей будетъ ему благодарна за тщательную и всестороннюю разработку задачи, едва доступной въ настоящее время чисто-историческому изслѣдованію. Развѣ только нѣкоторые русскіе читатели могутъ представить кое-какія возраженія, но и то, вѣроятно, довольно робкія и запутанныя.

Авторъ, безъ всякихъ колебаній, славянофильскую внѣшнюю политику принимаетъ за настоящія національныя стремленія всего русскаго народа и русскаго правительства. Онъ ссылается на пуб-

лицистовъ крайняго московскаго направленія и извлекаетъ изъ ихъ произведеній символъ вѣковой русской политики. Легко представить окончательный выводъ изъ этихъ извлеченій! Онъ способенъ перепугать самаго безпечнаго обывателя Западной Европы и самаго крикливаго франко-русса.

Весь восточный вопросъ для Россіи сводится къ власти надъ Константинополемъ, подъ *Царьградомъ*. Крестъ на св. Софіи—истинная мечта русскаго народа и непоколебимая задача петербургскаго правительства. Все остальное только хитроумныя лицемѣрныя уловки, напримѣръ, защита балканскихъ христіанъ, освобожденіе славянскихъ національностей. Правда, русская либеральная партія вѣруетъ въ право всякой народности на самостоятельное политическое и культурное существованіе, но для русской политики эта либеральная вѣра только лишній козырь въ старой игрѣ. Она неуклонно ставитъ себѣ одну и ту же цѣль, все равно, опирается ли на чисто-народное сочувствіе страдающимъ христіанамъ, или на идеи просвѣщеннаго общества о національной свободѣ: цѣль эта—создать всеславянскую имперію съ Москвой—столицей. И это не только русскій политическій идеалъ, весь міръ заинтересованъ въ этомъ переворотѣ. Славянская цивилизація должна обновить и въ то же время замѣстить европейскую.

Такъ французскій профессоръ понимаетъ русскій отвѣтъ на восточный вопросъ. Дальнѣйшія, еще болѣе грозныя перспективы открываются сами собой, и все на почвѣ московскаго политическаго евангелія. Черезъ Константинополь прямой путь въ Индію, и Англія совершенно права въ своей неумолимой и неослабной враждѣ противъ Россіи. Все ея благоденствіе зависитъ отъ успѣховъ или неудачъ русской національной политики, и даже французскіе публицисты давно ставятъ вопросъ: будетъ ли Индія русская или англійская?

Это уже настоящій кошмаръ для владычицы морей, и онъ именно побуждаетъ ее становиться на всѣхъ путяхъ русской политики, разстраивать ея планы, отравлять сладость ея успѣховъ, ея побѣды лишать заслуженныхъ плодовъ... Нашъ авторъ все это объясняетъ и оправдываетъ ссылками на статьи катковскихъ *Московскихъ Вѣдомостей*, произведенія Данилевскаго, г-жи Ольги Новиковой.

Это единственный моментъ въ книгѣ нашего ученаго, не свидѣтельствующій въ пользу ясности его духа и проницательности его политической мысли. Но онъ въ то же время заслуживаетъ самаго широкаго снисхожденія.

Во-первыхъ, онъ раздѣляетъ участь большинства европейцевъ, писавшихъ и пишущихъ о Россіи, и, повидимому, весьма почтенныхъ, близко изучившихъ предметъ. Какъ разъ именно эти знатоки дѣла въ сильнѣйшей степени способствовали англійскимъ ужасамъ предъ кознями русской политики. Всего нѣсколько лѣтъ назадъ, въ Оксфордѣ читались публичныя лекціи о русской литературѣ. Читалъ ихъ лекторъ петербургскаго университета, десятки лѣтъ прожившій въ Россіи, обучавшій русскую молодежь

англійскому языку и литературѣ: на что болѣе освѣдомленнаго судьи!

И вотъ онъ-то усиленно доказывалъ англійской аудиторіи, что единственные истинно-русскіе люди—славянофилы, западники нѣчто въ родѣ отщепенцевъ своего отечества. Даже больше Такъ называемая интеллигенція—явленіе отрицательное въ развитіи русской общественности. Она совершенно чужда истинно-національныхъ идеаловъ, она—болѣзненный наростъ на русской культурной почвѣ. Настоящаго русскаго духа слѣдуетъ искать въ старцѣ Θерапонтѣ Достоевскаго, въ ученіи гр. Толстого о непротивленіи злу. Вотъ это подлинная русская мудрость и, естественно, по соображеніямъ лектора, «наука и университеты не являются естественными продуктами русской жизни».

Старецъ Θерапонтъ, дѣйствительно, съ наслажденіемъ присоединилъ бы это открытіе къ своей бесѣдѣ о чертяхъ, владѣющихъ, будто бы, всѣми ненавистными ему людьми. И такія-то объясненія русской литературы авторъ давалъ иностранной публикѣ съ цѣлью «вызвать болѣе дружественное и справедливое сужденіе о характерѣ и стремленіяхъ русскаго народа»! Даже сами правовѣрные почитатели «московскаго фанатизма» отмахнулись бы въ ужасѣ предъ такой компаніей.

Но сущность вопроса представляется тѣмъ ярче и внушительнѣе. Время отъ времени ее воспроизводитъ иностранная печать, безповоротно убѣжденная въ панславистскомъ азартѣ нашего отечества. Убѣжденіе съ большимъ авторитетомъ поддерживается знатными русскими сотрудниками заграничныхъ журналовъ. Нашъ авторъ ссылается на г-жу Ольгу Новикову; странно, какъ онъ не воспользовался несравненно болѣе авторитетнымъ свидѣтельствомъ, очень недавнимъ и, на иностранный взглядъ, безусловно убѣдительнымъ.

Мы говоримъ о статьѣ русскаго автора, не подписавшаго своего имени, но по всѣмъ признакамъ не зауряднаго журнальнаго публициста. Статья разсказываетъ о послѣдней русско-турецкой войнѣ по первоисточникамъ, открываетъ не мало дипломатическихъ и военныхъ тайнъ и во всеоружіи авторской освѣдомленности приходитъ къ рѣшительному выводу. Россія, въ теченіе всего своего политическаго существованія, неудержимо стремится къ власти надъ Византіей. Это ея провиденціальное назначеніе, это стихійная воля русскаго народа, его историческое призваніе. И пока оно не осуществлено, надъ страной виситъ гроза страшныхъ драмъ. Будто злой рокъ мститъ ей за невыполненіе священной *тысячелѣтней* задачи *).

Развѣ не правъ послѣ этого французскій профессоръ въ своемъ недовѣріи къ гуманнымъ, безкорыстнымъ стремленіямъ Россіи въ восточномъ вопросѣ? И онъ прямо пишетъ: «цѣль Россіи не столько защищать угнетенныхъ, сколько удовлетворить своему честолюбію, своимъ личнымъ интересамъ». Даже больше. Авторъ

*) Les Russes devant Constantinople (1817—1878). *Révue de Paris*, 15 juillet 1887.

старается подъискать своей мысли общее философское объясненіе. Онъ, очевидно, не вѣритъ воодушевленію, съ какимъ русскій народъ принялъ сторону славянъ въ борьбѣ съ Турціей. Онъ даже ни словомъ не упоминаетъ о христіанскомъ сочувствіи массы и безусловно идеальномъ увлеченіи общества. Все это, по мнѣнію автора, несовмѣстимо съ историческими основами русскаго государства.

Естественно, онъ становится противъ Россіи всюду, гдѣ только представляется ему малѣйшій намекъ на сопротивленіе ея панславистскому самовластію. Онъ восхваляетъ борьбу возрожденной Болгаріи за независимость отъ русской политики и забываетъ упомянуть, кѣмъ и какъ велась эта борьба. При всемъ уваженіи къ болгарской національной свободѣ, Стамбулова врядъ ли можно, безъ всякихъ оговорокъ, считать спасителемъ отечества и творцомъ нравственнаго и политическаго прогресса. Авторъ даже не упоминаетъ о «конституціонной» дѣятельности болгарскаго Бисмарка и объ ея конечныхъ результатахъ для него и для внѣшней политики страны. Даже франко-русскій союзъ не смягчаетъ его сердца,—фактъ, не лишенный поучительности для русскихъ читателей. Они могутъ видѣть, какъ антирусскія убѣжденія ученаго внесли рѣзкую фальшивую ноту въ общій спокойный и безпристрастный тонъ его книги. Даже въ Египтѣ, въ странѣ самой обостренной борьбы французской и англійской національностей, французъ распространяетъ исконно англійскій взглядъ на неутомимую жадность Россіи къ завоеваніямъ и захватамъ.

Но это — единственная тѣнь на трудѣ нашего автора. Всѣ другія раздражающія свойства восточнаго вопроса остались за предѣлами его исторіи. Онъ не позволилъ себѣ ни чувствительныхъ изліяній, ни патріотическаго негодованія, ни одного изъ настроеній, столь обычныхъ у всѣхъ и особенно у французскихъ современныхъ политиковъ. Они безпрестанно негодуютъ на поведеніе своего правительства въ греческомъ и армянскомъ вопросѣ. Они находятъ унизительнымъ сдержанное поведеніе своей когда-то столь рыцарственной страны предъ вызывающими преступленіями Турціи. Они даже бросаютъ камнями въ Ганото, одного изъ удачливѣйшихъ дѣльцовъ третьей республики, за его нѣжныя чувства къ султану и совершенное равнодушіе къ судьбѣ его христіанскихъ подданныхъ. И, несомнѣнно, патріоты правы. Франція на Востокѣ играетъ самую блѣдную роль, усиленно выслушиваетъ другихъ и присоединяется къ нимъ, повидимому, окончательно забывъ свои когда-то страстныя эллинскія увлеченія и свое вѣковое историческое положеніе покровительницы и защитницы восточныхъ христіанъ *).

И печать тщетно напоминаетъ своему правительству его долгъ. Въ отвѣтъ оно смѣется надъ «чувствительной политикой искателей приключеній», надъ несвоевременностью крестовыхъ походовъ, надъ забавной идеей быть въ концѣ XIX-го вѣка филэллиномъ.

*) Напримѣръ, Ernest Lavisse. *Notre politique orientale. Révue de Paris*, 1897, 15 mai, 15 juin.

Подальше отъ рискованныхъ, хотя и идеальныхъ мечтаній! Достаточно ихъ было: пора успокоиться и предоставить дѣлаться исторіи, какъ она хочетъ.

Нашъ авторъ, повидимому, знаетъ эту философію третьей республики. Послѣ франко-прусской войны духовная температура Франціи сильно упала. Страной овладѣлъ неизъяснимый ужасъ предъ всякой опасностью впасть въ новыя затраты людьми или деньгами. Особенно крѣпко запомнила она мексиканское приключеніе своего императора. Наполеонъ III потратилъ массу денегъ и солдатъ, стремясь Мексику изъ республики превратить въ имперію. Это была одна изъ многочисленныхъ авантюръ бонапартизма и не могла имѣть ничего общаго съ настойчивымъ вмѣшательствомъ въ турецкій способъ управлять христіанами.

Но у страха нѣтъ логики, и міръ, по крайней мѣрѣ, надолго потерялъ одно изъ давнишнихъ прибѣжищъ гуманности и справедливости. Франція, первая провозгласившая когда-то борьбу съ невѣрными, стоявшая во главѣ крестовыхъ походовъ, и потомъ неоднократно поднимавшая духъ угнетенныхъ народовъ, теперь презрительнымъ смѣхомъ прикрываетъ свое политическое безсиліе и душевное оскудѣніе.

Авторъ старается оправдать поведеніе своего отечества, какъ истинный дипломатъ. Онъ вычитываетъ изъ французскихъ дипломатическихъ нотъ тонкіе намеки на сочувствіе Франціи, напримѣръ, свободѣ критянъ. Правда, намеки до такой степени тонки, что безъ микроскопическаго изслѣдованія автора могли бы остаться неуловимыми. Но по нынѣшнимъ временамъ, очевидно, и этого достаточно, и профессоръ стыдливо умалчиваетъ о нѣкоторыхъ несуразныхъ обстоятельствахъ, уже совсѣмъ не дипломатическихъ, а очевидныхъ для всякаго смертнаго.

Во время, напримѣръ, армянскихъ избіеній погибъ католическій священникъ. Франція считается покровительницей армянскихъ католиковъ. Ея заботами возникла эта церковь и признана турецкимъ правительствомъ. Франція не переставала до послѣднихъ дней давать средства на расширеніе и устройство этой церкви, поощрять національное армянское движеніе и, согласно берлинскому трактату, охранять католическія миссіи. Столько поводовъ заинтересоваться положеніемъ армянъ и убійствомъ католическаго священника!

Убійца всѣмъ былъ извѣстенъ и спокойно пользовался полной свободой. Французскій посолъ тщетно настаиваетъ на арестѣ и судѣ. Ему обѣщаютъ все, что̀ угодно, и ничего не исполняютъ; напротивъ, готовятся казнить еще армянскаго епископа. Парижъ или молчитъ, или сочиняетъ ноты по всѣмъ правиламъ дипломатическаго художества, вызывающія у Высокой Порты благосклонно-насмѣшливыя улыбки. Тогда совершается нѣчто, совершенно невозможное въ политикѣ могущественной просвѣщенной державы. Посолъ отчаявается въ своемъ правительствѣ и на свой страхъ заявляетъ турецкимъ министрамъ, что онъ покинетъ Константинополь въ случаѣ неисполненія его требованій.

Посолъ превысилъ свои полномочія и въ сущности нанесъ

жестокое оскорбленіе своему министру. Послѣднему, во имя личнаго достоинства и національной чести, не осталось ничего другого, какъ заднимъ числомъ подтвердить рѣшительность посла.

Объ этомъ эпизодѣ нашъ авторъ даже не упоминаетъ. Такъ онъ уравновѣшенъ и такъ далекъ отъ всякаго рода лирическихъ ощущеній! Краснорѣчивая порука за трезвость взглядовъ и осмотрительность сообщеній.

И каирскій профессоръ въ высшей степени трезвъ, до такой степени, что даже уклоняется прямо выражать свои сужденія. Онъ не оттѣняетъ и не подчеркиваетъ фактовъ. Онъ только приводитъ ихъ въ стройную картину, отнюдь не подъ внушеніемъ какой-либо идеи, а просто по хронологическому порядку. Его рѣчь едва лишь рѣшается украситься какимъ-либо яркимъ выраженіемъ, опять не ради сильнаго чувства, а въ интересахъ красоты французскаго стиля.

Драгоцѣнный историкъ, въ особенности современныхъ, *переживаемыхъ* событій! И это именно качество сообщаетъ книгѣ нашего ученаго значеніе, на какое онъ, вѣроятно, и не разсчитывалъ. Онъ писалъ, не задаваясь никакой политической цѣлью и почувствовалъ бы горькую обиду, если бы его обвинили въ публицистическихъ умыслахъ. Разсужденія о корысти и честолюбіи Россіи въ счетъ не идутъ: они давно стали аксіомой въ заграничной печати и французскій профессоръ, ни на минуту не утрачивая достоинства ученаго, могъ сколько угодно декламировать о русскомъ панславизмѣ. Зато онъ обнаружилъ полную невинность въ «любви къ отечеству и народной гордости», и его сочиненіе можетъ разсчитывать на благосклонный пріемъ у всѣхъ партій и націй, съ единственнымъ исключеніемъ.

Могутъ явиться недовольные читатели среди людей, не принадлежащихъ ни къ какому политическому направленію, въ высшей степени благодушныхъ и миролюбивыхъ, всю жизнь только почитывающихъ и никогда не читающихъ. Ученая и совершенно безпартійная книга можетъ огорчить ихъ до глубины души и взволновать не хуже жестокаго романа и разрушительной газетной статьи. Авторъ въ формѣ историческаго обзора восточнаго вопроса написалъ, безъ собственнаго вѣдома, злѣйшую сатиру на самые почтенные предметы нашей современности, и ударъ тѣмъ чувствительнѣе, что онъ нанесенъ совершенно неумышленно, простодушнѣйшимъ перечисленіемъ фактовъ.

Въ этомъ *непредусмотрѣнномъ* результатѣ заключается поистинѣ исключительный интересъ книги и она заслуживаетъ самаго широкаго распространенія. Секретъ начинаетъ обнаруживаться съ первыхъ же страницъ, и дальше чтеніе увлекаетъ и захватываетъ не меньше блестящаго художественнаго произведенія.

II.

Европейская наука и философія почти уже два вѣка рѣшаетъ вопросъ, существуетъ ли прогрессъ? Для упрощенія задачи вопросъ давно разбитъ на нѣсколько частей, признана необходимость дать,

по крайней мѣрѣ, два отвѣта: можно ли признавать нравственный и научный прогрессъ?

До послѣдняго времени отвѣты давались различные. Въ прогрессѣ науки, повидимому, нельзя было сомнѣваться, особенно въ XIX вѣкѣ. Стоило только вспомнить о поразительныхъ открытіяхъ и изобрѣтеніяхъ, о величественныхъ побѣдахъ человѣческаго ума надъ природой. Другое дѣло—нравственный прогрессъ, т. е. становятся ли съ теченіемъ времени люди счастливѣе и лучше?

Даже въ безгранично самонадѣянный вѣкъ просвѣщенія и самые сильные просвѣтители не осмѣливались отвѣчать утвердительно. Счастья на землѣ вообще нѣтъ и быть не можетъ, и въ особенности для людей, одаренныхъ талантами и умомъ. Земля и есть тотъ адъ для избранныхъ, который рисуется въ столь потрясающихъ краскахъ религіозному воображенію. Такъ вѣрилъ Вольтеръ и не могъ указать высшаго идеала благополучія, чѣмъ мирное уединенное воздѣлываніе сада.

Пожалуй, сомнительно и нравственное совершенствованіе человѣческой расы. Она неистощима на орудія борьбы противъ мысли и нравственнаго благородства, и прогрессъ выражается, кажется, въ одномъ только отношеніи: орудія становятся многочисленнѣе и утонченнѣе. На кострѣ философа больше не сожгутъ, но публика и толпа могутъ всю жизнь его превратить въ пытку, въ одинокую унизительную борьбу за истину.

Такъ нерѣдко приходилось разсуждать людямъ прошлаго вѣка, но это бывало въ тяжелыя минуты испытаній, наступали иныя времена, и философы восторженно пѣли гимны непрестанному развитію человѣческаго разума и чувства, и, случалось, умирали насильственной смертью, но съ вѣрой въ необъятныя перспективы мысли и добра.

Съ теченіемъ времени мы отрезвѣли, и самая идея прогресса является намъ архаической, своего рода вдохновенной метафизикой наивнаго стараго времени. Но не всѣмъ легко и просто покончить хотя бы и съ метафизикой, особенно когда она затрогиваетъ самые источники нашей нравственной жизни. Въ самомъ дѣлѣ, докажите, что прогресса нѣтъ и человѣчество въ своемъ призрачномъ движеніи впередъ уподобляется только бѣлкѣ въ колесѣ, вы этимъ самымъ уничтожите всякій разумный и наглядный смыслъ какой бы то ни было идейной дѣятельности, пріурочите жизнь къ одному рабскому инстинкту и поставите человѣка, дорожащаго жизнью, ниже животнаго. И мы всѣми силами хватаемся за мучительно-загадочную идею, готовы на какія угодно оговорки и уступки, лишь бы не позорили насъ ролью неосмысленныхъ существователей.

Такъ думаемъ мы, но совершенно иначе поняли дѣло мудрецы, наблюдающіе насъ съ высоты другой, не европейской мудрости. Мы привыкли считать себя единственно призванными вершителями міровыхъ вопросовъ, привилегированными созидателями возможнаго на землѣ порядка и благополучія. Кромѣ того, мы, повидимому, имѣемъ всѣ основанія подозрѣвать у себя неотразимыя критическія способности,—мы, разрушившіе столько темныхъ вѣрованій и предразсудковъ! Наконецъ, вообще наша цивилизація для

насъ внѣ сомнѣнія: мы давно дожили до идеи о равноправности и свободѣ всѣхъ людей и вѣроисповѣданій, мы отвергаемъ политическія привилегіи и презираемъ религіозный фанатизмъ, мы даровали гражданскія права неграмъ и стараемся облагодѣтельствовать культурой азіатскихъ язычниковъ... Гдѣ предѣлъ нашей терпимости и человѣколюбію?

Съ такимъ вопросомъ Европа представилась Азіи, точнѣе, европейскія великія державы турецкой имперіи. Казалось бы, въ самомъ вопросѣ, предрѣшавшемъ отвѣтъ, заключалось побѣдоносное рѣшеніе всѣхъ восточныхъ затрудненій.

Магометанское царство вѣдь это религіей освященное мертвенное состояніе всѣхъ нравственныхъ силъ человѣческой природы, власть страшной, всеубивающей идеи фатализма, а Европа—вѣчное движеніе и развитіе, свѣтлая вѣра въ человѣческую волю и силу. Дальше. Турція—гнѣздо мрачнаго, дикаго фанатизма, безсмысленныхъ религіозныхъ суевѣрій и неотвратимая угроза всякой чужой религіи и умственной независимости. Наконецъ, Востокъ дряхлѣетъ въ чисто-животномъ прозябаніи, понимаетъ жизнь исключительно какъ смѣну грубыхъ наслажденій и поэтому цѣнитъ только матеріальныя блага и совсѣмъ не живетъ душою и сердцемъ. А Европа,—кому же неизвѣстно? Только она понимаетъ жизнь въ духѣ и истинѣ, знаетъ, что такое идеалы и назначеніе человѣка на землѣ.

Можно ли Востоку бороться съ такой силой? Еще менѣе оскорблять и явно презирать ее, какъ нѣчто низшее и неразумное.

Не только можно, но и должно, отвѣчаетъ Востокъ, т. е. турки.

Коранъ, говорятъ они европейцамъ, не знаетъ ничего похожаго на вашу идею прогресса. Онъ прямо говоритъ намъ: вы—лучшій среди народовъ вселенной и вы не должны слушать невѣрныхъ: иначе они заставятъ васъ вернуться къ вашимъ заблужденіямъ и васъ постигнетъ гибель. Очевидно, намъ нельзя усовершенствоваться: мы уже совершенны, и насъ убѣждаетъ въ этой истинѣ не только наша священная книга, но и ваша, о европейцы, жизнь и исторія.

И просвѣщенные турки, тѣ самые, кого Европа научила думать и разсуждать, ея же науку обращаютъ противъ нея. Мы, говорятъ они, рѣшительно не видимъ, въ чемъ заключается вашъ прогрессъ, вообще ваша цивилизація. Они, несомнѣнно, имѣли бы очень большую цѣну, если бы одновременно съ ея развитіемъ и вы сами становились лучше, нравственнѣе и благороднѣе. Этого именно и нѣтъ!—восклицаетъ Мидхатъ-паша.

И къ его разсужденіямъ слѣдуетъ прислушаться. Онъ—глава такъ называемой *молодой Турціи*, пламенный патріотъ, но на новыхъ просвѣтительныхъ основахъ. Онъ отлично изучилъ западно-европейскіе порядки, пришелъ къ мысли о необходимости ограничить власть султана, ввести въ Турціи конституцію. На нее онъ возлагалъ блестящія надежды и по этому поводу представилъ сравнительную картину магометанской и европейской культуры.

Всѣ преимущества на сторонѣ первой прежде всего уже потому, что основной принципъ ислама—демократическій. Паша, несомнѣнно, увлекся и наговорилъ не мало несообразностей: турец-

кая правда блистательно сказалась на судьбѣ его конституціи и его собственной. Но все это не помѣшало Европѣ услышать множество крайне непріятныхъ и справедливыхъ упрековъ.

Мидхатъ прекрасно изучилъ ея прошлое и настоящее и изъ историческихъ фактовъ составилъ краснорѣчивый памфлетъ. Турцію укоряютъ въ болгарскихъ жестокостяхъ, но вѣдь это обычная исторія всякаго вооруженнаго возстанія. И турецкій авторъ призвалъ въ свидѣтели французскую революцію, парижскую коммуну, политику Испаніи на Кубѣ и особенно хозяйство Англіи въ Индіи. Гладстонъ громитъ Турцію за славянъ, а развѣ ему не извѣстно, какъ поступаетъ его просвѣщенное отечество съ индусами? Да и съ одними ли индусами!

Вообще восхвалять европейскую цивилизацію—задача крайне рискованная. Младотурки не отступили предъ самымъ рѣшительнымъ разсчетомъ съ похвальбой Европы. Пусть она представитъ, что европейцы въ VII вѣкѣ не одержали бы побѣды надъ сарацинами, т. е. не устранили бы мусульманской цивилизаціи ради собственной. Что произошло бы? Для магометанъ отвѣтъ вполнѣ ясный.

Міръ не зналъ бы среднихъ вѣковъ со всѣми ихъ ужасами, со всей ихъ умственной тьмой, и жестокостью. Возрожденіе наступило бы шестью вѣками раньше. Магометане не стали бы избивать ни альбигойцевъ, ни гугенотовъ, они не залили бы кровью Америки, не вызвали бы тридцатилѣтней войны со всѣми ея бѣдствіями.

И европейскому историку трудно возражать съ полнымъ успѣхомъ. Арабская культура дѣйствительно поражаетъ блескомъ и просвѣщенностью, и столь несомнѣнны свирѣпства средневѣковыхъ католиковъ и еще ужаснѣе бойни, устроенныя испанцами въ Новомъ Свѣтѣ. Можно, конечно, припомнить исторію магометанскихъ военныхъ доблестей, но вѣдь христіане отнюдь не оставались въ долгу и какой-нибудь крестоносецъ, въ родѣ Ричарда Львиное Сердце, по части варварства могъ затмить какого угодно мусульманина.

Люди вездѣ и всегда были людьми, и инквизиція возникла и процвѣла подъ покровомъ не полумѣсяца, а креста.

Не убѣдительно и настоящее Европы. Она хвалится своей наукой; но развѣ она сдѣлала христіанъ счастливѣе? Они знаютъ множество вещей, неизвѣстныхъ магометанину, но развѣ ихъ ученые глаза способны открыть рай? Если нѣтъ, зачѣмъ тогда это вѣчное безпокойство, эти лишенія изъ за предмета, не дѣлающаго людей ни счастливѣе, ни лучше.

А вѣдь только эти цѣли и имѣютъ смыслъ. Само по себѣ накопленіе всевозможныхъ свѣдѣній лишено всякаго значенія. Можетъ быть, даже они увеличиваютъ недовольство и, слѣдовательно, бѣдствія людей. И мусульманинъ съ высоты своего фаталистическаго корана, цѣлые вѣка твердящій одни и тѣ же молитвы и правила жизни, мудрый готовой мудростью, съ презрѣніемъ или состраданіемъ взираетъ на неустанно мятущагося, вѣчно неудовлетвореннаго европейца и уже неразъ приходившаго

къ чисто восточному убѣжденію: побѣда надъ *волей жить*—величайшее могущество и послѣднее слово человѣческаго разума.

Да, въ этой глубоко-принципіальной распрѣ коренится культурный смыслъ восточнаго вопроса. Все остальное только частности и послѣдствія. Востокъ угнетаетъ христіанъ, отказывается слить ихъ съ магометанскимъ населеніемъ, потому что презираетъ ихъ, считаетъ низшей человѣческой породой. И въ этомъ презрѣніи не одинъ религіозный фанатическій предразсудокъ. Онъ остается у людей, совлекшихъ съ себя ветхаго восточнаго человѣка, искренне убѣжденныхъ въ неизбѣжной гибели Турціи, если она не порветъ съ вѣковыми нравственными и политическими недугами. Эти люди, переставая быть слѣпыми поклонниками отечественныхъ преданій, не становятся почитателями и европейской цивилизаціи. И они подробно объясняютъ намъ, почему.

Пусть эта цивилизація докажетъ имъ свои положительныя нравственныя преимущества, пусть культурная христіанская Европа ослѣпитъ темный магометанскій востокъ блескомъ добродѣтелей, и разсчетъ окажется совершенно другимъ. Впрочемъ, что говорить о блескѣ добродѣтелей! Было бы достаточно убѣдить Востокъ въ безкорыстіи и дѣйствительно цивилизаторскихъ стремленіяхъ Европы, и восточный вопросъ въ сильнѣйшей степени упростился бы. На вѣсахъ дипломатическихъ и военныхъ побѣдъ прибавился бы общечеловѣческій нравственный авторитетъ, и государственнымъ людямъ Турціи пришлось бы считаться съ гораздо болѣе внушительной силой, чѣмъ краснорѣчіе министерскихъ канцелярій.

Такъ предполагать не значитъ увлекаться мечтательными призраками; совершенно напротивъ; только дѣлать прямое логическое заключеніе изъ многочисленныхъ фактовъ.

Европейская дипломатія безпрестанно толкуетъ предъ турецкимъ правительствомъ о высокихъ принципахъ гуманности и справедливости. Рѣчь ея часто превращается въ настоящую проповѣдь и стремится тронуть умъ и сердце халифа. Эти именно пути лордъ Сольсбери призналъ единственными въ рѣшеніи восточнаго вопроса, пока существуетъ оттоманская имперія.

И мы, дѣйствительно, по европейскимъ дипломатическимъ нотамъ можемъ составить цѣлую хрестоматію самыхъ хорошихъ словъ, какія только имѣются во французскомъ словарѣ. Въ одинъ изъ самыхъ напряженныхъ моментовъ, въ разгаръ армянской рѣзни, представители шести великихъ державъ вручили Портѣ документъ очень рѣшительнаго содержанія. Краснорѣчивѣйшимъ мѣстомъ было слѣдующее заявленіе:

«Европейская совѣсть неизбѣжно возмутилась бы (ne manquerait pas de s'indigner), если бы стало очевиднымъ, что бездѣйствіе власти поощряетъ прискорбныя страсти».

Очень тонко и изящно! Но главное *La conscience européenne!* Это должно было убить султана. Ему приходилось жестоко покраснѣть за турецкую безсовѣстность и поскорѣе заслужить одобреніе европейской совѣсти.

Результаты не оправдали ожиданій. Событія продолжали идти своимъ чередомъ, въ полной зависимости исключительно отъ восточной совѣстливости. Было ясно, — Абдулъ-Гамидъ встрѣтилъ, въ лучшемъ случаѣ, добродушной улыбкой цицероновское воззваніе европейской дипломатіи.

И онъ былъ правъ если не съ общечеловѣческой точки зрѣнія, то съ дипломатической непремѣнно. Болѣе ста лѣтъ онъ слышитъ разговоръ о принципахъ европейской цивилизаціи, о правилахъ терпимости, объ идеалахъ національной свободы. Толковали ему все это и нѣсколько державъ заразъ, и каждая отдѣльно, доказывали и перомъ, и оружіемъ, и тѣмъ и другимъ способомъ очень усердно. Но султанъ никакъ не можетъ усвоить европейскихъ поученій, и не потому, чтобы его мозгъ былъ безнадежно невоспріимчивъ къ французскому душеспасительному діалекту, а потому что онъ—султанъ—имѣетъ всѣ основанія европейскія проповѣди считать чисто художественнымъ упражненіемъ въ краснорѣчіи.

Именно такое убѣжденіе одушевляетъ всѣ дѣйствія турецкаго правительства, часто совершенно непостижимыя по своей дерзости и вызывающему характеру. Это давно признано европейской печатью. Еще въ 1880 году *Daily News*, оцѣнивая турецкое обращеніе съ европейскимъ концертомъ, заявляли: такъ могъ бы вести себя развѣ только Наполеонъ на вершинѣ своего могущества съ какимъ-либо побѣжденнымъ непріятелемъ!

Султанъ и Наполеонъ! И такое сопоставленіе оказывается совершенно естественнымъ. Властитель едва существующаго, безнадежно больного государства, повелитель варварскаго и культурѣ недоступнаго народа, безчисленное число разъ побѣжденный и униженный, онъ все-таки можетъ держать наполеоновскую рѣчь къ своимъ просвѣщеннымъ и неизмѣримо сильнѣйшимъ его побѣдителямъ! И во имя чего держать! Защищая свои нарушенія европейскихъ рѣшеній или просто отказываясь исполнять ихъ!

Развѣ это не противоестественное явленіе? И какъ же послѣ этого султану не улыбаться въ отвѣтъ на голосъ «европейской совѣсти»? Улыбка не сойдетъ съ его лица даже и послѣ того, какъ англійскій первый министръ заявитъ: «Ужасъ армянскихъ убійствъ заставилъ Европу поблѣднѣть»...

Пусть ужасается и блѣднѣетъ,—могъ сказать султанъ, отдавая новыя распоряженія на счетъ гяуровъ. Я къ этому давно привыкъ: для меня гораздо важнѣе, чтобы мои солдаты и вѣрные мнѣ дикари курды, албанцы и черкесы жили и наслаждались жизнью безъ всякихъ отягощеній моей казнѣ. А что касается Европы, я знакомъ съ ней не первый день, и знаю, чего стоитъ ея совѣсть и что̀ означаетъ блѣдность ея лица. Объ этомъ можетъ, къ моему полному удовольствію, разсказать любой европейскій историкъ.

Чтобы особенно не углубляться въ прошедшее, посмотрите, какъ дѣйствовала цивилизованная Европа за послѣднія двадцать лѣтъ.

III.

13-го іюня 1878 года въ Берлинѣ происходило одно изъ самыхъ знаменательныхъ торжествъ всей новой исторіи Европы: открылся конгрессъ подъ предсѣдательствомъ общепризнаннаго государственнаго генія, князя Бисмарка. Со временъ вѣнскаго конгресса Европа не видала столь величественнаго зрѣлища и задачи, лежавшія на собраніи, были, пожалуй, еще значительнѣе, чѣмъ шестьдесятъ лѣтъ назадъ. Конгрессу предстояло создать бытіе новыхъ національностей, дать отвѣтъ на четырехвѣковой вопросъ, а главное—упрочить торжество европейской цивилизаціи надъ азіатскимъ варварствомъ.

Султану представлялся исключительный случай убѣдиться разъ навсегда въ мудрости европейской политики и въ недосягаемомъ превосходствѣ культуры надъ дикостью. За мудрость рѣшеній ручалась такая первостепенная дипломатическая сила, какою считался во всемъ мірѣ объединитель Германіи, просвѣщенность и гуманность не подлежали сомнѣнію, разъ дѣло попало въ руки представителямъ передовыхъ народовъ.

Правда, султанъ могъ припомнить кое-что изъ подобнаго же внушительнаго прошлаго и воспоминанія могли его отчасти успокоить. Вѣнскій конгрессъ отличался еще болѣе ослѣпительнымъ блескомъ, на немъ присутствовали даже государи и руководитель его въ свое время считался провиденціальнымъ спасителемъ Европы. А результаты получились, по меньшей мѣрѣ, странные.

Блистательное собраніе такъ ловко перекроило карту Европы, такъ мудро соединило и раздѣлило народы и области, что передѣлка его постановленій началась немедленно и неуклонно продолжалась десятилѣтія, пока революціи, войны и новые союзы окончательно не перечеркнули почти всѣхъ протоколовъ конгресса. Онъ, напримѣръ, совокупилъ воедино голландцевъ и бельгійцевъ, не взирая на непримиримыя религіозныя и національныя различія двухъ народовъ, онъ отдалъ Австріи Ломбардію и Венецію и совершилъ все остальное въ этомъ же духѣ. Естественно, сооруженіе должно было расползтись по всѣмъ швамъ и поразить сильнѣйшимъ конфузомъ вѣщаго руководителя конгресса.

Теперь, повидимому, нельзя повторить столь поучительныхъ уроковъ прошлаго. Накопилось вполнѣ достаточно опытовъ, чтобы не рѣшать судебъ національностей при помощи линейки и двухъ ариѳметическихъ дѣйствій. Въ началѣ столѣтія само понятіе *національности*, какъ нравственной и политической единицы, было новостью и еще не успѣло попасть въ мозгъ дипломатовъ, но послѣ объединенія Германіи и Италіи, возникновенія новой Греціи — фактъ не подлежалъ сомнѣнію и именно въ Берлинѣ имѣли всѣ основанія считаться съ нимъ. Это было бы и мудро, и гуманно. На самомъ дѣлѣ, вѣра дипломатовъ во всемогущество своихъ перьевъ и бумагъ, очевидно, не истребима. Только бы представился случай, а тамъ не будетъ конца и мѣры самымъ героическимъ упражненіямъ. Послѣ пусть народы и государства разсчитываются какъ хотятъ съ полетами канцелярскаго фантазерства.

Предъ берлинскимъ собраніемъ лежала готовая программа переустройства оттоманской имперіи—санъ-стефанскій договоръ. Онъ заключенъ былъ на мѣстѣ и въ немъ участвовали люди дѣйствія, отдававшіе ясный практическій отчетъ въ своихъ представленіяхъ. Географія и этнографія—двѣ науки, неизмѣримо болѣе положительныя и, слѣдовательно, сильныя, чѣмъ политика и дипломатія, лежали въ основѣ санъ-стефанскаго договора, и вотъ онѣ-то въ Берлинѣ не встрѣтили ни малѣйшаго вниманія. Это говоритъ даже нашъ скромный авторъ и горько сѣтуетъ на заблужденіе конгресса.

А заблужденіе состояло въ томъ, что конгрессъ рѣшилъ раздѣлить самой природой сплоченное и соединить безусловно несоединимое. Даже если бы конгрессъ задался специальной цѣлью дѣйствовать разсудку вопреки и наперекоръ стихіямъ, ничего болѣе эффектнаго онъ не могъ бы совершить. Факты немедленно это доказали и собраніе, разсчитывавшее все умиротворить и упрочить, на самомъ дѣлѣ посѣяло обильныя сѣмена раздоровъ, возстаній и кровопролитій. И все это продолжается до послѣднихъ дней, благодаря исключительно мудрости конгресса.

Напримѣръ, мы безпрестанно слышимъ о побоищахъ между черногорцами и албанцами. Уже въ нынѣшнемъ году одна изъ такихъ вѣстей успѣла облетѣть міръ. Это значитъ, албанцы и черногорцы два племени, совершенно другъ съ другомъ не примиримыя: такими они были искони вѣковъ и такими останутся навсегда, потому что албанцы—прирожденные разбойники и безнадежные дикари. Но въ Берлинѣ разсудили иначе; рѣшили присоединить часть албанцевъ къ Черногоріи, а взамѣнъ отнять ея естественныя славянскія границы. Легко представить, какъ встрѣтили это рѣшеніе албанцы и турки, и на этотъ разъ мудрость принадлежала безусловно азіатамъ.

Турецкій уполномоченный указывалъ, что албанцы—магометане и не славянской расы: пытаться слить ихъ съ черногорцами, значитъ вызвать междоусобицу. Лучше отдать Черногоріи область, населенную славянами и православными. Конгрессъ полагалъ иначе, раздулъ старый очагъ международной ненависти и вопросъ о присоединеніи албанцевъ къ Черногоріи превратилъ въ трагедію. Только два года спустя и съ величайшимъ усиліями Черногорія оффиціально получила присужденный ей край, и до сихъ поръ не можетъ справиться съ навязанными ей подданными.

Еще мудрѣе поступилъ конгрессъ съ Болгаріей. Санъ-стефанскій договоръ создавалъ цѣльный политическій болгарскій міръ, конгрессъ разбивалъ его на три части: княжество Болгарію, Румелію и Македонію. Что изъ этого вышло—достаточно извѣстно. Румеліи потребовалось возстаніе, чтобы возстановить естественный порядокъ вещей, Македонія пока состоитъ подъ властью султана, но не перестаетъ быть поприщемъ политическаго броженія. Берлинское постановленіе, видимо, и здѣсь переживаетъ агонію, только болѣе медленную и болѣе мучительную, чѣмъ въ другихъ христіанскихъ областяхъ европейской Турціи,

Дальше шелъ греческій вопросъ, и опять на ясной, вполнѣ

опредѣленной почвѣ національности. Предстояло рѣшить судьбу Крита. Послѣ Черногоріи это самая героическая страна Европы. Можно сказать, Критъ никогда никому вполнѣ не принадлежалъ. Даже римляне едва могли одолѣть островитянъ, но нисколько не ослабили ихъ древняго мужества и не сгладили яркихъ національныхъ свойствъ. Такую же безпощадную борьбу вели потомъ критяне съ греческими императорами, съ Венеціей и, наконецъ, съ турками. Мусульмане въ теченіе вѣковъ не могли фактически овладѣть всѣми провинціями Крита. Возстанія слѣдовали одно за другимъ и островъ не разъ свергалъ совершенно власть Турціи. И цѣлью возстаній всегда было сліяніе съ Греціей, лишь только возникло независимое эллинское королевство.

Въ этомъ смыслѣ критяне еще въ шестидесятыхъ годахъ обращались къ Европѣ. Они говорили: «вѣруя въ справедливость нашего дѣла, мы объявляемъ смѣло предъ Богомъ и предъ людьми наше пламенное желаніе соединиться съ Греціей, нашей общей матерью?»

Грецiя восторженно встрѣчала это желаніе и принимала дѣятельное участіе въ борьбѣ критянъ. Не правительство греческое, а народъ: участіе являлось чисто инстинктивнымъ стремленіемъ и никакая политическая сила не могла бы подавить его.

Нѣкоторые дипломаты это понимали. Князь Горчаковъ убѣждалъ державы присоединить Критъ къ Греціи, указывалъ въ будущемъ неизбѣжность кровопролитія, власть султана на островѣ считалъ возможнымъ утвердить развѣ только надъ развалинами и трупами. Въ шестидесятыхъ годахъ и Франція готова была поддержать такое рѣшеніе вопроса. Но непреодолимое препятствіе встрѣтилось со стороны Англіи. Ни для кого не была тайной причина англійскаго протеста. Англія выжидала удобнаго случая собственнолично завладѣть Критомъ. Въ результатѣ Критъ остался за Турціей и Европа совѣтовала султану быть снисходительнымъ...

Картина, достойная великаго живописца, когда султанъ выслушивалъ этотъ совѣтъ! Турки, разумѣется, не перестали быть турками вслѣдствіе жалкихъ словъ дипломатовъ, а критяне—бороться и ждать. Берлинскому конгрессу вновь представился старый вопросъ и Критъ, ссылаясь на вѣроломство Турціи, снова умолялъ Европу развязать его узы. Конгрессъ выслушалъ мольбу, призналъ неисправимость турецкаго правительства на островѣ и рѣшилъ: Криту впредь оставаться подъ властью султана, а Европа *посовѣтуетъ* Абдулъ-Гамиду выполнить обѣщанія на счетъ реформъ. Именно *посовѣтуетъ*, на чистѣйшемъ дипломатическомъ языкѣ съ изложеніемъ всѣхъ титуловъ Высокой Порты и его оттоманскаго величества.

Конгрессъ, очевидно, чувствовалъ себя въ ироническомъ настроеніи и съ нетерпѣніемъ ждалъ, какое зрѣлище получится послѣ изреченія его воли. Зрѣлище не замедлило послѣдовать къ полному торжеству дипломатическаго джентльменства и къ новому униженію разума и нравственнаго чувства Европы.

Англія, эта свободнѣйшая и національнѣйшая страна въ мірѣ, могла остаться довольной. Критъ снова становился вопросомъ дня,

еще болѣе жгучимъ, чѣмъ раньше. Турція пользовалась всякимъ своимъ успѣхомъ на островѣ, чтобы тѣснѣе сжать кольцо рабства. Она безъ малѣйшихъ колебаній извѣщала мудрую и гуманную Европу, что намѣрена подвергнуть критянъ осадному положенію и послать новаго губернатора съ военными полномочіями. Европа не нашлась, что отвѣтить, и предоставила Турціи дѣйствовать на полной свободѣ. И дѣйствія открылись. Потоки крови задушили возстаніе, и началось управленіе, превзошедшее даже турецкіе политическіе обычаи. Вспыхнуло послѣднее возстаніе, турки произвели рѣзню, но весь островъ рѣшилъ скорѣе умереть съ оружіемъ въ рукахъ, чѣмъ быть раздавленнымъ въ рабствѣ. Дальнѣйшее извѣстно. Мудрость конгресса сторицей вознаграждена. Греко турецкая война дополнила картину и только послѣ цѣлаго ряда кровавыхъ трагедій Критъ, наконецъ, вступилъ на новый путь національнаго бытія.

Зачѣмъ разыгрались эти трагедіи? Какая разумная сила мѣшала Европѣ исполнить законныя желанія критянъ и хотя бы въ шестидесятыхъ годахъ послушаться добраго совѣта не какихъ-нибудь мечтателей, а дипломатовъ, и предотвратить позорное истребленіе человѣческой расы? Но если ужъ Криту суждено было принадлежать Турціи, что могло побудить Европу предоставить на добрую волю султана такъ или иначе поступить съ безпокойными подданными?

Съ такою же проницательностью и гуманностью рѣшены и остальные вопросы. Конгрессъ будто задался цѣлью всѣми силами щадить деликатныя чувства султана, не зналъ, какъ и доказать ему довѣріе къ чистотѣ его намѣреній и просвѣщенности его государственныхъ людей. Этотъ идеализмъ по отношенію къ Турціи соотвѣтствовалъ поразительной трезвости взглядовъ касательно ея христіанскихъ подданныхъ. Конгрессъ покончилъ со всѣми мечтательными чувствами прошлаго, и прежде всего съ идеальнымъ филэллинствомъ. Раньше страна Сократа и Демосѳена вызывала даже въ сердцахъ политиковъ лирическія движенія и европейское общественное мнѣніе восторженно привѣтствовало возрожденіе обѣтованной земли цивилизаціи.

Конгрессъ дѣйствуетъ исключительно на положительной почвѣ матеріальныхъ интересовъ. Онъ видимо проникнутъ завистью къ молодой Элладѣ, онъ опасается, какъ бы ей не достался лишній кусокъ исконно-греческой земли. Онъ готовъ скорѣе предоставить рѣшеніе наболѣвшаго вопроса просвѣщенной мудрости султана, ждать какого угодно будущаго, лишь бы не облагодѣтельствовать черезчуръ народа, мечтающаго не только о свободномъ королествѣ, но даже о независимой націи.

Въ результатѣ, конгрессъ и здѣсь даетъ добрый совѣтъ султану—полюбовно рѣшить споръ и только въ случаѣ несогласія Европа обѣщаетъ свое любезное посредничество. Нечего и говорить, что *практически* означалъ этотъ образъ дѣйствій. Трудно повѣрить, до какой степени простой здравый смыслъ иногда расходится съ дипломатическимъ хитроуміемъ. Послѣ трехъ вѣковъ сношеній съ турецкой имперіей Европа ожидала,

будто султанъ рѣшится ограбить самого себя въ пользу христіанскаго государства! Если дѣйствительно такой разсчетъ владѣлъ умами дипломатовъ конгресса,—легко представить, съ какимъ настроеніемъ повелитель правовѣрныхъ выслушалъ этотъ актъ безпримѣрной политической поэзіи новаго времени! И даже нашъ скромный профессоръ не можетъ удержаться по этому поводу отъ горькихъ мыслей. Онъ говоритъ: «дипломатія, долгъ которой избѣгать и предупреждать столкновенія, совершила непростительную ошибку: она открыла рядъ затрудненій, неразрѣшенныхъ до сихъ поръ».

Это очень скромно! Дипломатія сдѣлала гораздо больше: она *поощрила* султана на дальнѣйшую, менѣе всего примирительную дѣятельность. Она стремилась прежде всего понизить нравственное и политическое значеніе русскихъ побѣдъ, а въ результатѣ подорвала кредитъ вообще европейскаго и христіанскаго авторитета. Если побѣжденный султанъ могъ получить такое количество совершенно нелѣпыхъ, не заслуженыхъ авансовъ, на что же онъ могъ разсчитывать въ случаѣ побѣды? И могъ ли онъ серьезно относиться вообще къ рѣшенію государственныхъ мужей, приносившихъ въ жертву корыстнымъ вожделѣніямъ отдѣльныхъ державъ судьбу христіанскаго міра на Востокѣ?

Султанъ превосходно понималъ, какія жертвы были принесены Критомъ, Черногоріей и Грецією для спасенія національной свободы. Онъ зналъ, что Европѣ извѣстенъ обычный турецкій способъ умиротворять безпокойныхъ подданныхъ и «преобразовывать» христіанскія провинціи, Онъ, наконецъ, помнилъ, сколько разъ онъ обманулъ довѣріе Европы своими обѣщаніями ввести реформы, какъ онъ насмѣялся надъ наивностью гяуровъ, напуская курдовъ, албанцевъ и черкесовъ на преобразуемыя области. Это его излюбленные реформаторы и онъ держалъ ихъ наготовѣ въ ту самую минуту, когда берлинскій конгрессъ торжественно изрекалъ свои рѣшенія, достойныя стиля Раблэ.

Наконецъ, еще одинъ подвигъ, едва ли не самый блистательный, во всякомъ случаѣ самый краснорѣчивый въ исторіи европейской справедливости на Востокѣ. Конгрессу, помимо судьбы балканскихъ подданныхъ султана, настояло опредѣлить родъ жизни азіатскихъ христіанъ, т. е. армянъ. Здѣсь, повидимому, затрудненіе рѣшалось чрезвычайно благопріятно. Независимо отъ общеевропейскаго интереса къ армянскому народу, одна великая держава взяла на себя спеціальную заботу о мирѣ и благоденствіи Арменіи. Англія заключила съ Турціей особый договоръ: Англія обязывалась охранять неприкосновенность азіатскихъ владѣній Турціи и за это получила островъ Кипръ и «формальное увѣреніе» султана—ввести въ Арменіи необходимыя реформы. Англія надѣялась дѣятельно помогать предстоящей преобразотельной дѣятельности султана, и именно съ этою цѣлью она занимала Кипръ, сосѣдній съ Малой Азіей.

Армяне могли утѣшиться. За нихъ стояло теперь чувство національной чести самой гордой и просвѣщенной націи во всемъ мірѣ. Реформы становились на очередь текущаго дня и Арменія,

повидимому, лежала теперь, по крайней мѣрѣ, столь же близко англійскому сердцу, какъ Ирландія и Индія.

Но армянская радость явилась не только преждевременной, но совершенно неосновательной. Англійская сдѣлка съ Турціей грозила даже ухудшить именно положеніе армянъ. Турція, напуганная Россіей, поддалась коварнымъ внушеніямъ Биконсфильда и заплатила Кипромъ за свое спасеніе отъ воображаемой опасности. Истина не замедлила обнаружиться. Россія вовсе не стремилась завоевывать Малой Азіи, англичанамъ не отъ кого было оберегать султана,—вышло,—островъ отданъ даромъ, Блистательная Порта оказалась просто одураченной. Легко представить, какой вкусъ теперь возъимѣли для нея обѣщанныя армянскія реформы?

Но Англіи нечего было волноваться. Еще задолго до берлинскаго трактата будущій лордъ Биконсфильдъ, пока только Дизраэли, заявлялъ: «Англичанамъ нуженъ Кипръ, и они его возьмутъ... Имъ нуженъ новый рынокъ для хлопчатобумажныхъ издѣлій. Англія не успокоится до тѣхъ поръ пока, жители Іерусалима носятъ тюрбаны изъ миткаля».

Хлопчатыя издѣлія, очевидно, преобладали въ идеяхъ англійскихъ министровъ даже, когда они заключали свой договоръ съ Турціей. Въ договорѣ о реформахъ говорилось *вообще*, англичане не признали необходимымъ ясно и подробно опредѣлить, какія именно преобразованія обязана произвести Порта въ Малой Азіи? Говорилось просто—объ усовершенствованіи администраціи. Султанъ, конечно, могъ по своему понимать совершенную администрацію, и это пониманіе какъ нельзя сильнѣе поощрялось раздраженіемъ на коварство англійской дипломатіи.

Таковы главныя черты величайшаго дипломатическаго акта нашего столѣтія. Участники конгресса въ полномъ смыслѣ дѣлали исторію, и, къ сожалѣнію, скверную исторію и на самое отдаленное будущее. Дѣятельность, тѣмъ болѣе неожиданная, что она оказалась въ непримиримомъ противорѣчіи съ торжественнымъ заявленіемъ геніальнаго предсѣдателя собранія: «Конгрессъ,—говорилъ князь Бисмаркъ,—собрался не за тѣмъ, чтобы охранять интересы Турціи, а за тѣмъ чтобы обезпечить миръ Европы въ настоящемъ и будущемъ».

Обезпеченіе вышло самое поразительное. Европѣ едва ли не на слѣдующій же день послѣ разъѣзда берлинскихъ устроителей вселенной пришлось впасть въ изумленіе и на десятки лѣтъ остаться въ этомъ глубокомысленномъ настроеніи. Какъ берлинскій трактатъ приводился въ исполненіе, это цѣлая эпопея грандіозно-сатирическаго содержанія, къ сожалѣнію, только обильно приправленнаго драмой. Рѣшительно ни одно болѣе или менѣе существенное постановленіе конгресса не было выполнено ни одной заинтересованной стороной, начиная съ великихъ державъ.

Австрія, по рѣшенію конгресса, заняла Боснію и Герцоговину для административнаго устроенія. Провинціи оставались за султаномъ, но конгрессъ не опредѣлялъ ни срока ни подробностей австрійской оккупаціи и черезъ восемь лѣтъ Австрія фактически

отмѣнила власть султана, подвергнувъ босняковъ и герцоговинцевъ военному набору «для защиты монархіи», разумѣется, австровенгерской.

За Россіей конгрессъ оставилъ Батумъ съ условіемъ сдѣлать его порто-франко: черезъ семь лѣтъ Батумъ превратился въ крѣпость.

Еще пренебрежительнѣе поступили съ трактатомъ балканскія государства. Болгарія ни единаго раза не заплатила Турціи установленной дани, Турція, въ свою очередь, не подумала даже теоретически отнестись серьезно къ берлинскимъ обязательствамъ. Что она нигдѣ не ввела никакихъ реформъ разумѣется само собой, но она наотрѣзъ отказалась уступить мѣстности, присужденныя Черногоріи, и исправить границы съ Греціей. Нѣтъ ничего поучительнѣе споровъ Европы съ султаномъ по поводу Черногоріи. Какое ужасающее количество дипломатическихъ бумагъ, какія величественныя заявленія въ родѣ: «торжественная манифестація воли Европы», «европейскій вердиктъ»! И въ отвѣтъ, явное издѣвательство Турціи, открытое возбужденіе бунта въ округахъ, присоединяемыхъ къ Черногоріи, и жалоба той же Европѣ на эти же самые бунты.

Европа выходитъ изъ себя и рѣшается произвести «нравственное давленіе» на Турцію, посылаетъ свои корабли къ берегамъ Албаніи, но съ распоряженіемъ не дѣйствовать этимъ кораблямъ, а только стоять и пугать султана. Едва вѣроятно, а между тѣмъ именно такое рѣшеніе вынесла Европа. Нашъ ученый и здѣсь утрачиваетъ свое образцовое терпѣніе и заявляетъ: «Это значило впадать въ странное заблужденіе—предполагать подобную наивность у совѣтниковъ султана».

И султанъ не только не испугался, а поспѣшилъ объявить Европѣ: всѣ событія и ноты со времени берлинскаго трактата онъ считаетъ за ничто и требуетъ предоставить его доброй волѣ выполнить свои обязательства, а Европѣ убрать свой флотъ, оскорбляющій его, султанское, достоинство. Европа склонила свою главу предъ энергіей падишаха и только случайность—невѣрныя свѣдѣнія султана на счетъ единоличныхъ дѣйствій Англіи—помѣшали исторіи закончиться постыднѣйшимъ конфузомъ для такъ-называемаго европейскаго концерта.

Султанъ жестоко жалѣлъ, понявъ преждевременность своего страха и своей уступки. Но и эта ошибка должна была только окрылить его на дальнѣйшую, надменно вызывающую борьбу съ Европой.

И событія не замедлили обнаружить всю глубину султанскаго презрѣнія къ рѣшеніямъ христіанскаго міра. Онъ—этотъ міръ—въ лицѣ лорда Сольсбёри провозглашалъ: «Я совершенно убѣжденъ, всякое зданіе, сооруженное въ прямое противорѣчіе съ желаніями народностей, для которыхъ оно сооружается, не можетъ быть прочнымъ». Основательнѣйшая идея, и одновременно съ ней Критъ подчинялся Турціи, малоазіатскіе христіане отдавались въ распоряженіе курдамъ, Румелія отрывалась отъ Болгаріи. Естественно, не Турціи же было укрѣплять подобное зданіе, и въ те-

ченіе двадцати лѣтъ не прекращаются кровавыя зрѣлища по всему пространству оттоманской имперіи, возстанія смѣняются войнами, даже такими безумными, какъ сербо-болгарская, и такими безрезультатами, но неизбѣжными, какъ греко-турецкая. А Европа собираетъ конференціи, пишетъ ноты, взываетъ къ разсудку и сердцу султана, засыпаетъ совѣтами Блистательную Порту, и достигаетъ одного самаго свѣжаго и богатаго будущимъ результата: султанъ теперь *побѣдитель*. Греческая война подняла духъ мусульманъ на высоту, какой онъ не зналъ въ теченіе всего XIX-го вѣка. Теперь Турція—членъ европейскаго концерта. Она дѣятельно упрочиваетъ свое новое положеніе широкими военными преобразованіями, и Европа еще менѣе, чѣмъ когда-либо, въ состояніи заговорить съ султаномъ рѣчью настойчивой и исполненной достоинства. Европа ждетъ, пока новый пожаръ не развяжетъ ей языкъ и не вдохнетъ въ ея мысли смѣлость и логику.

IV.

Смѣлость и логика!.. Казалось бы, они такъ естественны именно въ поведеніи Европы съ Турціей. Еще Монтескьё видѣлъ безнадежное разложеніе оттоманской имперіи. Въ сороковыхъ годахъ нашего столѣтія Гизо доказывалъ, что никакихъ реформъ немыслимо ждать отъ мусульманскаго міра. И исторія неуклонно доказывала справедливость этихъ взглядовъ. Турція не подлежитъ никакому культурному воздѣйствію. Всякое отраженіе европейскихъ вліяній на исконныхъ мусульманскихъ порядкахъ въ глазахъ правовѣрныхъ является вѣроотступничествомъ. И даже современный султанъ у признанныхъ хранителей магометанскаго правовѣрія слыветъ гяуромъ и рабомъ Европы.

Прежде всего самая идея равноправія христіанъ съ точки зрѣнія Корана—безуміе. Всякій человѣкъ, не признающій Магомета пророкомъ, *по природѣ* низшее существо и предназначенъ къ вѣчному рабству у правовѣрныхъ. Коранъ не признаетъ за побѣжденнымъ гяуромъ никакихъ правъ, даже права на существованіе. «Предъ Богомъ,—говоритъ онъ,—нѣтъ болѣе низкихъ существъ, чѣмъ невѣрующіе»». И даже если бы султанъ проникся гуманными воззрѣніями, онъ ничего не могъ бы сдѣлать практически. Подданные отказались бы ему повиноваться: такъ открыто заявляютъ европейцамъ доктора мусульманскаго права. Въ 1856 году султанъ издалъ указъ о равноправіи свидѣтельскихъ судебныхъ показаній христіанъ и магометанъ. Мусульманскіе судьи не исполняли указа, лишь только приходилось разбирать дѣло между магометаниномъ и христіаниномъ. Очевидно, цивилизовать мусульманскій востокъ значитъ уничтожить мусульманскую религію, и арабская культура является, по существу, неестественнымъ явленіемъ въ мусульманствѣ, исключительно *національнымъ* въ исторіи самихъ арабовъ, а не магометанскимъ.

Съ другой стороны Турція утратила всѣ основы нравственнаго и политическаго бытія. Она давно уже не государство, а дворцовая вотчина. Оффиціальное правительство не имѣетъ ни-

какого значенія—всѣмъ управляетъ Ильдизъ-Кіоскъ, т. е. личные слуги султана. Въ интересахъ дворца существуетъ администрація, войско, собираются налоги, вообще совершается вся жизнь оттоманской имперіи. Жалованье получаютъ только чиновники и войска, непосредственно связанныя съ дворцомъ. Султанъ лично владѣетъ шестою частью всей территоріи своей имперіи, кромѣ того доходами съ почтъ, таможней, состоитъ пайщикомъ въ разныхъ финансовыхъ предпріятіяхъ, владѣетъ монополіями табачной, желѣзнодорожной. И всѣ его заботы сосредоточены на своемъ штатѣ и стражѣ. Преемникъ двухъ султановъ, свергнутыхъ съ престола, онъ вѣчно дрожитъ за свою особу и на этомъ ужасѣ собственно и сосредоточены всѣ его политическія способности. Онъ «человѣкъ Ильдиза», такъ его именуютъ его же подданные, и государство предоставлено на полную волю чиновниковъ. Они вынуждены торговать закономъ и судомъ: эта торговля—единственный источникъ ихъ существованія. Другой—христіанскіе подданные, стоящіе внѣ мусульманскаго права. И они, кромѣ обычныхъ насилій и поборовъ, обязаны еще время отъ времени удовлетворять своей кровью и имуществомъ варварскія племена, поставляющія султану самыхъ преданныхъ тѣлохранителей. Курды истребили до трехсотъ тысячъ армянъ, но они—личная гвардія повелителя, ихъ полки носятъ его имя, и, естественно, о наказаніи не можетъ быть и рѣчи. Иначе Ильдизъ лишился бы своей вѣрной опоры и лучшихъ подданныхъ.

Все это факты, отлично извѣстные Европѣ. Ни для кого не тайна, что Турція вовсе не имперія и даже не правительство, а таборъ дикарей, сидящій на одномъ мѣстѣ исключительно благодаря внѣшнимъ обстоятельствамъ. Но это—историческая и наглядная истина, отъ нея до дипломатическихъ выводовъ цѣлая пропасть.

Спросите нѣкоторыхъ и очень важныхъ дипломатовъ на счетъ того самаго человѣка, кого Гладстонъ назвалъ «великимъ убійцей» и кто послѣдовательно издѣвается надъ терпѣніемъ Европы вотъ уже почти четверть вѣка. Вы получите самые неожиданные отзывы.

Абдулъ-Гамидъ!—да это любезнѣйшій изъ монарховъ. Онъ кротокъ, вѣжливъ, всегда обходителенъ и въ высшей степени сдержанъ. *Всѣ дипломаты*, говорятъ намъ, побывавшіе въ Константинополѣ, были очарованы султаномъ и *многіе* изъ нихъ сохранили это очарованіе навсегда. Абдулъ-Гамидъ прямо неотразимъ. Онъ всегда внимательно выслушиваетъ совѣты и представленія, задаетъ вопросы о подробностяхъ, свидѣтельствующія его серьезное отношеніе къ дѣлу и готовность слѣдовать добрымъ внушеніямъ. Послѣ его аудіенціи всякій европейскій дипломатъ выходилъ непремѣнно *удовлетвореннымъ* и *тронутымъ*. Наконецъ, султанъ набоженъ, крайне умѣренъ въ удовольствіяхъ, можно сказать, безупреченъ въ нравахъ *).

Таковъ единодушный отзывъ. И онъ подтверждается даже

*) Victor Berard. *La politique du sultan. Révue de Paris.* 1897, 1 janvier, p. 57—58.

младотурками, завѣдомыми врагами Абдулъ-Гамида. Вождь ихъ—Мурадъ-бей также поддался чарамъ султана: до такой степени задушевно и искренне говорилъ Абдулъ-Гамидъ даже о конституціи, такъ настоятельно просилъ Мурада представить ему планъ ея. Мурадъ, выходя отъ султана, преисполнился радости и вѣры, что все спасено...

Съ такими точно настроеніями откланивались Абдулъ-Гамиду и представители европейскихъ державъ.

Но разочарованіе *неизмѣнно* слѣдовало по пятамъ осчастливленныхъ смертныхъ. Младотурки отправлялись на дно Босфора или въ Аравію на вѣрную смерть, студенты теологіи слѣдовали за ними по повелѣнію горячаго поклонника пророка, европейскіе дипломаты терпѣли соотвѣтственную участь: ихъ аудіенціи и ноты тонули въ рѣкѣ забвенія и безпрестанно подвергались самому оскорбительному нарушенію и извращенію.

Какое же впечатлѣніе производили эти приключенія на очарованныхъ? Нерѣдко, разумѣется, вполнѣ логическое, но бывали и до сихъ поръ происходятъ случаи, способные внушить султану непоколебимое убѣжденіе въ своей поистинѣ волшебной симпатической власти надъ гяурами.

Напримѣръ, самый усердный и краснорѣчивый защитникъ современной турецкой политики Ганото. Умѣреннѣйшіе французы приходили въ изумленіе предъ чисто вѣрноподданнической сдержанностью своего министра въ отзывахъ о султанѣ, завѣдомомъ первовиновникѣ армянскихъ убійствъ. Ни одного слова порицанія! И гдѣ же—во французской палатѣ, во времена республики. Да пусть какая угодно политика тяготѣетъ надъ мозгомъ представителя французской націи, не могъ же не заговорить, хоть на одно мгновеніе, голосъ культурнаго европейца и просто человѣка.

И все таки не заговорилъ. Французская печать объяснила удивительный фактъ столь же удивительными сообщеніями. Правда, Ганото и по дипломатическимъ причинамъ не возставалъ противъ Турціи, но главная была сердечная. Онъ личный сочувственникъ султана. Онъ прошелъ дипломатическую школу въ Константинополѣ. Онъ былъ еще очень молодъ, когда правительство поставило его во главѣ посольства. Онъ понравился султану и въ теченіе десяти лѣтъ Ганото очень успѣшно велъ дѣла. Онъ научился любить и уважать его оттоманское величество. Онъ изумлялся поразительной канцелярской усидчивости падишаха, его тонкому уму и чарующей обходительности.

Всѣ эти чувства Ганото привезъ во Францію и заключилъ ихъ въ свой портфель министра иностранныхъ дѣлъ. Здѣсь главная разгадка его неизмѣнно почтительнаго, бережнаго отношенія ко всѣмъ дѣйствіямъ Ильдизъ-кіоска.

Министерство, устранившее Ганото, не могло рѣзко измѣнить политики: Франція уже была связана дѣятельностью прежняго министра и султанъ не могъ ждать грозы со стороны республики.

И на этотъ разъ республика сошлась съ своимъ опаснѣйшимъ врагомъ, съ германскимъ императоромъ. Турція нашла въ Германіи вѣрнѣйшаго друга, какого только она когда-либо имѣла среди

христіанскихъ государей. Вильгельмъ II, столь подчасъ рыцарственный и вдохновенный, чуть не средневѣковой герой въ своихъ восторгахъ предъ завѣтами Гогенцоллерновъ и даже боговъ германской миѳологіи, отбросилъ въ сторону всѣ средневѣковые предразсудки на счетъ сарацинъ и невѣрныхъ. Онъ—первый и единственный—привѣтствовалъ турецкія побѣды надъ греками. Онъ не побоялся предъ всѣмъ свѣтомъ засвидѣтельствовать горячую дружбу къ султану въ то самое время, когда Гладстонъ клеймилъ этого друга именемъ «убійцы», а Европа, по увѣренію другого англійскаго политическаго главы, «блѣднѣла» отъ ужасовъ оттоманской имперіи.

Откуда же у германскаго императора такія стремительныя чувства! Конечно, не изъ того источника, откуда у Ганото. Вильгельмъ II руководится неизмѣримо болѣе убѣдительными побужденіями, чѣмъ личныя достоинства Абдулъ-Гамида. Общій характеръ этихъ побужденій и подобныхъ имъ, весьма распространенныхъ, остроумно выраженъ однимъ французскимъ публицистомъ. «Европа,—писалъ онъ,—во всякое время предпочла бы самаго реакціоннаго фанатика, оплачивающаго свои купоны и благопріятствующаго торговлѣ, самому передовому преобразователю, вызывающему банкротство или революцію».

Этотъ именно принципъ лежитъ въ основѣ трезвой германской дружбы съ Турціей. Вильгельму II нужна Турція именно въ томъ видѣ, въ какомъ она существуетъ, слѣдовательно, и Абдулъ-Гамидъ со всѣми его оригинальными пріемами управленія. Германскій императоръ привѣтствовалъ побѣду турецкихъ полковъ надъ греческими по самому естественному побужденію, какое только существуетъ для человѣческихъ дѣйствій. Турокъ приготовили для побѣды германскіе офицеры и они же руководили турецкимъ штабомъ. Очевидцы разсказываютъ, какъ турецкіе солдаты на полѣ сраженія цѣловали руки у своихъ нѣмецкихъ учителей. То же самое они должны были бы сдѣлать съ нѣмецкими ружейными и пушечными мастерами: султанъ самый крупный иностранный потребитель нѣмецкаго оружія.

Но этотъ товаръ только часть громаднаго нѣмецкаго ввоза въ оттоманскую имперію. Нѣмецкая промышленность, послѣ объединенія, быстро стала развиваться, и преуспѣла до такой степени, что вступила въ конкурренцію съ французской и особенно англійской. Потребовались новые рынки; отсюда горячка колоніальной политики и неутомимые поиски сбыта. Балканскій полуостровъ скоро сталъ кишѣть агентами нѣмецкихъ фирмъ и превратился въ сплошной базаръ нѣмецкихъ товаровъ.

Рядомъ шла и германская культура. Константинополь обогатился нѣмецкими школами, армія нѣмецкими инструкторами. Правительство, разумѣется, не могло оставить безъ поощренія этого явленія, и императоръ сталъ во главѣ національнаго торговаго прогресса. Турція, въ ея современномъ варварскомъ состояніи—благодарная почва для нѣмецкихъ дѣлателей. Ея раздѣлъ между культурными націями неизбѣжно повлекъ бы подрывъ германскому движенію, и естественно, неприкосновенность оттоманской имперіи своего рода догматъ современной германской политики.

Нѣкоторые европейскіе политическіе дѣятели видятъ и другую причину стремленій Вильгельма II на Востокъ. Они будто бы, служа нѣмецкому купону, въ то же время даютъ выходъ и романтическому воображенію императора. Авторъ гимна Эгиру въ пламенныя минуты своей мечтательности грезитъ ни болѣе, ни менѣе, какъ о священной имперіи былыхъ вѣковъ отъ Тріеста до Гамбурга. Австрія вѣдь явно разлагается, среди ея партій существуетъ теченіе, глубоко проникнутое пангерманскими идеалами и еще другое болѣе могущественное, преисполненное ненависти къ славянамъ... Что же невѣроятнаго въ будущемъ сліяніи всей великой германской расы подъ одной короной?.. *).

Открываются ли дѣйствительно предъ Вильгельмомъ II подобныя перспективы, или это клевета злыхъ политиковъ, во всякомъ случаѣ, Турція можетъ считать его прочной опорой своего *европейскаго* положенія. Это истинное повышеніе въ важный чинъ: Европа, считаясь съ султаномъ, должна помнить о германскомъ императорѣ. Какой успѣхъ послѣ невѣроятныхъ нарушеній всѣхъ трактатовъ и обязательствъ и особенно послѣ незабвеннаго въ исторіи памятника XIX-го вѣка изъ трехсотъ тысячъ человѣческихъ головъ!

Результатъ очевиденъ. Восточный вопросъ только по недоразумѣнію именуется восточнымъ, на самомъ дѣлѣ онъ *западный*, во всѣхъ смыслахъ—въ политическомъ и культурномъ. Оттоманская имперія сама по себѣ можетъ сколько угодно разрушаться, она непоколебима, на сколько прочна такъ-называемая «европейская совѣсть». А это—вопросъ весьма темный.

Правда, Гладстонъ вѣдь тоже европеецъ, и онъ съумѣлъ выказать поразительно энергичный образъ дѣйствій противъ Турціи и ему случалось увлекать за собой даже толпу парламентскую и уличную. Но это не было увлеченіемъ англійской націи, и нашъ ученый авторъ находитъ горячность Гладстона излишней и опрометчивой. Онъ, повидимому, готовъ великаго государственнаго человѣка изобразить красками легкомысленнаго и опрометчиваго агитатора.

И этотъ взглядъ внушаетъ ему уже не «европейская совѣсть», какъ она понимается на дипломатическомъ языкѣ, а логика и исторія. Трудно при такихъ обстоятельствахъ ожидать чего-нибудь похожаго на крестовый походъ, хотя бы даже на словахъ, не только на дѣлѣ. Вильгельмъ II, напримѣръ, торжественно празднуетъ седанское событіе, годовщину одной изъ горестнѣйшихъ распрей среди цивилизованныхъ народовъ, и тотъ же Вильгельмъ привѣтствуетъ турецкое оружіе въ борьбѣ также съ цивилизованной націей. Нельзя сказать, чтобы подобные факты знаменовали успѣхи европейской совѣсти, и Турція будетъ жить именно потому, что жизнь ея основана на темныхъ сторонахъ нашей цивилизаціи. Все, что только сохранилось варварскаго, своекорыстнаго, кровожадно воинственнаго въ современной европейской культурѣ,—все это истинные киты оттоманскаго царства.

*) Kramarsch, *L'Avenir de l'Autriche.*

И султанъ понимаетъ это лучше, чѣмъ кто либо, понимаютъ и его образованнѣйшіе подданные. Какъ же имъ послѣ этого не смѣяться надъ европейскими конгрессами и нотами, смѣло не противопоставлять мусульманскую культуру христіанской и не презирать европейцевъ уже не какъ гяуровъ, а какъ торгашей и варваровъ?

Мы видимъ, какъ глубоко коренится сущность и живучесть восточнаго вопроса. Можно безъ преувеличеній сказать: самая скромная и безпристрастная исторія этого вопроса представляетъ гораздо болѣе поучительную и содержательную критику современной европейской просвѣщенности и нравственности, чѣмъ краснорѣчивѣйшія философскія и политическія упражненія пессимистовъ и декадентовъ.

SCHICKSALSMENSCH.

По поводу «Gedanken und Erinnerungen von Otto Fürst von Bismarck». Stuttgart 1898.

I.

Въ концѣ минувшаго года въ европейской политической литературѣ произошло событіе исключительной важности: въ ноябрѣ, одновременно на четырехъ языкахъ, явилась книга, подписанная едва ли не самымъ громкимъ именемъ нашего столѣтія,—именемъ князя Оттона Бисмарка. Этихъ *мыслей и воспоминаній* ждали давно и съ нетерпѣніемъ. Было извѣстно, что князь усердно занялся подведеніемъ итоговъ своей дѣятельности немедленно послѣ отставки. Окончательный разрывъ съ молодымъ повелителемъ засталъ министра, привыкшаго считать себя безсмѣннымъ и незамѣнимымъ, совершенно врасплохъ. Незадолго князь, бесѣдуя съ русскимъ императоромъ, рѣшительно заявлялъ: «Я увѣренъ, что останусь министромъ на всю жизнь», и вдругъ ударъ, навсегда отнявшій власть и развѣнчавшій провиденціальнаго человѣка Германіи въ просто country gentleman'а.

Было отчего вознегодовать и утратить равновѣсіе духа, и Бисмаркъ не скрывалъ своихъ сильныхъ чувствъ. Европа по временамъ слышала ревъ раненаго льва, и творцы «новаго курса» невольно приходили въ страхъ и смущеніе отъ мѣткихъ, часто неотразимыхъ издѣвательствъ оскорбленнаго отшельника. Дѣло дошло до того, что германское правительство вынуждено было защищаться предъ державами и просить ихъ не считать бисмарковскихъ откровенностей фактами оффиціальной политики.

Но Бисмаркъ оставался неукротимымъ. Казалось, въ годы опалы къ нему вернулось былое юношеское остроуміе, озлобленное чувство горечи и обиды имѣло въ распоряженіи богатѣйшій историческій матеріалъ и канцлеръ пользовался имъ, нисколько не стѣсняясь ни самолюбіемъ, ни высокимъ положеніемъ своихъ жертвъ. Одновременно съ періодическими набѣгами на нихъ въ

печати писались мемуары. Длинные зимніе вечера посвящались этой работѣ, въ высшей степени оживленной, даже страстной: Бисмаркъ и здѣсь сводилъ счеты съ своими недругами и невѣрными друзьями. И чѣмъ дальше шло время, тѣмъ глубже и напряженнѣе становилась личная страсть. Въ 1894 году скончалась супруга Бисмарка, служившая для него поддержкой и утѣшеніемъ, немного спустя умеръ самый близкій наперсникъ, преданнѣйшій повѣренный всяческихъ тайнъ Бухеръ. Его назначеніемъ было сглаживать и исправлять тѣ мѣста *Воспоминаній*, гдѣ мстительныя настроенія канцлера накладывали на факты и мысли ужъ слишкомъ яркія краски. По смерти Бухера, автобіографія Бисмарка должна была остаться въ первобытной, въ высшей степени яркой, и—тѣмъ менѣе *исторической* формѣ.

Обстоятельство, нисколько не отнимавшее интереса у произведенія Бисмарка, напротивъ, повышавшее пикантность разоблаченій и оригинальность приговоровъ. На книгу жадно набросилась вся европейская печать. Журналы поспѣшили дать самые пространные отчеты, сообщить своимъ читателямъ обширныя выдержки въ видѣ образчиковъ бисмарковскаго литературнаго таланта. Нѣкоторыя періодическія изданія помѣстили даже по нѣскольку статей, и писались они депутатами, сенаторами или многоопытными дипломатами, очевидцами дѣятельности Бисмарка. Можно сказать, ни одна книга за весь девятнадцатый вѣкъ не вызвала такого обилія толкованій, сужденій и самыхъ противоположныхъ чувствъ. И имъ предстоитъ еще очень продолжительное будущее. Бисмаркъ оставилъ слишкомъ прочное *реальное* наслѣдство, чтобы міръ скоро могъ сдать въ архивъ его личную и политическую исповѣдь.

И все-таки, если пристально и вполнѣ хладнокровно вникнуть въ литературное завѣщаніе Бисмарка, само по себѣ оно врядъ ли окажется достойнымъ такой шумной вемірной славы. Тайна громаднаго успѣха, какъ это безпрестанно случается, не въ самомъ произведеніи, а въ имени автора. Будь всѣ эти мысли пущены въ оборотъ не подъ фирмой объединителя Германіи и царя европейскихъ дипломатовъ, публика и печать могли бы остаться безучастными. Онѣ и теперь имѣютъ полное основаніе въ сильной степени понизить свое обычное представленіе о величіи канцлера именно какъ политика и отвести его геніальности опредѣленный и далеко не всеобъемлющій кругъ. Они прежде всего должны обратить вниманіе на громадный, совершенно необъяснимый пробѣлъ, допущенный Бисмаркомъ въ своихъ воспоминаніяхъ. Едва ли не труднѣйшимъ вопросомъ внутренней политики канцлера была борьба съ соціалъ-демократіей. Именно она вызывала энергичнѣйшія мѣры Бисмарка, подвергала жестокимъ искусамъ его общепризнанный государственный геній, вынуждала на грубую физическую расправу съ противниками, и эта же борьба еще при жизни канцлера обнаружила безплодность его усилій подавить идейное движеніе силой хотя бы и желѣзной власти.

Для насъ было бы въ высшей степени любопытно слышать отъ самого борца объ этомъ поединкѣ. Онъ, по крайней мѣрѣ въ

двухъ доселѣ вышедшихъ томахъ своихъ записокъ, предпочитаетъ миновать не совсѣмъ пріятный вопросъ и вознаградить читателя основательнѣйшими подробностями на счетъ своихъ безчисленныхъ побѣдъ надъ дипломатами, вообще надъ Европой. Мы были бы также очень обязаны автору за сообщенія другого рода, именно какъ развивалось его политическое и нравственное міросозерцаніе, какъ онъ росъ духовно и постепенно усвоивалъ идеи, съ какими явился властителемъ одного изъ культурнѣйшихъ народовъ міра.

И на этотъ счетъ образцовая краткость и скромность. *Воспоминанія* открываются общимъ заявленіемъ, что авторъ въ средней школѣ почерпнулъ пантеистическія и республиканскія воззрѣнія и колебался надъ рѣшеніемъ вопроса, какъ это милліоны людей могутъ повиноваться одному человѣку? Но всѣ эти колебанія не повлекли ни къ какимъ даже ближайшимъ послѣдствіямъ. «Мои историческія сочувствія—говоритъ Бисмаркъ,—остались на сторонѣ авторитета. Гармодій и Аристогитонъ, даже Брутъ для моего дѣтскаго правоваго чувства (für mein Kindliches Rechtsgefühl) были преступниками и Телль бунтовщикомъ и убійцей». Послѣ столь рѣшительныхъ заявленій неизвѣстно, зачѣмъ намъ только что сообщено было о пантеизмѣ и республиканскихъ теоріяхъ. Повидимому, даже малѣйшей борьбы, хотя бы въ области отвлеченной мысли, Бисмаркъ не испыталъ ни въ молодости, ни позже. Онъ родился готовымъ *практикомъ* независимо отъ какихъ бы то ни было школьныхъ или житейскихъ вліяній. Достаточно было простыхъ *впечатлѣній*, чтобы пробудить въ натурѣ Бисмарка прирожденныя политическія стремленія.

И онъ сообщаетъ объ этихъ впечатлѣніяхъ. При взглядѣ на карту имъ овладѣвало чувство мести и жажда войны: онъ не могъ спокойно видѣть, что Страсбургъ числится во французскихъ владѣніяхъ. Тотъ же самый процессъ и въ вопросахъ внутренней политики. Со всѣмъ строемъ его личности не мирилась мысль, будто какіе-то представители, на основаніи какихъ-то профессорами измышленныхъ правъ, могутъ критиковать верховную волю прусскаго короля. Эта критика такой же бунтъ, какъ и возстаніе Телля, даже хуже: презрѣнная интрига, основанная на безсмысленной болтовнѣ и лжи.

Это презрѣніе Бисмарка къ политическимъ фактамъ, разъ они противорѣчатъ его инстинктамъ, основной руководящій мотивъ всей его дѣятельности. Воспоминанія переполнены именно чувствомъ презрѣнія, это—настоящая поэма особой своеобразной мизантропіи—холодной, убѣжденной безъ единаго проблеска грусти или сожалѣнія о человѣческой слабости. Практически это грозная воинственная сила, неспособная считаться ни съ какими средствами и личностями, это взглядъ на людей правыхъ или виноватыхъ, смотря по тому, согласны ли они съ мнѣніями героя, или противорѣчатъ имъ.

И съ этой точки зрѣнія Бисмаркъ оцѣниваетъ всѣхъ, съ кѣмъ ему приходилось сталкиваться во внѣшней или во внутренней политикѣ. На первыхъ же страницахъ онъ пишетъ удручающую характеристику дипломатовъ. Это, надо думать, самыя жалкія со-

зданія въ глазахъ канцлера, глупыя, тунеядныя и въ высшей степени смѣшныя. Французскій языкъ, и притомъ въ предѣлахъ оберкелльнерскихъ свѣдѣній—высшая точка ихъ стремленій. Дипломатическое призваніе вполнѣ оправдано, разъ кандидатъ въ дипломаты можетъ написать письмо на французскомъ языкѣ. Это общая картина; не лучше и отдѣльныя фигуры: рядомъ съ ними Бисмаркъ даже въ юности является гигантомъ, и не можетъ быть, конечно, и рѣчи объ исходѣ борьбы, разъ на полѣ битвы подобные противники.

Еще эффектнѣе другое сопоставленіе. До *Воспоминаній* Бисмарка всѣмъ были извѣстны его идеальныя чувства къ императору Вильгельму I. Личность императора казалась чрезвычайно величественной, почти эпической. Европа не сомнѣвалась въ громадной роли, какую прусскій король игралъ въ объединеніи Германіи, и многіе даже склонны были думать, что Бисмаркъ явился въ этомъ вопросѣ только искуснымъ сотрудникомъ. По смерти «стараго императора» образъ его воспринялъ нѣкій легендарный ореолъ, ставившій его въ рядъ средневѣковыхъ витязей старой священной германской имперіи... Явились *Воспоминанія* Бисмарка, и пьедесталъ сразу рухнулъ и ореолъ разсѣялся.

Страницы, посвященныя Бисмаркомъ императору Вильгельму, едва ли не самыя любопытныя. Онѣ съ особенной яркостью освѣщаютъ личность и таланты самого канцлера и знакомятъ насъ съ его обычными практическими пріемами.

Вильгельмъ представлялъ изъ себя крайне зауряднаго человѣка и въ сущности не былъ рожденъ государемъ въ истинномъ смыслѣ слова. Всѣ достоинства его ограничивались честностью и искренностью, собственно королевскіе задатки состояли въ крайне высокой идеѣ о власти монарха. У Вильгельма эта идея носила чисто религіозный характеръ, но практически у короля и позже императора почти никогда не хватало силъ самостоятельно и мужественно оправдывать свое призваніе. Онъ вѣчно находился подъ разными внѣшними вліяніями, и въ особенности своей супруги Августы. Ея воля тяготѣла надъ его мыслью, въ самыя рѣшительныя минуты, онъ обнаруживалъ жалкую безпомощность предъ энергической горячей королевой, и Бисмарку стоило не малыхъ усилій преодолѣвать это рабство и перетягивать своего повелителя на свою сторону.

Эта борьба, очевидно, накипѣла на сердцѣ канцлера. Она занимаетъ очень много мѣста въ его воспоминаніяхъ, до конца остается главнѣйшимъ вопросомъ внутренней политики, какъ ее излагаетъ Бисмаркъ. И надо отдать ему справедливость, онъ умѣетъ достигнуть своей цѣли очень живыми драматическими эпизодами и сценами. Здѣсь канцлеръ является талантливымъ психологомъ-художникомъ и не оставляетъ у насъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ своемъ недосягаемомъ умственномъ превосходствѣ надъ императоромъ и его вдохновительницей.

Первый случай представился немедленно послѣ вступленія Вильгельма на престолъ. Новый король питалъ глубокую любовь ко всему военному, имѣть многочисленное и образцово устроенное

войско было его задушевнѣйшей мечтой. Но парламентъ сталъ на пути, страсти поднялись до высшей температуры, король перепугался и уже сталъ подумывать объ отреченіи отъ престола. О сопротивленіи парламенту король не смѣлъ и подумать, кругомъ ему нашептывали о судьбѣ Карла I, Людовика XVI и онъ уже видѣлъ себя на эшафотѣ вмѣстѣ съ своимъ министромъ. Бисмарка сравнивали съ Полиньякомъ, Страффордомъ, однимъ словомъ, королева и ея помощники постарались извлечь изъ исторіи всѣ ужасы, подходившіе къ случаю.

Бисмаркъ оказывался одинокимъ, даже военный министръ Роонъ не сочувствовалъ его слишкомъ самодержавнымъ заявленіямъ предъ парламентомъ. Бисмаркъ не отступилъ, онъ встрѣтился съ королемъ наединѣ, и между ними произошла сцена, въ высшей степени поучительная и по содержанію, и по смыслу.

Бисмаркъ нашелъ короля въ полномъ упадкѣ духа, Вильгельмъ прямо заявилъ ему о предстоящей казни ихъ обоихъ. Тогда Бисмаркъ произнесъ горячую рѣчь, доказывалъ, какъ недостойно монарха безъ борьбы подчиняться своей участи, объяснилъ малодушное поведеніе Людовика XVI и Карла I, воззвалъ къ чувству военной чести, и въ заключеніе одержалъ побѣду.

Замѣчателенъ общій психологическій выводъ. Король—идеальный типъ прусскаго офицера, ни болѣе, ни менѣе. Онъ все, что угодно, сдѣлаетъ, но только *по командѣ*, лишь бы не разсуждать и не нести личной отвѣтственности. Но бѣда, если предъ такимъ исполнителемъ возстаетъ призракъ чьей бы то ни было критики, на него направленной, начальства или общественнаго мнѣнія: мгновенно пропадаетъ всякая энергія. Такъ и Вильгельмъ. До встрѣчи съ Бисмаркомъ онъ ужасался нагоняя отъ супруги, порицанія отъ разныхъ политиковъ, Бисмаркъ сразу поставилъ его въ положеніе фронтового воина, и онъ подчинялся его волѣ, какъ это сдѣлалъ бы всякій прусскій офицеръ по приказу высшаго начальства.

Бисмаркъ видимо съ наслажденіемъ разсказываетъ и подробно разъясняетъ все приключеніе. Читатель долженъ разъ навсегда убѣдиться, какъ велика была личная нравственная сила министра и какъ пассивна, *механична* натура его государя.

Не лучше и портретъ императрицы Августы.

Эта женщина—настоящій кошмаръ для Бисмарка. Онъ не можетъ спокойно вспоминать о ней, она умѣла отравлять лучшіе моменты его власти, угрожать ему утратой только что достигнутыхъ результатовъ и вѣчно держать въ томительномъ страхѣ; вотъ внезапно перемѣнится настроеніе ея августѣйшаго супруга и «вся постройка» канцлера рушится въ прахъ.

Что руководило неумолимой пожизненной оппозиціей Августы? По словамъ Бисмарка, менѣе всего какая-нибудь опредѣленная идея, просто даже прямая практическая цѣль. Королева интриговала просто ради удовлетворенія личнаго самолюбія. Она желала въ своей особѣ воплощать правительство, всякая власть внѣ ея была ей ненавистна просто какъ власть независимо отъ направленія и самихъ обладателей властью. Бисмаркъ вполнѣ опредѣленно

выражается: если правительство было консервативно, Августа собирала вокругъ себя либераловъ и съ помощью ихъ мѣшала предпріятіямъ министерства. Если правительство начинало относиться благосклонно къ либераламъ, императрица принималась поощрять консерваторовъ и особенно католиковъ. То же самое и во внѣшней политикѣ. У императрицы всегда имѣлось свое анти-министерство и, напримѣръ, она защищала интересы Австріи даже въ началѣ австро-прусской войны.

Положеніе вещей бывало тѣмъ болѣе тягостнымъ, что императоръ, безъ всякой критики, подчинялся внушеніямъ супруги. Если онъ самолично додумывался до какой-либо идеи, враждебной планамъ канцлера, переубѣдить его было не трудно: здравый смыслъ, по словамъ Бисмарка, и логика фактовъ брали свое. Но горе, если Вильгельмъ являлся съ мнѣніями своей жены! Тогда рѣчь его становилась сбивчивой, разсужденія странными и совершенно нелогическими, а между тѣмъ роковое внушеніе тяготѣло надъ слабымъ духомъ. Прижатый къ стѣнѣ, императоръ обыкновенно восклицалъ въ безъисходной тоскѣ: «Кончимъ же, наконецъ!» И въ оправданіе приводились соображенія, отнюдь не способныя умиротворить канцлера;—въ родѣ «жена моя—горячая голова» и «что же вы хотите, чтобы я сдѣлалъ?»

Легко представить, сколько ловкости и энергіи требовалось Бисмарку вести эту непрерывную войну! Но оставаться побѣдителемъ онъ привыкъ съ самого начала, его могъ раздражать только процессъ борьбы; исходъ былъ заранѣе извѣстенъ.

Слѣдующая императрица, Викторія, также оказалась на политическихъ путяхъ Бисмарка и здѣсь соперничество грозило несравненно болѣе серьезное, чѣмъ капризная легкомысленная фронда предшественницы. Супруга Фридриха III также неограниченно вліяла на мужа, но она твердо знала, чего хотѣла. Понималъ это и Бисмаркъ, жестоко укоряя Викторію въ ея неизмѣнныхъ прирожденныхъ англійскихъ идеалахъ. Онъ имѣлъ основанія бояться, какъ бы «англичанка» не поколебала устоевъ прусской внутренней и внѣшней политики, и Фридрихъ III обнаруживалъ всѣ данныя «желѣзнаго канцлера» замѣнить другимъ, болѣе близкимъ его уму и сердцу. Смерть рѣшила вопросъ въ пользу Бисмарка Но торжество продолжалось не долго: гроза пришла совершенно неожиданно и съ той стороны, гдѣ, казалось, все было ясно...

Но, во всякомъ случаѣ, паденіе не нанесло смертельнаго удара историческому величію Бисмарка. На первыхъ порахъ обнаружилась-было обычная человѣческая доблесть: вокругъ Бисмарка образовалась пустота. Верховная опала превратила отставку въ изгнаніе. Но виновникъ опалы не обнаружилъ ни таланта, ни достоинства, равносильныхъ его юпитеровскому разсчету съ основателемъ германской имперіи. Первое впечатлѣніе прошло, нѣмцы быстро постигли своего новаго кормчаго, сравнили съ прежнимъ, и ореолъ Бисмарка засіялъ новымъ ослѣпительнымъ блескомъ затѣмъ, чтобы ужъ больше не померкнуть до самой его смерти.

Убѣжище канцлера превратилось въ Мекку нѣмецкихъ патріотовъ. Не проходило мѣсяца безъ паломничествъ и рѣчей изгнан-

ника, звучавшихъ и теперь все также громко и властно. Заграницей не менѣе внимательно прислушивались къ этимъ рѣчамъ и говорили: вотъ истинно національный герой новой Германіи *)!

Когда, наконецъ, смерть прекратила паломничества и рѣчи, самые разсудительные и просвѣщенные соотечественники покойника писали: «до тѣхъ поръ, пока будетъ существовать наша планета и на землѣ жить люди, имъ будутъ называть Бисмарка, какъ одного изъ людей, давшихъ имя своему столѣтію... Девятнадцатый вѣкъ будетъ названъ вѣкомъ Бисмарка». И нѣмцы находили, что міръ обѣднѣлъ послѣ кончины Бисмарка, даже трудно мыслить міръ безъ Бисмарка, и остается одно утѣшеніе, желать, чтобы *его* геній и его перваго императора бодрствовалъ надъ созданной имъ имперіей... **),

Мы видимъ, канцлеръ остался побѣдоноснымъ и при жизни, и за гробомъ. Геній императора даже упоминается всуе: такого вовсе не было, все создано однимъ Бисмаркомъ. Это мы знаемъ отъ него самого и послѣ его *Воспоминаній* честь объединенія Германіи должна принадлежать ему безраздѣльно. Онъ выше всѣхъ цѣлой головой, и дипломатовъ, и государей, и, несомнѣнно, такой портретъ собственной особы желалъ нарисовать авторъ. Но онъ не достигъ болѣе общей цѣли: не успѣлъ изобразить себя высокимъ безъ сравненія съ завѣдомыми ничтожествами. Онъ допустилъ извѣстную наполеоновскую ошибку, повторенную, впрочемъ, всѣми надменными повелителями человѣческаго стада. Они до послѣдней степени принижаютъ матеріалъ, подлежавшій ихъ воздѣйствію, и забываютъ, что этимъ самымъ они подрываютъ у насъ вѣру въ ихъ исключительное могущество. Немного чести властвовать надъ глупцами и посредственностями. А именно такого рода созданія проходятъ передъ нами въ воспоминаніяхъ и Наполеона, и Бисмарка. Императоръ Вильгельмъ развѣнчанъ окончательно, дипломаты осмѣяны безнадежно, но всѣ эти посягательства не миновали и самого побѣдителя. Онъ великъ среди слишкомъ маленькихъ людей. А если мы еще припомнимъ, что отъ разсказа о важнѣйшихъ своихъ затрудненіяхъ во внутренней политикѣ онъ уклонился, выводъ получится отнюдь не восторженный. И мы логически должны признать *Мысли и Воспоминанія* не исторіей, а чисто юридической рѣчью pro domo sua. Бисмаркъ строилъ себѣ памятникъ нерукотворный, тщательно выбирая подходящій матеріалъ, свободно обтесывая камни и невозбранно возвышая пьедесталъ до какихъ угодно размѣровъ. Въ результатѣ получилась книга, требующая многочисленныхъ критическихъ примѣчаній, предстала предъ читателемъ *парадная* фигура на чрезвычайно искусно обставленной сценѣ.

Мы попытаемся представить героя и пьесу въ менѣе торжественной и болѣе естественной картинѣ. Никакихъ экстренныхъ откровеній и углубленій въ государственныя тайны намъ не потребуется: мы просто припомнимъ факты, или опущенные самимъ

*) *Nuova Antologia*, 1899, 16 gennaio, p. 314.
**) *Deutsche Rundschau*, 1898, September.

Бисмаркомъ, или оставленные имъ безъ должнаго освѣщенія. Работа въ высшей степени поучительная: она лишній разъ покажетъ намъ, на какихъ пьедесталахъ красуются обыкновенно сверхъчеловѣки и какой смыслъ имѣетъ эта красота для всего бѣднаго человѣчества.

II.

Поклонники Бисмарка чаще всего выставляютъ на видъ одно достоинство своего героя: ясное сознаніе своихъ цѣлей и неуклонное стремленіе къ нимъ. Это—*воплощенная воля*, направленная по строго опредѣленному, безусловно неизмѣнному и для всѣхъ ясному плану: Гогенцоллерны должны неограниченно владычествовать надъ Пруссіей, Пруссія надъ Германіей, Германія надъ Европой. Вотъ и вся политика и философія Бисмарка, она дана ему самой природой, она тождественна съ его инстинктами, можно сказать, сливается съ его непосредственными вкусами и физическими влеченіями. А такъ какъ инстинктъ не станетъ вступать въ сдѣлки, подчиняться идеѣ или нравственному чувству, то и цѣльность бисмарковской дѣятельности обезпечена ея основнымъ вдохновляющимъ мотивомъ.

И цѣльность дѣйствительно поразительная!

Нѣкоторое время Бисмаркъ находится на распутьѣ. Въ университетѣ онъ учится плохо, не разъ проваливается на экзаменахъ, беретъ даже репетитора и сдаетъ государственный экзаменъ, но какъ и когда—остается неизвѣстнымъ. Вообще научный багажъ самый легковѣсный, но зато двадцать восемь дуэлей, почетная рана въ лицо и бурный неукротимый характеръ. Онъ мѣшаетъ Бисмарку приспособиться къ какой бы то ни было службѣ, требующей подчиненія. Бисмаркъ задыхается въ чиновничьей канцеляріи, возстаетъ противъ военной дисциплины и спасается на годъ въ деревню. Здѣсь бѣшеная скачка верхомъ смѣняется оргіями, Бисмаркъ быстро во всей округѣ пріобрѣтаетъ славу перваго кутилы, о величинѣ его пивной чаши разсказываютъ легенды и эта популярность нагоняетъ такой ужасъ на чинныхъ матерей семействъ, что Бисмаркъ рискуетъ получить отказъ въ рукѣ любимой дѣвушки. На его счастье, молодая особа держалась совсѣмъ другого взгляда на подвиги своего поклонника, чѣмъ мать, и счастливый бракъ состоялся.

Одновременно открывается политическая карьера. Бисмаркъ является въ прусскій сеймъ. Ему предшествуетъ извѣстность отчаяннаго охотника и любителя шумныхъ кутежей, но это было не все. Члены сейма, да, вѣроятно, и собутыльники Бисмарка не знали, что онъ какимъ-то путемъ ухитрился перечитать множество нужныхъ ему книгъ, по исторіи Германіи и Англіи, углублялся даже въ старинныя лѣтописи, отыскивая всюду германскій духъ и открывая его, разумѣется, въ полномъ соотвѣтствіи съ своими гогенцоллернскими страстями. Теперь онъ явился во всеоружіи фактовъ и цифръ, заранѣе предвкушая обязательную побѣду надъ идеологами и конституціоналистами. Гигантскій ростъ,

совершенно демократическое лицо съ громадными сѣрыми глазами, обладавшими способностью смущать и очаровывать и при этомъ непобѣдимая самоувѣренность стараго дуэлиста и искателя приключеній: сеймъ немедленно почувствовалъ вліяніе нѣкоего мощнаго духа въ первыхъ же рѣчахъ Бисмарка.

Онъ не преминулъ изложить свою откровенную исповѣдь и безъ всякихъ колебаній заявилъ себя рѣшительнымъ реакціонеромъ. Онъ дерзнулъ отрицать фактъ, всѣми признанный, будто Пруссія со временъ борьбы противъ Наполеона желаетъ конституціи. Ничего подобнаго! Она просто хотѣла прогнать врага и жить по старому со своими королями... Услышавъ такую ересь, сеймъ пришелъ въ негодованіе, крики покрыли рѣчь оратора, но ни на минуту не смутили его: онъ преспокойно вынулъ изъ кармана газету и принялся читать ее, пока народные представители шумѣли. Когда шумъ прекратился, Бисмаркъ началъ снова свою рѣчь и закончилъ ее съ надлежащимъ эффектомъ: «Мнѣ напоминаютъ, что я молодъ и что я еще ничего не сдѣлалъ для страны, будьте покойны, можетъ быть, не далекъ день, когда я сдѣлаю все, чего я, по вашимъ упрекамъ, не сдѣлалъ».

Это происходило наканунѣ іюльской революціи. Вѣтеръ дулъ, повидимому, совсѣмъ не въ сторону отважнаго монархиста. Парижскія событія обезпокоили прусскаго короля Фридриха-Вильгельма IV: переворотъ онъ приписывалъ недостатку либерализма въ правленіи Людовика-Филиппа. Бисмаркъ думалъ совершенно иначе—точь-въ-точь, какъ Наполеонъ во время великой революціи. Онъ дрожалъ отъ гнѣва при одной мысли о побѣдѣ улицы надъ войскомъ. Онъ не понималъ, почему король не очистилъ города хорошимъ залпомъ изъ митральезы? Этого мало: въ сущности слѣдовало бы уничтожить всѣ большіе города, какъ очаги революцій. У Бисмарка спросили, какъ бы онъ распорядился, находясь у власти? «Висѣлица была бы на очереди дня»,—отвѣчалъ будущій канцлеръ и не преминулъ подтвердить свою идею на дѣлѣ.

Онъ страстно возсталъ противъ амнистіи участникамъ мартовской революціи. Онъ подвергъ жестокому издѣвательству теоретическихъ политиковъ: «Они со временъ *Общественнаго договора* Руссо ничему не научились и ничего не забыли и ихъ фантазіи въ полгода стоили націи больше крови, денегъ и слезъ, чѣмъ абсолютизмъ въ теченіе тридцати трехъ лѣтъ». Очевидно, на языкѣ Бисмарка не была пустымъ словомъ *висѣлица* и не для мелодраматическихъ эффектовъ онъ говорилъ о крови и мести. Ежеминутно онъ лично готовъ былъ отмстить и пролить кровь.

Однажды, вечеромъ, въ пивной одинъ изъ посѣтителей дурно отозвался о королевской семьѣ. Бисмаркъ всталъ съ мѣста и крикнулъ: «Убирайтесь вонъ; если вы не уйдете, пока я опорожню эту кружку, я разобью ее о вашу голову!» Несчастный не повѣрилъ угрозѣ, но Бисмаркъ, спокойно выпивъ пиво, разбилъ кружку о черепъ либерала и тотъ упалъ, обливаясь кровью.

Даже король чувствовалъ себя неловко предъ этимъ средневѣковымъ забіякой. Бисмаркъ это зналъ и будто гордился оторопью своего повелителя: онъ особенно громко провозглашалъ себя

сторонникомъ обскурантизма и средневѣковыхъ убѣжденій. Король не могъ остаться безучастнымъ къ такому самоотверженному оруженосцу его правъ, и будущее Бисмарма было обезпечено. Онъ является на франкфуртскомъ общегерманскомъ сеймѣ и впервые усвоиваетъ глубокую личную ненависть къ Австріи. Онъ всюду сталкивается съ ея притязаніями и оскорбительной надменностью ея представителей. Его прусское сердце переполняется гнѣвомъ. Онъ теперь безповоротно убѣждается въ необходимости выбросить Австрію изъ германскаго союза, унизить ее и подчинить прусскому вліянію. Онъ считаетъ все это вполнѣ достижимымъ. Именно теперь онъ постигаетъ все ничтожество пышныхъ раззолоченныхъ фигуръ, именуемыхъ дипломатами. Его письма къ женѣ переполнены истинно-художественными насмѣшками надъ глубокомысленными вершителями народныхъ судебъ. «Пришлите мнѣ,—пишетъ онъ,—мыловара или школьнаго учителя, вымойте и причешите ихъ и я надѣлаю вамъ изъ нихъ дипломатовъ... Трудно себѣ представить, сколько ничтожества и шарлатанства заключается въ дипломатіи».

Это вступительное разсужденіе къ внѣшней политикѣ. Одновременно Бисмаркъ запасается свѣдѣніями и для будущей министерской и канцлерской дѣятельности. Свѣдѣнія не новыя, но франкфуртскій сеймъ даетъ особенно богатый матеріалъ. Въ письмахъ къ женѣ иронія распредѣляется поровну по адресу дипломатовъ и депутатовъ. Всѣ они одинаково забавны, воображая себя значительными фигурами, и Бисмаркъ не пропускаетъ случая подмѣтить смѣшную или жалкую черту у ненавистныхъ ему людей всюду—въ сеймѣ, на улицѣ, на балу. Онъ не отказывается отъ развлеченій, его считаютъ даже слишкомъ легкомысленнымъ, онъ, повидимому, большой любитель танцевъ и пустой свѣтской болтовни, но наивные судьи не понимаютъ тонкихъ разсчетовъ веселаго пруссака. Онъ всюду бываетъ затѣмъ, чтобы все видѣть и обо всемъ имѣть личное сужденіе. Не виноватъ же онъ, что дипломатовъ приходится изучать преимущественно на балахъ и въ концертахъ! При случаѣ онъ не затрудняется дать понять, чего онъ стоитъ въ качествѣ прусскаго представителя. Вся Германія была взволнована сценой съ президентомъ сейма, австрійскимъ депутатомъ графомъ Туномъ.

Графъ принялъ Бисмарка, какъ существо низшей расы, не предложилъ ему сѣсть и, не выпуская изо рта сигары. Бисмаркъ самъ пододвинулъ себѣ кресло, вынулъ сигару и попросилъ у Туна огня. Австріецъ онѣмѣлъ отъ изумленія. То же самое произошло и въ самомъ сеймѣ. До Бисмарка президентъ пользовался исключительной привилегіей—курить во время засѣданій. Бисмаркъ и здѣсь обратился къ Туну съ просьбой огня. Это было цѣлымъ событіемъ. Представители немедленно сообщили о немъ своимъ правительствамъ и спустя полгода послѣдовало распоряженіе отъ лица всѣхъ нѣмецкихъ государей курить ихъ депутатамъ въ сеймѣ наравнѣ съ президентомъ. Депутаты, никогда не курившіе, вынуждены были начать курить въ интересахъ политики.

Такой менѣе всего легкомысленный эффектъ могъ вызвать

прусскій «освистанный депутатъ»! Даже король затруднялся сначала послать его въ столь важное собраніе, теперь онъ съ любовью слѣдилъ за дѣятельностью своего рыцаря. А Бисмаркъ усиленно изучалъ людей и обстоятельства. Отъ его проницательности не ускользала никакая слабость и ошибки. Одаренный невозмутимой трезвостью взгляда, онъ всегда умѣлъ изъ-за внѣшняго блеска распознать печальную дѣйствительность. Никакое театральство, никакое краснорѣчіе не могли подкупить наблюдателя, и онъ съ первой же встрѣчи съ Наполеономъ III произнесъ убійственный приговоръ. Онъ проникъ въ мелкую и бездарную натуру цезаря, въ его запутанномъ, хотя подчасъ и очень эффектномъ краснорѣчіи распозналъ отсутствіе ясныхъ идей и точно установленныхъ цѣлей, а главное, онъ присмотрѣлся къ общимъ порядкамъ императорской Франціи, оцѣнилъ по достоинству ея армію и оставилъ Парижъ съ твердымъ убѣжденіемъ, что часъ имперіи и самой Франціи пробьетъ въ недалекомъ будущемъ.

Тѣ же наблюденія и въ Вѣнѣ, и въ Петербургѣ. Разсказъ о пребываніи Бисмарка въ русской столицѣ—одна изъ любопытнѣйшихъ главъ его книги, и любопытна она прежде всего совершенно не дипломатическимъ отношеніемъ посла къ той средѣ, гдѣ ему пришлось дѣйствовать въ качествѣ министра своего государя. Недаромъ онъ такъ безпощадно издѣвался надъ заурядными дипломатами, онъ самъ является въ чужую страну не затѣмъ, чтобы получать и представлять ноты и циркуляры, онъ желаетъ знать народъ и его правительство и притомъ изъ первоисточниковъ, а не по придворнымъ и закулиснымъ сплетнямъ. Онъ не пропуститъ случая побесѣдовать съ крестьяниномъ, старымъ солдатомъ—и—такое ему счастье!—всюду онъ встрѣтитъ оправданіе своихъ политическихъ сочувствій и ненавистей. Московскій унтеръ-офицеръ, украшенный кульмскимъ крестомъ, поразитъ его своей враждой противъ Австріи, засвидѣтельствуетъ такимъ образомъ истинное отношеніе русскаго народа къ «фальшивому другу». Другія наблюденія также укрѣпятъ Бисмарка въ необходимости вѣчнаго мира съ Россіей, близкой войны съ Австріей и вѣчныхъ раздоровъ съ Франціей. Программа все прежняя, только подтвержденная новыми данными.

Къ шестидесятымъ годамъ, т. е. ко времени вступленія Вильгельма на прусскій престолъ, политическое воспитаніе Бисмарка закончено во всѣхъ подробностяхъ. Онъ попрежнему не вызываетъ довѣрія у старыхъ хитроумныхъ политиковъ. Надъ нимъ почти смѣются, Наполеонъ именуетъ его «безумцемъ», императрица Евгенія—«чудакомъ», французскіе министры—«не серьезнымъ человѣкомъ». И, повидимому, основательно. Бисмаркъ говоритъ совершенно громко самыя рискованныя вещи: истинный дипломатъ побоялся бы даже увидѣть ихъ во снѣ. Онъ кричитъ о союзѣ Франціи съ Пруссіей для совмѣстнаго дѣлежа плохо лежащаго чужого имущества. Онъ предлагаетъ Наполеону овладѣть Бельгіей и помочь объединенію Германіи. Наполеона очаровываютъ столь смѣлые планы, онъ внимательно прислушивается къ рѣчамъ Бисмарка, становится повѣреннымъ его тайнъ. А въ это

время Бисмаркъ пишетъ о немъ: «издали это—еще кое-что, вблизи это—ничто. Сначала я его самъ-было слишкомъ переоцѣнилъ, на самомъ дѣлѣ это большая непризнанная бездарность»:

Впослѣдствіи Наполеону придется еще дороже расплатитьсн за конфиденціальныя бесѣды съ «безумцемъ». Въ видѣ предисловія къ франко-прусской войнѣ Бисмаркъ опубликуетъ въ «Times» fac-similé своего договора съ Наполеономъ и подниметъ все общественное мнѣніе противъ Франціи. Вообще, ему везетъ насчетъ глупой дичи. Такую же исторію онъ продѣлаетъ раньше съ австрійскими дипломатами, заручится отъ нихъ предложеніемъ—подѣлить между Австріей и Пруссіей нѣкоторыя германскія герцогства. Документъ также будетъ опубликованъ въ нужную минуту, именно во время австро-прусской войны, и вызоветъ вражду всей Германіи противъ коварства Австріи.

Нечего и говорить, конечно, откуда исходило это коварство. Австрія и Наполеонъ просто попадались въ ловушки согласно основному убѣжденію Бисмарка въ ничтожествѣ и ограниченности дипломатовъ. И легко представить, какъ глубоко укоренялось въ душѣ удачливаго охотника презрѣніе къ неразумному человѣчеству! Это чувство—самый могущественный вдохновитель на головокружительныя предпріятія, и чѣмъ ближе Бисмаркъ знакомится съ людьми, тѣмъ отважнѣе становятся его планы. Онъ, опять подобно Наполеону, превращается въ азартнаго игрока, ставитъ на карту сотни тысячъ жизней, судьбу государства и свою собственную особу. Бисмаркъ можетъ долго и съ любовью сплетать искусныя сѣти, вести сложную дипломатическую интригу, но только затѣмъ, чтобы, наконецъ, нанести противнику молніеносный ударъ. Онъ по природѣ берсеркеръ и его высшее счастье—сокрушительная энергія дѣйствій, а не тонкая логика рѣчей. До поры до времени онъ можетъ дурачить австрійскихъ и французскихъ дипломатовъ, но онъ уже давно публично объявилъ, что великіе вопросы времени рѣшаются не фразами, а желѣзомъ и кровью. Убаюкавъ бдительность и жадность Наполеона, Бисмаркъ разгромилъ Данію. Это—начало, слѣдующая очередь Австріи. Предварительно прусскій министръ справится, насколько перемѣнились настроенія Наполеона. Изслѣдованія оказываются благопріятными: резонерствующій авантюристъ все также близорукъ и смѣшенъ,—онъ не пойметъ смысла австро-прусской борьбы и допуститъ униженіе Австріи, ни на минуту не задумавшись надъ собственной участью.

Какая драма эта междоусобная война двухъ нѣмецкихъ державъ! Ее въ Германіи называютъ братоубійственной, король и особенно королева противъ нея, даже армія не чувствуетъ энтузіазма идти противъ вчерашняго союзника и единоплеменника. Бисмаркъ въ полномъ смыслѣ играетъ на все свое будущее, и онъ это понимаетъ. Онъ уѣзжаетъ изъ Берлина съ твердымъ рѣшеніемъ не вернуться, если Пруссія не побѣдитъ. Онъ присоединяется къ арміи, присутствуетъ въ сраженіяхъ и позже издѣвается надъ своими излюбленными жертвами—дипломатами, объявляющими войну въ креслахъ у камина и не имѣющими по-

нятія о крови живого человѣка. Онъ покидаетъ короля въ дурномъ настроеніи, и это не мѣшаетъ ему объявить публично: «король откажется отъ престола, если мы будемъ побиты». Бельгійскому посланнику онъ обѣщаетъ: «Если мы потерпимъ неудачу, я дамъ себя изрубить саблями въ послѣдней стычкѣ».

И онъ переживаетъ страшныя минуты на поляхъ битвъ! Онъ ведетъ себя истиннымъ героемъ, не спускаетъ глазъ съ дѣла, имъ вызваннаго, ни на одно мгновеніе не забываетъ о личной отвѣтственности. Здѣсь Бисмаркъ дѣйствительно великъ и дипломатическій корпусъ всей Европы, со всѣми его историческими bons mots и изяществомъ французскаго стиля—кучка пигмеевъ предъ этимъ геніемъ воли и мужества. Въ теченіе тринадцати часовъ при Садовой онъ не сходитъ съ лошади. Исходъ битвы зависитъ отъ появленія арміи кронпринца. Она медлитъ, рѣшительный часъ насталъ, Бисмаркъ видитъ предъ собой пропасть, онъ заряжаетъ пистолеть и закуриваетъ сигару. Сраженіе продолжается; если онъ выкуритъ сигару и кронпринцъ не явится, онъ покончитъ съ собой. Уже раздаются побѣдные крики австрійцевъ, но судьба за смѣлыхъ; въ самую послѣднюю минуту кронпринцъ бросается на австрійцевъ, битва выиграна, и игра Бисмарка закончена съ блескомъ и славой. Онъ засыпаетъ, какъ мертвый, безъ постели и подушки, среди грязи, но счастливый и отнынѣ единовластный.

Такой же рѣшительный ходъ игрока и франко-прусская война. Въ теченіе многихъ лѣтъ Бисмаркъ опутывалъ Наполеона несбыточными перспективами, льстилъ его мнимому всемогуществу, поощрялъ самыя нелѣпыя притязанія, отлично понимая полное безсиліе Франціи осуществить ихъ. Бисмаркъ умѣлъ лучше Наполеона и французскихъ генераловъ изучить военное положеніе имперіи, въ прусскомъ военномъ штабѣ имѣлись несравненно болѣе точныя свѣдѣнія о французской арміи, чѣмъ во французскомъ военномъ министерствѣ, и здѣсь знали глиняный пьедесталъ бонапартовскаго колосса. Наполеонъ имѣлъ глупость самолично сочинять договоры, способные погубить его въ глазахъ Европы, его министры держались величественнаго тона, не имѣя за собой никакой реальной силы. При такихъ условіяхъ Бисмарку дешево стоило разгорячить самолюбіе французовъ и натолкнуть ихъ на роль зачинщиковъ брани. Достаточно перваго случая, разъ Бисмаркъ былъ увѣренъ въ несомнѣнномъ превосходствѣ прусской арміи надъ французской.

Въ свое время громадное впечатлѣніе на весь міръ произвело разоблаченіе бисмарковской продѣлки наканунѣ объявленія войны. Ее подробно разсказываетъ самъ герой съ видимымъ упоеніемъ. И дѣйствительно, тонкость работы образцовая: стоило посвятить даже отдѣльную главу *Эмской депешѣ*.

Какъ извѣстно, вопросъ шелъ о кандидатурѣ гогенцоллернскаго принца на испанскій престолъ. Наполеонъ воспротивился и кандидатура была устранена. Но французское правительство, продолжавшее грезить старымъ бонапартовскимъ авторитетомъ надъ послушной Европой, потребовало отъ короля Вильгельма

«гарантіи на будущее». Бисмаркъ пришелъ въ восторгъ, узнавъ объ этой фанфаронадѣ. Но препятствіе заключалось въ миролюбіи короля: ему и на умъ не приходило разрывать съ Франціей. Онъ совершенно невинно приказалъ своему адъютанту передать французскому послу, что онъ считаетъ вопросъ рѣшеннымъ и ничего больше не имѣетъ сообщить ему.

Все это происходило въ Эмсѣ; Бисмаркъ, Мольтке и Роонъ находились въ Берлинѣ и ждали съ мучительнымъ нетерпѣніемъ развязки. Пришла телеграмма, застала воинственный тріумвиратъ, за обѣдомъ и повергла его въ уныніе. У Мольтке и Роона пропалъ даже аппетитъ, но Бисмаркъ быстро опомнился, взялъ карандашъ и принялся редактировать отчетъ о событіи. Онъ не измѣнилъ и не прибавилъ въ телеграммѣ ни одного слова, слегка только ретушировалъ форму. По телеграммѣ выходило, что король лишь въ *данный моментъ*, на водахъ, отказался *продолжать* переговоры, въ Берлинѣ они могутъ быть возобновлены; редакція Бисмарка придавала отказу рѣшительный характеръ: король *не пожелалъ принять* французскаго посла и этимъ безусловно оскорбительнымъ актомъ закончилъ инцидентъ.

Когда Бисмаркъ прочиталъ свое произведеніе Мольтке и Роону, тѣ пришли въ восторгъ и заявили, что телеграмма звучала какъ *отбой*, а сообщеніе Бисмарка играетъ *наступленіе*. Бисмаркъ еще болѣе подогрѣлъ радость пріятелей, объявивъ имъ, что онъ сообщитъ свой текстъ въ газеты и всѣмъ прусскимъ посольствамъ. Это произведетъ «впечатлѣніе краснаго платка на галльскаго быка», и Пруссія окажется стороной *вызванной*, а не *вызывающей*, что̀ и требовалось для завоеванія общественнаго мнѣнія Европы и либеральныхъ ораторовъ.

Генералы возвеселились, какъ школьники, принялись ѣсть, пить и «говорить въ веселомъ духѣ», какъ выражается Бисмаркъ. Мольтке, вѣчно безмолвный и пассивный—билъ себя въ грудь и выкрикивалъ горячія фразы... Судьба Франціи была рѣшена.

Существуетъ особое сочиненіе, изображающее Бисмарка во время франко-прусской войны. Написано оно его личнымъ секретаремъ—Бушемъ *) и полно поучительнѣйшихъ сообщеній. Бисмаркъ вырисовывается здѣсь весь и окончательно, и портретъ любопытенъ не только самъ по себѣ, но и вообще для человѣческой психологіи. Мы знаемъ, конечно, что Бисмаркъ страстный патріотъ и насъ не удивитъ его сострадательное, даже нѣжное чувство къ нѣмецкимъ солдатамъ. Но намъ трудно помирить какой угодно патріотизмъ съ кровожадной *расовой* ненавистью. Бисмаркъ во время войны свирѣпостью превзошолъ всѣхъ вождей германской арміи. Отъ начала до конца онъ вѣчно ссорится съ генеральнымъ штабомъ изъ-за его, будто бы, слишкомъ гуманнаго отношенія къ французамъ. Онъ настаиваетъ, чтобы огонь и мечъ не уставали истреблять враговъ, деревни выжигались, населеніе

*) Bismarck und seine Leute während des Kriegs 1870—1871. Существуетъ франц. переводъ: *Le comte de Bismarck et la suite pendant la guerre de France 1870—1871.* Paris. 1879.

вѣшалось при всякомъ подозрѣніи въ «измѣнѣ». Онъ негодуетъ, что слишкомъ много людей берутъ въ плѣнъ: ихъ слѣдуетъ разстрѣливать на мѣстѣ. Онъ не допускаетъ и бѣглецовъ: оставленные дома должны быть разрушены, имущество конфисковано. Онъ съ удовольствіемъ любуется на горящія зданія, гдѣ подъ развалинами тлѣютъ трупы, и шутитъ на счетъ «жаренаго луку». Подъ-Парижемъ онъ настаиваетъ, чтобы солдаты стрѣляли по бѣднякамъ, выходившимъ за городъ отрывать изъ подъ снѣга картофель. Онъ требуетъ бомбардировки столицы и даже ссорится съ Мольтке, который считалъ безцѣльнымъ разрушать Парижъ и истреблять его населеніе...

Бисмаркъ могъ быть доволенъ собой: даже въ средніе вѣка онъ могъ бы разсчитывать на довольно рѣдкую славу... Но какъ бы то ни было, зданіе увѣнчано. Въ зеркальной залѣ версальскаго дворца германскіе государи провозгласили прусскаго короля императоромъ. Въ этотъ день—18 января 1871 года—началась новѣйшая исторія Европы, съ истинномъ смыслѣ исторія культурнаго міра конца вѣка.

III.

Въ дневникѣ кронпринца Фридриха, очевидца провозглашенія германской имперіи, описывается приснопамятная сцена довольно неожиданными красками: Бисмаркъ прочиталъ документъ «голосомъ монотоннымъ, безучастнымъ, будто докладчикъ», блѣдность не сходила съ его лица...

Странно! Великій человѣкъ достигалъ вѣнца своихъ стремленій, и такой голосъ, и такое лицо... Не могло же его смутить сопротивленіе баварскаго короля, равнодушіе и даже отчасти нежеланіе самого Вильгельма быть императоромъ—осуществлять мечту профессоровъ и либераловъ и впослѣдствіи считаться съ парламентомъ и даже всеобщей подачей голосовъ. Ни Людвигъ II, ни Вильгельмъ I не могли разстроить Бисмарка; надо думать, совсѣмъ другія обстоятельства отравляли его торжество.

Въ самомъ дѣлѣ, что получалось въ результатѣ побѣдоносныхъ дипломатическихъ и военныхъ походовъ? Ни болѣе, ни менѣе, какъ революціонный разрывъ со всѣми драгоцѣннѣйшими для Бисмарка прусскими и гогенцоллернскими основами. Въ 1849 году прусскій король съ презрѣніемъ отвергъ императорскую корону, предложенную ему народнымъ представительствомъ. Теперь онъ получалъ ту же корону отъ принцевъ, но далеко не безвозмездно. Всеобщая подача голосовъ—идея, по существу противная всѣмъ инстинктамъ и убѣжденіямъ Бисмарка. Дальше, единство, провозглашенное прокламаціей къ народу, не уничтожало почеркомъ пера исконныхъ нѣмецкихъ наклонностей къ обособленію. Не даромъ исторія создала на почвѣ Германіи десятки государствъ: это дробленіе, очевидно, соотвѣтствовало національному германскому духу, и уничтожить его политикой или войной—внѣ человѣческихъ силъ. Наконецъ, во главѣ имперіи становился протестантскій государь, и милліоны католиковъ врядъ ли могли

видѣть провиденціальный актъ въ этомъ событіи. Очевидно, народъ, церковь, государи и всѣ эти силы, по своимъ историческимъ задачамъ и путямъ, отнюдь не представляли благодарной почвы для чисто-прусскаго гогенцоллернскаго владычества. И Бисмарку немедленно предстояло вступить въ совершенно другую борьбу—не съ дипломатами и придворными интригами, а съ внутренними національными теченіями—умственными, политическими и экономическими.

За предѣлами версальскаго мира предъ нами встаетъ другой Бисмаркъ, точнѣе прибавляется новая основная черта къ его личности и дѣятельности. Старая, знакомая намъ, остается по прежнему, Бисмаркъ неизмѣнно побѣдоносенъ въ своихъ столкновеніяхъ съ дипломатами и всякаго рода сановниками. Одинъ князь Горчаковъ было не угодилъ канцлеру, зато какими же насмѣшками осыпалъ его раздраженный и избалованный владыка европейской политики, сколько ѣдкихъ замѣтокъ посвятилъ онъ его «ревности» и «соперничеству» въ своихъ *Воспоминаніяхъ*, а главное, съ какой утонченной, но безпощадной жестокостью отомстилъ онъ ему на берлинскомъ конгрессѣ! И все это за то, что русскій канцлеръ осмѣлился принять на себя отвѣтственность за рѣшительное нежеланіе Александра II допустить новый разгромъ Франціи!.. Но это—лишь эпизодъ: все остальное въ дипломатическомъ мірѣ волновалось и укрощалось подъ взоромъ Бисмарка, будто море подъ трезубцемъ и окрикомъ Нептуна.

И Бисмаркъ упражнялся въ хитроумнѣйшихъ комбинаціяхъ на полной свободѣ. Безъ обмана и лицедѣйства дѣло не обходилось, и въ 1884 году Бисмаркъ совершилъ въ этомъ направленіи одинъ изъ самыхъ блестящихъ дипломатическихъ шедевровъ, заключилъ съ Россіей договоръ о взаимномъ нейтралитетѣ на случай нападенія Франціи на Германію или Австріи на Россію. Это была кровная обида для тройственнаго союза, но въ дипломатіи подобныя случайности только des petits expédiens. Здѣсь нѣтъ ни принциповъ, ни партій, и уменъ тотъ, кто умѣетъ пользоваться фактами и положеніями, независимо отъ договоровъ и обязательствъ. И Бисмаркъ—по истинѣ геніальный виртуозъ на этомъ поприщѣ, неподражаемый и неуловимый. Могъ же онъ послѣ берлинскаго конгресса публично хвастать своими громадными услугами Россіи и правомъ на высшій русскій орденъ! И *фактически* возразить было нечего: такъ тонко, по выраженію того же Бисмарка, желудокъ Россіи былъ освобожденъ отъ излишней—неперевари мой—будто бы, для него пищи...

И дипломаты, надо думать, прямо рождались готовыми famulus'ами германскаго канцлера. Это его личный штатъ, какая-нибудь конференція—его классная комната, его нота—приказъ и урокъ, и можно сказать: Европа обожаетъ и слушается Бисмарка. Американскій посолъ въ Берлинѣ, долго наблюдавшій дѣятельность канцлера, высказалъ свое сужденіе въ очень остроумной формѣ: «Я въ особенности восхищаюсь одной способностью Бисмарка: покажите ему лошадь или иностраннаго посла, онъ немедленно, послѣ краткаго осмотра, скажетъ вамъ, есть ли у

лошади тайный порокъ и какою слабостью посла можно пользоваться». И въ Европѣ, по словамъ французскаго политика, не осталось ни одной державы, на которой Бисмаркъ не игралъ бы, какъ на флейтѣ.

Это не точно: одна держава не поддалась музыкальному таланту канцлера, именно Германія. Вся жизнь Бисмарка послѣ франко-прусской войны поразительное зрѣлище, изъ двухъ одновременно идущихъ пьесъ: въ одной канцлеръ траумфаторъ, гордый, ясный, иногда по юпитеровски гнѣвный, въ другой—озлобленный, часто мелко-мстительный, нерѣдко разочарованный боецъ, обязанный быть вѣчно во всеоружіи и своего государственнаго таланта, и простой административной власти. Одинъ иностранецъ, большой знатокъ въ современной исторіи Германіи, по поводу Бисмарка высказалъ очень лестное сравненіе: бываютъ люди, чрезвычайно уважаемые въ обществѣ, во всемъ и вездѣ разсудительные, способные упорядочить всякое общественное дѣло, а дома самые несчастные мужья и неудачливые хозяева. Жена презираетъ почтеннаго дѣятеля, не признаетъ его талантовъ и ума, дѣти смѣются надъ нимъ, и именно у семейнаго очага онъ безсиленъ и жалокъ.

Такъ и Бисмаркъ. Отлично справляясь съ цѣлой Европой, онъ совсѣмъ непризнанный пророкъ въ рейхстагѣ и среди милліоновъ нѣмцевъ. Геній, окружавшій его неувядаемой славой въ дипломатическихъ поединкахъ, принесъ ему сугубый вредъ въ стѣнахъ отечественнаго парламента. Тамъ вызывали общее удивленіе ловкія одурачиванья, легкія и тяжкія перемѣны чувствъ, доблестное заушеніе принциповъ и обязательствъ, здѣсь оказалось все наоборотъ. Когда Бисмаркъ игралъ двойную игру съ Австріей и Россіей, онъ могъ спокойно хвастаться: «Я держу за ошейники двухъ страшныхъ геральдическихъ звѣрей. Я ихъ разъединяю: во-первыхъ, затѣмъ, чтобы они не передрались другъ съ другомъ, а потомъ, чтобы они не сговорились разорвать насъ». Очень ловко! Но стóило перенести эту политику въ рейхстагъ, немедленно приходилось конфузиться и терпѣть самыя досадныя укоризны и неудачи.

Ненавистные народные представители требовали какихъ-то опредѣленныхъ идей, принциповъ, какой-то вѣрности одной какой-нибудь партіи и жестоко клеймили всякую попытку перебѣжать справа налѣво, или наоборотъ. Когда Бисмаркъ заключалъ двусторонній договоръ съ двумя державами, знатоки дѣла повергались въ изумленіе и зависть, но когда тотъ же Бисмаркъ сегодня ссорился съ католиками и покровительствовалъ либераламъ, а на слѣдующій день дѣлалъ авансы центру и воевалъ съ лѣвой, отечество не желало увѣнчать его гражданскимъ вѣнкомъ. Конечно, у Бисмарка были основанія кочевать съ одной стороны рейхстага на другую: либералы надобились для «майскихъ законовъ» противъ католиковъ и папы, а католики, въ свою очередь, стали необходимы для проведенія табачной монополіи. Но это не казалось убѣдительнымъ парламенту. Вѣдь майскіе законы, по увѣренію Бисмарка, охраняли цѣлость имперіи, даже больше—защищали цивилизацію отъ римскаго мрака и деспотизма. Такъ и сама борьба называлась *культурной—Kulturkampf*. И, пожалуй,

справедливо. Папа, лишенный свѣтской власти, объявилъ врагами Бога и церкви всѣхъ сочувствующихъ этому событію. Государи, не вооружившіеся противъ новаго итальянскаго королевства, лишались божьей благодати для своей власти и въ Германіи находились епископы, готовые, по ихъ словамъ, ниспровергать троны и поднимать революціи.

Пій IX былъ достаточно фанатиченъ, чтобы поощрять страсти своихъ «дѣтей», и Бисмаркъ имѣлъ право защищаться. Церкви и школы подчинялись государственному надзору, вводился гражданскій бракъ, и узаконялись мѣры противъ непокорныхъ епископовъ и священниковъ. Заодно и протестантское духовенство лишалось власти надъ школами: Бисмаркъ создавалъ многочисленную партію, враждебную ему лично и политически, партію *центра*. Это въ высшей степени усложнило положеніе канцлера. Ему теперь приходилось составлять большинство чуть не на каждый важный случай и онъ бралъ сторонниковъ, гдѣ только удавалось. Естественно, внутренняя политика превращалась въ рядъ сдѣлокъ, уступокъ, и если онѣ не достигали цѣли на сцену выступало императорское посланіе о распущеніи рейхстага и беззастѣнчивое давленіе правительства на выборы. Выдвигался во всемъ ужасѣ призракъ французскаго или казацкаго нашествія на Германію, печать била тревогу, взывала къ патріотизму бюргеровъ и особенно къ ихъ пугливымъ инстинктамъ, и вопросъ о большинствѣ для Бисмарка отождествлялся съ вѣрностью отечеству и судьбой самой имперіи и націи.

Нужны ли были столь энергичныя мѣры, создавшія *черную партію?* Вѣдь оказалось же возможнымъ впослѣдствіи въ сильнѣйшей степени смягчить майскіе законы, возвратить по приходамъ изгнанныхъ священниковъ и даже предоставить епископамъ извѣстную самостоятельность въ замѣщеніи должностей. Культурная борьба, слѣдовательно, окончилась уступками, Бисмаркъ не смогъ выполнить своей знаменитой похвальбы: «мы не пойдемъ въ Каноссу». Но эта борьба, сравнительно, второстепенный и временный вопросъ. Бисмарку пришлось имѣть дѣло съ несравненно болѣе могучимъ и, на этотъ разъ, буквально—народнымъ теченіемъ. И здѣсь въ особенности его политика даетъ яркое представленіе о величинѣ его государственнаго ума.

Бисмаркъ вернулся въ Германію послѣ франко-прусской войны подъ сильнымъ впечатлѣніемъ парижской коммуны. Идеи Карла Маркса не давали остыть ужасу. Протекціонистская политика, служившая Бисмарку средствомъ укрощать оппозицію католическихъ фабрикантовъ и промышленниковъ, вызвала сильный протестъ демократіи. Нако ецъ, разразились покушенія на императора. Виновники ихъ вовсе не принадлежали къ соціалистской партіи,—одинъ просто бродяга, торговавшій даже брошюрами пастора Штёкера, а другой—націоналъ-либералъ. Но событія взволновали бюргерскую массу и Бисмаркъ выступилъ горячимъ выразителемъ настроенія—проектъ исключительныхъ законовъ былъ готовъ въ нѣсколько дней.

Рейхстагъ услышалъ потрясающія вещи. Самъ «великій мол-

чальникъ» Мольтке напалъ на либераловъ и даже умѣреннаго и вѣрноподданнаго вождя національ-либераловъ Беннигсена обвинилъ въ коммунарскихъ замыслахъ. Воинъ хватилъ черезъ край, Беннигсенъ поднялъ его на смѣхъ, рейхстагъ не послѣдовалъ за правительствомъ и былъ распущенъ.

Въ странѣ воцарился терроръ. Аресты, обыски, конфискаціи, доносы нависли тучей надъ культурной націей. Вѣрноподданные, входя въ пивныя, кричали: «да здравствуетъ императоръ!»—и кто не вскакивалъ съ мѣста, того влекли въ судъ за оскорбленіе величества. На помощь администраціи пришли фабриканты и заводчики. Они терроризировали рабочихъ, прогоняли ненадежныхъ, водворяли въ округахъ настоящее олигархическое самовластіе. Требуемое большинство было получено, и соціалистской партіи объявлена административная война на жизнь и смерть.

Законъ уполномочивалъ правительство распускать собранія, прекращать изданія, изгонять и заключать въ тюрьму агитаторовъ. Но Бисмаркъ не стѣснялся предѣлами закона. Онъ объявилъ въ осадномъ положеніи Берлинъ, Лейпцигъ, Гамбургъ, не справляясь съ законной основательностью своихъ мѣръ. Соціалъ-демократическая партія чуть не оффиціально признавалась скопищемъ измѣнниковъ и мятежниковъ. Бисмаркъ преслѣдовалъ ее, какъ своего рода галльскую расу, и стремился смести ее съ лица германской земли.

Одновременно съ исключительнымъ законодательствомъ Бисмаркъ сталъ приводить въ исполненіе свой государственный соціалистическій планъ. Идея въ сильной степени была навѣяна Лассалемъ. Бисмаркъ открылъ въ необыкновенно шумномъ агитаторѣ нѣчто въ родѣ бонапартиста. Лассаль проектировалъ кооперативныя общества рабочихъ подъ покровительствомъ государства. Бисмаркъ почувствовалъ большое уваженіе именно къ соціальному предназначенію государства, убѣдился, что Лассаль отнюдь не республиканецъ и рѣшилъ у него кое-чѣмъ позаимствоваться. Современныхъ соціалъ-демократовъ онъ зачеркнулъ однимъ взмахомъ руки. Ни одного разу онъ не далъ себѣ труда вдуматься въ ихъ задачи, даже серьезно отнестись къ ихъ идеямъ. Они только разрушители и враги общественнаго порядка и ихъ надо искоренять и укрощать, а не спорить съ ними. Жестокими обвиненіями и не всегда хорошаго тона насмѣшками ограничилась вся идейная полемика Бисмарка съ ненавистной партіей. Прусскіе инстинкты не могли здѣсь оказать ни малѣйшей услуги, и Бисмарку оставалось поставить вопросъ на военную почву въ полномъ смыслѣ слова.

Государственный соціализмъ Бисмарка быстро, повидимому, пошелъ въ ходъ. Законы о страхованіи рабочихъ противъ несчастныхъ случайностей, на случай болѣзни, старости или инвалидности слѣдовали одинъ за другимъ. Страна покрылась страховыми и пенсіонными учрежденіями. Казалось, будущее рабочаго класса обезпечивалось. Ни одному инвалиду теперь не угрожалъ голодъ, а пенсіи старикамъ могли доходить свыше 400 марокъ. Дѣло страхованія велось въ образцовомъ порядкѣ, взносы строго

*

соразмѣрены съ количествомъ получаемой платы, усовершенствована фабричная инспекція, приняты въ особый разсчетъ особенно опасныя или отравляющія производства: въ этихъ случаяхъ предприниматели одни платились за несчастія съ рабочими.

Бисмаркъ проводилъ всѣ эти мѣры съ обычной энергіей и вѣрой въ свою силу. Соціализмъ правительство било съ двухъ сторонъ и, казалось бы, съ полнымъ успѣхомъ. Полиція усердствовала въ области исключительныхъ законовъ, фабриканты насаждали страховыя учрежденія, а результаты получались совсѣмъ странныя. Съ каждыми выборами въ рейхстагъ соціалъ-демократы множились, въ 1878 году ихъ было всего девять и до 1884 года, въ самый разгаръ гоненія, партія увеличилась почти втрое—до 24. И съ тѣхъ поръ ростъ не прекращается до послѣднихъ дней. Очевидно, государству не удалось ни запугать ни переманить на свою сторону рабочій классъ. Онъ предпочитаетъ идти за Бебелемъ и не довѣряетъ благодѣяніямъ Бисмарка.

И по очень простой причинѣ: соціализмъ Бисмарка ничто иное, какъ капиталистическая федерація. Предприниматели стоятъ во главѣ всѣхъ учрежденій, они распоряжаются кассами страхованія, сбереженія рабочихъ, слѣдовательно, въ рукахъ ихъ хозяевъ. Въ результатѣ, учрежденія—менѣе всего демократическія, скорѣе чиновничьи. Для нѣмецкихъ рабочихъ громадная разница завѣдывать ли своими капиталами самолично, или отдать ихъ въ распоряженіе своихъ естественныхъ противниковъ. И соціалъ-демократическая партія, именно одновременно съ развитіемъ бисмарковскаго соціализма, организовалась въ настоящее государство съ собственными учрежденіями и выборными завѣдующими.

Слѣдовательно, и здѣсь внутренняя политика Бисмарка не привела къ желаннымъ результатамъ. Онъ оставилъ соціализмъ великой угрозой единой германской имперіи, къ Вильгельму II перешли въ наслѣдство всѣ его горькія чувства по адресу «враговъ отечества». Вопросъ не только не удалось рѣшить Бисмарку, но его военныя расправы даже способствовали росту и укрѣпленію соціалъ-демократическаго движенія. Но и этимъ не ограничилось фіаско великаго канцлера. Онъ вышелъ изъ боя не только побѣжденнымъ, но и въ сильной степени подорвавшимъ свой кредитъ. Онъ обнаружилъ политическое идейное безсиліе въ борьбѣ, онъ не понялъ сущности ненавистнаго явленія, онъ вообразилъ, что оно представляетъ кучку злонамѣренныхъ возмутителей общественнаго порядка, смѣшныхъ идеологовъ и мечтателей и что его можно разсѣять натискомъ полицейскихъ и двумя-тремя юмористическими упражненіями съ парламентской трибуны. Бисмаркъ оказался неспособнымъ въ борьбѣ съ *идеей*. Къ такой борьбѣ способенъ только тотъ, кто самъ владѣетъ идеей. Бисмаркъ всю жизнь открещивался отъ теорій, заявлялъ себя самымъ трезвымъ реалистомъ и невозмутимымъ изслѣдователемъ фактовъ. Мы знаемъ по многочисленнымъ примѣрамъ, что это значитъ. У человѣка въ сущности имѣется теорія, и даже весьма отвлеченная, теорія физической силы, стоящей выше всякаго права. Бисмаркъ исповѣдывалъ религію *сильнаго человѣка* задолго до фантасмагорій

Нитче. Онъ въ самомъ началѣ своей политической дѣятельности заявилъ, что сила царствуетъ надъ правомъ и что великіе вопросы политики рѣшаются желѣзомъ и кровью...

Развѣ это не теорія? Матеріалистъ можетъ быть такимъ же фантастическимъ метафизикомъ, какъ самый отчаянный ясновидецъ и мистикъ. Бисмаркъ и Наполеонъ въ нашемъ столѣтіи представили поучительнѣйшіе образцы подобной метафизики. Несомнѣнно, существуютъ положенія, когда сила кулака, пожалуй, цѣлесообразнѣе всякой логики, напримѣръ, въ спорѣ съ глупцами или въ чисто физической борьбѣ. Бисмаркъ испыталъ этихъ положеній безчисленное множество: припомнимъ его дипломатовъ; несомнѣнно онъ импонировалъ имъ прежде всего «померанскимъ гренадеромъ». Недаромъ онъ такъ издѣвался надъ Наполеономъ III; ограниченный несчастный человѣкъ ставилъ требованія, не имѣя возможности подкрѣпить ихъ милліономъ штыковъ. Бисмаркъ въ совершенствѣ постигъ эту нехитрую тайну политики и, естественно, его международный авторитетъ росъ сообразно съ военнымъ бюджетомъ германской имперіи и столь же естественно, почему онъ всякій разъ выходилъ изъ себя, когда рейхстагъ начиналъ считаться съ кредитами на вооруженія. Онъ посягалъ на единственную всеобъемлющую идею провиденціальнаго человѣка!

Легко понять, какая борьба возможна была при такихъ условіяхъ? Только кулачная и военная, и Бисмаркъ неизмѣнно прибѣгалъ къ исключительнымъ законамъ и экстреннымъ мѣрамъ, разъ предъ нимъ возставалъ идейный противникъ, будь это католическій патеръ или соціалъ-демократическій вожакъ. У того и у другого имѣлось свое *право*, Бисмаркъ на это отвѣчалъ: а у меня *сила*, и шелъ впередъ на проломъ, будто предъ нимъ разстилалось поле Садовой или высились форты Седана.

Результаты не подлежали сомнѣнію: Виндгорстъ и Бебель не уступили ни шагу; напротивъ, заставили податься силу во имя *права* и *идеи*.

Поучительнѣйшій фактъ и не только для внутренней исторіи Германіи. Бисмаркъ осуществилъ свою теорію сполна въ своемъ безспорномъ царствѣ — въ международныхъ отношеніяхъ. Онъ открылъ эру безконечныхъ вооруженій, по истинѣ желѣзную эпоху милитаризма. Онъ создалъ единую Германію и одновременно посѣялъ во всѣхъ умахъ Европы вѣчный страхъ предъ международнымъ побоищемъ, неизлѣчимое взаимное недовѣріе среди державъ, сосредоточилъ главнѣйшія заботы правительствъ на развитіи военной силы, затормозилъ и подавилъ культурную работу народовъ и политиковъ и, слѣдовательно, отодвинулъ міровой прогрессъ на нѣсколько поколѣній. И это не все: не менѣе важны нравственные результаты идеи Бисмарка. Она коренится на презрѣніи къ человѣческой природѣ, на недовѣріи къ отдѣльнымъ личностямъ и цѣлымъ націямъ, она воскрешаетъ дохристіанское варварское представленіе объ избранныхъ и осужденныхъ племенахъ, она превозглашаетъ массовое истребленіе человѣческой расы на основаніи такъ называемаго національнаго инстинкта. Открывая франко-прусскую войну, Бисмаркъ про-

изнесъ смертный приговоръ надъ цѣлымъ французскимъ народомъ, даже вообще надъ кельтической расой: она женственно изнеженна, а германцы мужественно закалены, и французы должны быть подданными у нѣмцевъ.

Это теорія и одна изъ самыхъ головокружительныхъ, но для Бисмарка безусловно осуществимыхъ: мы видѣли, какой родъ войны подсказывала ему его философія! И онъ распространилъ ее на всю свою политику. Представьте же будущее нашей планеты, усвоившей бисмарковскую идеологію! Европа будто не жила и не мыслила со временъ Ватерлоо: Бонапартъ воскресъ во всей красѣ своихъ человѣкоубійственныхъ идеаловъ, воскресъ въ той самой странѣ, гдѣ противъ него когда-то было направлено вдохновенное идеалистическое слово, гдѣ противъ силы было призвано право и восторжествовало надъ силой.

Да, Бисмаркъ продолжатель наполеоновской реакціи. Мы безпрестанно наталкивались на совпаденія въ міросозерцаніи этихъ двухъ сверхчеловѣковъ нашего столѣтія. Если бы мы захотѣли эффектнѣйшихъ аналогій, мы нашли бы ихъ безчисленное множество въ рѣчахъ и дѣйствіяхъ обоихъ героевъ. Бисмаркъ самъ предвосхитилъ всѣ эти сравненія: онъ своимъ назначеніемъ объявилъ борьбу съ революціей и идеологіей, и навязалъ роль факта и здраваго смысла Пруссіи, клеймо революціи—Франціи, хотя бы представляемой даже Наполеономъ III. Это мысли и даже форма рѣчи бонапартовскія. И Бисмаркъ послѣдовательно выполнялъ программу своего предшественника, только болѣе усовершенствованную и разсудительную. Онъ не гонялъ армій по всѣмъ концамъ свѣта; напротивъ, онъ сосредоточивалъ ихъ въ сердцѣ Европы и отсюда повелѣвалъ ея внутренней и внѣшней политикой. И онъ также подобно Наполеону пережилъ свое аустерлицкое солнце, также испыталъ невыразимое чувство повелителя міра, но такъ же, какъ онъ, палъ, и не лично только, а палъ въ своей вѣрѣ, въ своей идеѣ.

Однажды, въ минуту откровенности, Бисмаркъ повелъ съ Бушемъ рѣчь о своей бурной жизни, и внезапно впалъ въ элегическій тонъ. Пораженный секретарь услышалъ слѣдующую исповѣдь: «Моя славная политическая карьера не стяжала мнѣ ничьей любви и никому не принесла радости; напротивъ, она причинила несчастье множеству людей. Безъ меня не было бы трехъ большихъ войнъ, 80.000 человѣкъ не погибли бы на поляхъ битвъ и ихъ семьи не носили бы траура».

Справедливо, но слишкомъ мало. Бисмаркъ коснулся только чувствительной стороны своей разрушительной дѣятельности, но есть неизмѣримо важнѣйшая—*идейная*. Именно она истинный судъ и осужденіе надъ личностью и дѣломъ Бисмарка, она — варварская и кровавая страница въ исторіи человѣчества, она, наконецъ, подлежитъ многотрудному и продолжительному исправленію усиліями всего культурнаго міра.

Родина Бисмарка уже давно рѣшаетъ эту задачу, и съ самаго начала побѣдоносно. Не было ни одного періода въ исторіи объединенной Германіи, когда Бисмаркъ могъ бы сказать: я цар-

ствую надъ моимъ народомъ. Въ исторіи Европы такіе моменты были, длятся они и до сихъ поръ.

Духъ Бисмарка вѣетъ надъ милліонами вооруженныхъ людей, покрывающихъ всѣ культурныя страны Стараго Свѣта. Онъ паритъ надъ хищническими инстинктами современныхъ политиковъ. Онъ живетъ въ современномъ скептицизмѣ и пессимизмѣ, вдохновляетъ современное отчаяніе въ благородныхъ силахъ человѣческой природы, онъ освящаетъ и сопутствуетъ всякое реакціонное побужденіе современныхъ мыслителей и дѣятелей. Но онъ, къ великому счастью цивилизаціи, только сила задерживающая и мертвящая и знающая только одно оружіе борьбы — желѣзо. Безсмертная, неустанно развивающаяся и цвѣтущая сила идеи ему чужда, и этотъ внутренній недугъ всегда былъ и будетъ вѣрнѣйшей порукой торжества права надъ силой и мысли надъ фактомъ.

О ТЕАТРѢ И ИДЕЯХЪ.

По поводу книги *Le drame romantique, par Pierre Nebout.*

I.

Въ исторіи европейской культуры существуетъ фактъ чрезвычайно любопытный, и даже отчасти странный. Касается онъ предмета, всѣмъ извѣстнаго, почти для всѣхъ увлекательнаго и въ послѣднее время именно у насъ получившаго исключительное значеніе. Русское общество, несомнѣнно, очень усердно занято мыслью о народномъ просвѣщеніи, дѣятельно изыскиваетъ всевозможные пути къ умственному подъему своей темной родины и одинъ изъ этихъ путей открыло въ театральныхъ зрѣлищахъ. Они неизбѣжно входятъ въ программы современныхъ просвѣтителей, культурное ихъ значеніе обсуждается съ великой горячностью, они ставятся наравнѣ съ библіотеками, школами, публичными лекціями и даже выше всего этого. По существу вопросъ считается рѣшеннымъ разъ навсегда: театръ—учрежденіе безусловно просвѣтительное, слѣдуетъ только составить вполнѣ литературный репертуаръ, и народу можно будетъ входить въ театральную залу, какъ въ настоящій храмъ науки и добродѣтели.

Повидимому, эта вѣра въ театральныя представленія можетъ опереться на очень почтенныхъ свѣдущихъ людей. Всякому просвѣщенному русскому читателю извѣстны прежде всего восторженныя чувства, воодушевлявшія самое благородное и идейное молодое поколѣніе во всей исторіи русскаго общества. Гимнъ театру, пропѣтый Бѣлинскимъ, первый приходитъ на память. Какихъ только страстныхъ словъ не вложено молодымъ критикомъ въ это «стихотвореніе!» Говорится здѣсь о «любви всѣми силами души, со всѣмъ энтузіазмомъ, со всѣмъ изступленіемъ», о любви больше всего на свѣтѣ, кромѣ любви ко благу и истинѣ, о театрѣ—самовластномъ властелинѣ нашихъ чувствъ, о неизъяснимо-сла-

достномъ блаженствѣ еще только въ ожиданіи поднятія занавѣса.. А потомъ?.. Вся полнота возможныхъ для человѣка ощущеній, самыхъ свѣтлыхъ и возвышенныхъ; и критикъ отказывается описать всѣ очарованія театра, желаетъ только, чтобы и у насъ былъ свой народный, русскій театръ...

Это очень искренно, даже до нѣкотораго самозабвенія, потому что одновременно съ театромъ получаетъ дань восторга и «біеніе пульса могучей русской жизни». Время въ сильнѣйшей степени охладитъ представленіе великаго критика на счетъ мощи этого пульса, измѣнится и температура театральныхъ увлеченій. Горькая дѣйствительность не разъ заставитъ его съ грустной ироніей вспомнить о своемъ юношескомъ трепетѣ и воскликнуть: «Увы! все это поэзія, а не проза, мечты, а не существенность!» И на этомъ печальномъ заключеніи Бѣлинскому придется помириться. Только изрѣдка на представленіяхъ *Гамлета,* да еще съ Мочаловымъ въ заглавной роли, критику удается отдохнуть отъ мучительной «существенности», да и то моментами, когда божество снизойдетъ на геніальнаго артиста. Это случается далеко не всегда, и страстному обожателю изящнаго необходимо прощать прихотливому генію томительно-заурядныя сцены ради одной вспышки, одного монолога.

Дѣйствительный театръ годъ за годомъ все больше разочаровывалъ Бѣлинскаго и подъ конецъ онъ даже пересталъ вспоминать о выспреннихъ мечтахъ юности, вынужденный безпрестанно считаться съ пошлостями и уродствами драматической сцены. Искатель всемогущаго искусства и всепокоряющей красоты невольно превращается въ рецензента, въ болѣе или менѣе раздраженнаго обязательнаго лѣтописца, отнюдь не возвышенныхъ и не просвѣтительныхъ явленій.

Противорѣчіе по-истинѣ трагическое, если представить во всей яркости и силѣ неутолимую эстетическую и идейную жажду Бѣлинскаго. Оно не миновало и другого его современника, столь же рыцарственнаго поклонника театра. Гоголь, въ самый разгаръ своего проповѣдничества, обуреваемый мучительной тоской о недосягаемомъ нравственномъ совершенствѣ и думами объ отреченіи отъ суеты мірской, сохранилъ добрыя чувства къ театру. Для него это каѳедра, и съ нея можно много оказать міру добра. Даже больше, — театръ можетъ быть ступенью къ христіанству для всѣхъ, кто отдѣлился отъ христіанства. Публика пойдетъ куда ее поведутъ, у нея нѣтъ собственнаго каприза, она вся во власти художника. Надо только выбрать достойныя пьесы, прекрасно ихъ поставить, и театръ выполнитъ свое высокое назначеніе. Главными героями на этомъ пути будутъ, по соображеніямъ Гоголя, «первоклассные актеры-художники». Только они въ состояніи выбрать пьесу, произвести репетиціи, научить всѣхъ исполнителей и вообще упрочить «каѳедру». Гоголь религіозно вѣритъ во «внутреннее эстетическое чувство» актера-художника и его идеальную добросовѣстность во всѣхъ поступкахъ: «собственная извѣстность» убережетъ актера отъ личныхъ пристрастій и удержитъ его на высотѣ просвѣтительнаго призванія...

Вотъ какъ умилительно разсуждалъ о нашемъ вопросѣ ге-

ніальный сатирикъ, мнившій проникать сокровеннѣйшія глубины человѣческаго сердца и разоблачать душеспасительнымъ словомъ язвы и недуги своихъ соотечественниковъ!

И развѣ это не авторитетъ? Кому же, какъ не автору *Ревизора*, судить здраво и внушительно о значеніи театра? Вопросъ совершенно естественный, но одновременно съ нимъ возникаетъ и недоумѣніе столь же неопровержимое.

Мы припоминаемъ, по какимъ случаямъ Гоголь вспоминалъ о театрѣ въ своихъ художественныхъ произведеніяхъ раньше чѣмъ взялъ на себя званіе проповѣдника и очистителя душъ? Ему приходилось иногда касаться театра весьма близко, именно рисовать нѣкоторыхъ особенныхъ любителей театральныхъ удовольствій. И нельзя сказать, чтобы это были дѣятели почтенные и умы просвѣщенные. «Самые выгодные люди для театральной дирекціи», по выраженію Гоголя, это поручики Пироговы, коллежскіе ассесоры Ковалевы и титулярные совѣтники Поприщины. Нѣкоторые изъ нихъ, преимущественно поручики, не только «въ театрѣ безсмѣнно», но при случаѣ и сами умѣютъ превосходно продекламировать стихи даже изъ *Горе отъ ума*, здѣсь же пріятно разсказать анекдотъ и выпустить изъ трубки дымъ кольцомъ. Все это, надо полагать, таланты одного порядка, не встрѣчающіе ни малѣйшаго уваженія со стороны автора, и все это вызываетъ нѣкоторые вопросы.

Если поручикъ Пироговъ, такой страстный любитель театровъ, умѣетъ даже отличать хорошіе стихи отъ дурныхъ, какъ же въ немъ уживаются столь малопочтенные таланты и какъ вообще весь поручикъ Пироговъ можетъ оставаться личностью до такой степени ничтожной и смѣшной? Вѣдь театръ неотразимо дѣйствуетъ на умъ и нравственность своихъ посѣтителей, особенно безсмѣнныхъ, а у нашего героя, повидимому, именно благодаря театральнымъ вкусамъ, прибавились только развѣ лишнія черты пошлости. Какъ примирить все это, тѣмъ болѣе, что въ вопросѣ замѣшаны такія представленія, какъ *Горе отъ ума* и, разумѣется, не мало «актеровъ-художниковъ»: дѣло идетъ о цвѣтущемъ времени русской сцены.

Очевидно и здѣсь приходится признать извѣстное разногласіе между мечтами и «существенностью». Геніальный сатирикъ столь же неосторожно увлекся чисто-отвлеченными идеями о театрѣ-каѳедрѣ, какъ и Бѣлинскій, и оказалось два непримиримыхъ факта: съ одной стороны — храмъ съ безсмертными божествами красоты и искусства, съ другой—увеселительный пріютъ несовершеннолѣтнихъ любителей стишковъ и охотниковъ «громко вызывать актеровъ». Гоголь въ свѣтлыя минуты готовъ былъ склонить вѣсы въ прискорбную сторону. Среди тысячной толпы онъ подслушалъ всего два-три голоса, обличавшіе пониманіе его произведенія, сочувствіе его таланту,—и то одинъ самый осмысленный и желанный голосъ попалъ въ столичную театральную публику случайно, изъ глухой провинціи, принадлежалъ отнюдь не безсмѣнному гостю театральной залы, раздался скромно, почти одиноко... Театръ, очевидно, не причемъ въ развитіи образа мыслей этого удивительнаго зрителя, и еще менѣе актеры-художники, можетъ быть впервые

представшіе предъ его глазами. А вотъ два comme il faut, двѣ бекеши, два офицера, да еще литераторъ—несомнѣнные театралы и именно они болѣе всего причиняютъ мученій автору безнадежной тупостью мысли и заскорузлостью вкуса. Очевидно, надо полагать—театръ не создаетъ для самаго себя ни тонкихъ цѣнителей, ни просто умныхъ зрителей. Подавляющее большинство театральной толпы покидаетъ зрѣлище съ такими, примѣрно, критическими мыслями: «да, конечно, нельзя сказать, чтобы не было того... въ своемъ родѣ» или съ болѣе опредѣленнымъ интересомъ: «какъ зовутъ ту молоденькую актрису?»

Такова аудиторія. Вполнѣ подстать и профессора. Писатель рисуетъ себѣ, изъ своего прекраснаго далёка—великаго актера-художника, идеально просвѣщеннаго, благороднаго, всецѣло поглощеннаго судьбой великихъ идей и геніальныхъ образовъ на драматической сценѣ, чуждаго всякихъ себялюбивыхъ страстей и разсчетовъ... Однимъ словомъ, идеалъ не менѣе ослѣпительный, чѣмъ даже откупщикъ Муразовъ и помѣщикъ Константжогло, предназначенные, какъ извѣстно, спасти свое отечество отъ всѣхъ внутреннихъ и внѣшнихъ враговъ. Бѣдный писатель! Какъ скоро забылъ онъ собственныя слезныя жалобы на *дѣйствительныхъ* актеровъ и простилъ имъ горечь, отравившую его сердце при первомъ же появленіи его созданія на сценѣ!

Онъ забылъ или совсѣмъ не зналъ гораздо болѣе важныхъ вещей. Никогда и нигдѣ на памяти цивилизованнаго человѣчества не существовало ни публики, вступившей на путь совершенствованія подъ вліяніемъ душеспасительныхъ театральныхъ зрѣлищъ, ни актеровъ-художниковъ, ставившихъ себѣ исключительно одну апостольскую задачу, просвѣщать и облагороживать толпу. Театръ всегда и вездѣ стремился къ одной цѣли: увеселять и забавлять. Если по временамъ оказывалось, что эта цѣль совпадаетъ съ другими болѣе благородными, совпаденіе нисколько и никогда не зависѣло отъ самого театра и менѣе всего отъ актеровъ-художниковъ. Театръ неизмѣнно, при всѣхъ обстоятельствахъ, шелъ за толпой, *въ данное время* вліятельной и благодарной. Ни единаго раза онъ не взялъ на себя иниціативы ни въ какомъ ни въ общественномъ, ни даже въ художественномъ вопросѣ, напротивъ, именно въ лицѣ актеровъ-художниковъ, неизмѣнно становился на пути всякому художественному и литературному прогрессу въ области драмы. Все, что только имѣется стихійно-консервативнаго, слѣпо-традиціоннаго и коснаго въ культурныхъ обществахъ, все это искони вѣковъ охранялъ и поощрялъ театръ, какъ учрежденіе. Его всегда прежде всего интересовалъ размѣръ успѣховъ и славы, а не качество ихъ и театръ дни своего благоденствія высчитывалъ и продолжаетъ высчитывать по количеству зрителей, а не по ихъ умственному уровню. Если по временамъ съ драматической сцены раздавалось смѣлое и новое слово, можно заранѣе поручиться, оно проникло сюда вопреки «актерамъ-художникамъ», послѣ продолжительныхъ и тягостныхъ усилій литературы и настойчиваго требованія публики. Но и послѣ торжества новой идеи, стоило возникнуть реакціи среди сѣраго большинства, среди «бекешъ» и «мужчинъ въ мундирахъ», театръ

немедленно и послушно билъ отбой и оказывалъ гостепріимство сатирѣ и пасквилю на какіе угодно идеалы, лишь бы только они оказались внѣ покровительства толпы.

И это вполнѣ естественно и убѣдительно, независимо даже отъ историческихъ свидѣтельствъ. Театральныя зрѣлища предназначены для возможно бо̀льшаго количества зрителей. Они, слѣдовательно, должны быть приспособлены къ *среднему* уровню, общества, откуда они разсчитываютъ брать свою публику. А какъ съ точностью опредѣлить этотъ *средній* уровень? При самомъ слабомъ опасеніи,—остаться безъ публики театръ непремѣнно возьметъ мѣрку *ниже* средней и начнетъ служить менѣе всего развитымъ, просто даже—литературнымъ вкусамъ. Единственное спасеніе—геніальный драматургъ, способный силой своего дарованія подчинить одинаково и взрослыхъ и малыхъ сихъ. Во всѣхъ другихъ случаяхъ, театръ неудержимо опускается все ниже и ниже по направленію къ уличнымъ увеселеніямъ и постепенно утрачиваетъ всякую связь съ литературой и какими бы то ни было идеями.

Этотъ фактъ мы и наблюдаемъ именно въ наше время, когда на театръ начинаютъ возлагать самыя отвѣтственныя надежды по части народнаго просвѣщенія. Стоитъ посмотрѣть, чѣмъ сталъ современный театръ для общества, чтобы въ сильнѣйшей степени понизить надежды на его просвѣтительную роль.

Прежде всего, драматическая литература со временъ Островскаго перестала совсѣмъ считаться литературой. Это просто особый видъ грамотнаго промысла, въ родѣ сочиненія разныхъ прошеній и свидѣтельствъ для уловленія простодушной публики. Драматургъ пользуется неограниченной свободой подобнаго рода сочинителей: онъ можетъ невозбранно что угодно и кого угодно передѣлывать, обкрадывать, откуда угодно заимствовать. Правда, его произведеній не напечатаетъ ни одинъ журналъ, но на сценѣ они создадутъ ему извѣстность и пріобрѣтутъ капиталъ. Его цѣль, вовсе не красота и не искусство, а *сценичность*, т. е. особыя чисто актерскія удобства, сыграть ту или другую роль.

Роли играются, пьеса часто черезъ два-три мѣсяца совершенно забывается, но авторъ ничего не теряетъ: онъ сочиняетъ на смѣну другое такое же произведеніе, и лавры въ его вѣнкѣ не увядаютъ. Съ дѣйствительно литературнымъ явленіемъ такая судьба не мыслима. Оно непремѣнно вноситъ въ общество какую-нибудь мысль, оставляетъ въ памяти болѣе или менѣе яркій образъ. Ничѣмъ подобнымъ не сопровождается кратковременная жизнь драматической пьесы, развѣ только какой-нибудь откровенный намекъ на личности, воспроизведеніе какого-либо юридическаго или пикантнаго приключенія заставить заранѣе освѣдомленное общество—нѣсколько дольше поговорить о находчивомъ авторѣ и его удачливомъ дѣтищѣ.

Таково обычное положеніе театра и драматической литературы. Но бываютъ и на этой улицѣ праздники,—собственно не для нея, а вообще для литературы,—появляются большіе таланты, желающіе говорить съ публикой со сцены. Въ эти періоды обыкновенно провозглашается великое культурное значеніе театра,

сами геніальные писатели стараются возможно ярче представить неограниченное вліяніе драматическихъ монологовъ и сценической игры. Такъ было во второй половинѣ XVIII вѣка, въ первой—XIX, когда шла борьба за преобразованіе литературы и вмѣстѣ съ ней—нравственныхъ и политическихъ идеаловъ.

Тогда Шиллеръ объявлялъ: «Театръ это каналъ, которымъ льется не посредственно въ народныя массы то, что вырабатываетъ наука и знаніе»; «гдѣ кончается власть законовъ, тамъ начинается власть театра». Во Франціи выражались еще энергичнѣе,—не знали, гдѣ и положить предѣлъ благодѣтельнымъ воздѣйствіямъ театра на умъ и сердце толпы, даже всего народа.

«Просвѣтители» всѣхъ направленій и темпераментовъ ожидали отъ театра всевозможныхъ благодѣяній,—въ нравахъ, въ законодательствѣ, даже во внѣшней политикѣ. Именно на театръ правительство, попечительное о своемъ народѣ, должно обратить особенное вниманіе, сдѣлать его однимъ изъ *важнѣйшихъ учрежденій*. Путемъ сцены можно подготовлять какія угодно преобразованія, драмы—замѣнятъ церковныя проповѣди, актеры—учителей среднихъ и высшихъ учебныхъ заведеній, а драматурги превратятся въ государственныхъ людей. Одинъ изъ самыхъ вѣрующихъ вождей новой свободной и мужественной мысли написалъ блестящій гимнъ театру—искренній, страстный, отразившій всю глубину идеальныхъ настроеній идеалистической эпохи.

«Самое дѣйствительное и цѣлесообразное средство вооружить непреодолимой силой человѣческій разумъ и бросить вдругъ въ народъ массу просвѣтительныхъ идей, заключается, несомнѣнно, въ театрѣ. Тамъ подобно потрясающему звуку трубы, который въ извѣстный день, долженъ поразить мертвыхъ, краснорѣчіе простое и яркое можетъ въ одно мгновеніе пробудить уснувшую націю. Тамъ величавая мысль одного человѣка воспламенитъ, подобно электрическому току, всѣ души. Тамъ, наконецъ, законодательство встрѣтитъ меньше всего препятствій и достигнетъ величайшихъ результатовъ, легко и безъ насилій».

Сильнѣе трудно выражаться, и театръ, дѣйствительно, оказался на высотѣ даже такихъ выспренныхъ упованій. Можно сказать, онъ открылъ новѣйшую исторію европейской мысли и чрезвычайно страстно сопровождалъ всѣ общественныя событія, служилъ самымъ чувствительнымъ барометромъ политической атмосферы. Но весь этотъ блескъ принадлежитъ не ему, не его дѣятелямъ и героямъ, а силѣ, безпрестанно вступавшей съ ними въ жестокую борьбу—литературѣ. Театръ только уступалъ этой силѣ и лишь въ томъ случаѣ, когда въ уступкахъ находилъ отнюдь не идейную цѣль, а просто практическую выгоду, когда общество завѣдомо становилось на сторону литературы и властно несло въ театральную залу свои новые вкусы и желанія. Тогда театръ, въ лицѣ «актеровъ-художниковъ» покорно склонялся предъ высшей волей, предъ своимъ неотразимымъ господиномъ—публикой, и становился всѣмъ чѣмъ угодно—парламентомъ, трибуной, каѳедрой.

Ни для кого изъ очевидцевъ не была тайной эта уступчи-

вость и это благородство. Публика отдавала себѣ ясный отчетъ въ смыслѣ театральнаго прогресса и, преклоняясь предъ истинными виновниками новаго движенія—писателями, продолжала по прежнему крайне сурово и часто презрительно относиться къ самимъ исполнителямъ благородныхъ монологовъ и идеальныхъ ролей.

II.

Въ самомъ дѣлѣ, какая неожиданная,—съ перваго взгляда едва понятная картина,—въ самый разгаръ гуманнѣйшихъ идей! Всѣ слои стараго общества охвачены чувствомъ терпимости и человѣколюбія, кто пониже — тотъ вполнѣ искренне, повыше — больше играютъ комедію и обличаютъ невмѣняемость и легкомыслiе. Но и здѣсь усиливаются идти съ вѣкомъ наравнѣ и усердно толкуютъ о естественномъ равенствѣ всѣхъ людей, о позорѣ всяческаго рабства, юридическаго и нравственнаго, о неограниченной власти свободнаго разума и чувствительнаго сердца. Такова мода, и уже въ этомъ извѣстная порука, что аристократъ поостережется слишкомъ явно обнаруживать феодальные инстинкты и «благородный» образъ мыслей. О непривилегированныхъ, особенно о писателяхъ—нечего и говорить: они готовы всякую минуту по братски обнять негра, невольника и вскорѣ даже политическимъ актомъ провозгласятъ его *человѣкомъ* и *гражданиномъ*.

И вотъ среди этихъ прекрасныхъ чувствъ и небывало искренней и горячей вѣры въ человѣческую природу, исключеніемъ является актеръ, безъ различія emplois и талантовъ. Еще можно понять, почему актеровъ презирала и преслѣдовала старая католическая церковь: тамъ могъ господствовать просто темный предразсудокъ, но какимъ образомъ столь же враждебныя и въ высшей степени упорныя чувства могли передаться людямъ, безусловно просвѣщеннымъ, терпимымъ по природѣ и по убѣжденіямъ?

Напримѣръ, сословіе адвокатовъ: оно дастъ очень много ораторовъ наступающей революціи, и за долго до нея выдѣлитъ немало сторонниковъ новаго движенія и потомъ либеральнѣйшихъ авторовъ, знаменитыхъ челобитныхъ въ генеральныя штаты. И вотъ это сословіе вплоть до самой революціи наноситъ нестерпимыя обиды актерскому званію, оно исключаетъ изъ своей корпораціи всякаго члена, вступившаго въ родство съ актеромъ. Въ теченіе почти двухъ вѣковъ актеры не могутъ добиться практическаго осуществленія уже существующаго закона, именно указа Людовика XIII, чтобы званіе актера не считалось нравственно безчестнымъ и въ общественномъ отношеніи предосудительнымъ. И замѣтьте, этотъ удивительный порядокъ вещей невозбранно царствуетъ рядомъ съ повальной театральной страстью общества, сохраняется помимо Мольера, лично актера и автора *Тартюфа*, т. е. истиннаго просвѣтителя въ самомъ культурномъ и гражданскомъ смыслѣ слова. Вѣдь актеры же разыграли геніальную комедію, ихъ устами писатель бросилъ несмываемое клеймо въ позорный недугъ громаднаго вѣкового значенія, и все-таки актеры

юридически не составляютъ сословія, не имѣютъ гражданскихъ правъ самаго послѣдняго поденщика.

Вы увѣрены, за нихъ вступится литература, эта свѣтлая и грозная сила Руссо, Вольтера, Дидро, Даламбера. Вступиться, повидимому, неизбѣжно: вѣдь театръ признанъ важнѣйшей школой современнаго просвѣщенія, и писатели должны создать неразрывное нравственное единеніе съ артистами.

Писатели и стремятся къ нему, но встрѣчаютъ непреодолимыя препятствія. Актеры, среди всеобщаго увлеченія философіей, т. е. новыми общественными идеалами и литературными теоріями, цѣпко держатся за преданія. Они остаются единственнымъ косным міромъ, обнаруживаютъ даже вражду къ знаменитѣйшимъ современнымъ драматургомъ, только потому, что эти драматурги замышляютъ разныя новшества въ литературѣ и намѣреваются пользоваться сценой для просвѣтительныхъ идей.

Ужъ, кажется, на что вліятельнѣе Вольтера: его имя окружено неотразимой властью даже за предѣлами Франціи, каждая его брошюра—европейское событіе,—все равно подписана она его именемъ или только выдается за продуктъ «фернейской мануфактуры». И только одни актеры боятся этого имени! Весь геній Вольтера въ ихъ глазахъ ничего не стóитъ предъ какой угодно безсмысленной но непремѣнно любовной интригой въ пьесѣ. Любовь на сценѣ обязательна и притомъ въ старой классической формѣ. Герой долженъ всѣ свои доблести отдавать за прекрасныя очи героини, а героиня въ свою очередь пылать страстью, на пространствѣ пяти актовъ, наполнять сцены исключительно любовными изліяніями и сосредоточивать весь ходъ и развязку драмы на сердечномъ вопросѣ.

Пусть Вольтеръ въ негодованіи сочиняетъ особые трактаты противъ «нелѣпой любви», заполонившей французскую, а за ней и всѣ европейскія сцены, пусть съ неподражаемымъ остроуміемъ высмѣиваетъ амурное резонерство и галантное комедіянство, театръ непоколебимъ.

Идеи, какой вздоръ сравнительно съ хорошимъ выходомъ въ роли перваго любовника! И актеры не стѣсняются излагать авторамъ вполнѣ откровенно свои театральныя идейныя воззрѣнія. Вотъ для примѣра, выговоръ, сдѣланный сценической знаменитостью XVIII вѣка не менѣе знаменитому драматургу:

«Какъ! ради какой-то ничтожной нравственной цѣли, вы заставляете героя терпѣть наказаніе отъ отца и любовницы! Измѣните конецъ моей роли, смягчите краски, въ особенности постарайтесь сдѣлать моего героя интереснымъ фатомъ. Я вовсе не не хочу, чтобы отецъ лишилъ меня наслѣдства и я желаю жениться на своей возлюбленной».

Такъ рѣшительно актеры сотрудничали съ популярнѣйшими авторами! Они поднимаютъ на смѣхъ трагедію Вольтера *Эдипъ*. Пьеса написана на философскую тему, собственно она открываетъ борьбу театра съ суевѣріями и церковнымъ фанатизмомъ, пролагаетъ путь просвѣщенію на драматическую сцену. Публика оцѣнитъ заслуги *Эдипа* и впослѣдствіи, во время предсмертнаго

тріумфальнаго путешествія Вольтера въ Парижъ будетъ привѣтствовать его именно какъ автора этой трагедіи.

Но актерамъ нѣтъ никакого дѣла до смысла пьесы. Они встрѣчаютъ ее вызывающимъ презрѣніемъ—потому что въ ней нѣтъ влюбленной героини. Точно также отнесутся они и къ другой трагедіи Вольтера—*Меропа*, какъ разъ именно той, какую публика поставитъ рядомъ съ *Эдипомъ*, по идейному содержанію—фактъ, въ высшей степени знаменательный! Театральная толпа идетъ впереди художниковъ сцены и заставляетъ ихъ подчиняться вѣяніямъ времени, и не только въ менѣе доступной области политическихъ стремленій, а даже въ простыхъ литературныхъ вопросахъ.

Актерамъ и на умъ не приходитъ, что классическая трагедія отжила свой вѣкъ, для Расина и Корнеля нѣтъ больше публики, составъ культурнаго общества совершенно измѣнился, маркизы и виконты окончательно стали достояньемъ комедіи—и на сценѣ и въ жизни, выросла сила третьяго сословія и предъявила свои мѣщанскія требованія даже государству,—не только литературѣ.

Для всѣхъ фактъ—очевиденъ, не видятъ его только актеры. Они продолжаютъ носиться съ принцами и съ принцессами и только пустота театра на представленіяхъ классическихъ пьесъ, заставляетъ образумиться его хозяевъ. Опытъ дается чрезвычайно трудно, актеры долго пристаютъ къ авторамъ—такъ или иначе новую драму уподобить старой трагедіи, сообщить ея содержанію по меньше реальнаго, современнаго интереса и украсить блистательными упражненіями въ краснорѣчіи на тему о могуществѣ женскихъ взоровъ и о ничтожествѣ мужскаго героизма предъ дамой королевскаго происхожденія.

Актеры по своему совершенно правы. Иныхъ ролей, кромѣ томныхъ принцессъ и страстныхъ принцевъ, они не въ состояніи играть и естественно отрекаются отъ какихъ бы то ни было основательныхъ нововведеній. Дидро—едва ли не самый восторженный поклонникъ театра и для своего времени—одинъ изъ первыхъ драматурговъ-просвѣтителей, терпитъ кровныя обиды отъ актерской косности и профессіональнаго артистическаго эгоизма. На образцовой столичной сценѣ онъ не можетъ найдти исполнителей для своей популярнѣйшей драмы *Отецъ семейства*. Она вдохновлена благородными преобразовательными идеями, написана *для націи*, а не для выродившихся ротозѣевъ большого свѣта. Но ея-то и не умѣютъ сыграть артисты *французской комедіи*—наслѣдники Мольера. Состоялось одно единственное представленіе и пьеса на цѣлыхъ десять лѣтъ исчезла для парижской публики. Въ провинціи для нея находились актеры и она встрѣчала повсюду восторженный пріемъ.

И такова судьба всякаго другого драматурга, не согласнаго потакать заплеснѣвѣвшимъ вкусамъ закулиснаго міра. Напримѣръ, Мерсье—писатель исключительной оригинальности даже среди просвѣтителей XVIII вѣка, писатель съ высокими гуманными и культурными задачами, прекрасный знатокъ иностранныхъ литературъ, цѣнитель Шекспира и Шиллера: однимъ словомъ—множество литературныхъ и идейныхъ достоинствъ, не вполнѣ доступныхъ

даже Вольтеру и энциклопедистамъ. И именно его актеры не желаютъ пускать на сцену. Нѣкоторыя его пьесы нравятся даже при дворѣ, и всѣ безусловно очень эффектны и драматичны, но у актеровъ свои соображенія: Мерсье написалъ книгу о театрѣ, не особенно лестную для «актеровъ-художниковъ» и совсѣмъ не благопріятную для ихъ любимой классической трагедіи. Въ результатѣ—онъ на всю жизнь останется отверженцемъ. Актеры навсегда отказываются даже читать его пьесы. При случаѣ они не затрудняются пожаловаться прямо въ цензуру или въ полицію, и неугодный имъ журналъ будетъ задержанъ, а то и совсѣмъ прекращенъ. Съ цѣлью предупредить даже малѣйшее посягательство на кулисное святилище, актеры рѣшаются платить жалованье цензорамъ, и тѣ нещадно губятъ статьи, непріятныя самолюбію артистовъ.

Но и это еще не все. Актеры совершенно равнодушны къ новымъ идеямъ, къ самому понятію о гражданской свободѣ,—это въ порядкѣ вещей,—и писатели отмѣчаютъ актерское равнодушіе какъ исконный неизбѣжный фактъ. Но актеры не ограничиваются равнодушіемъ. Они становятся въ ряды враговъ просвѣщенія. Отвергая Дидро и Вольтера, — они радушно открываютъ двери театра клеветникамъ и пасквилянтамъ на философовъ и современную литературу. Они ставятъ на сценѣ самыя беззастѣнчивыя драматическія издѣвательства и доносы, — реакціоннаго содержанія,—просто разсчитывая на крупные сборы и желая угодить властямъ. Незадолго до революціи рабскія чувства исчезаютъ повсюду, даже скромные лавочники и не совсѣмъ захолустные крестьяне начинаютъ открыто толковать о новомъ порядкѣ вещей. Сельскіе священники—и тѣ стремятся побывать на представленіи *Свадьбы Фигаро*. Надъ страной видимо вѣетъ духъ обновленія,— и въ этой атмосферѣ именно театръ продолжаетъ оставаться затхлымъ закоулкомъ, своего рода складомъ всякаго историческаго декоративнаго старья. Актеры все еще чувствуютъ себя вѣрноподданными потентованныхъ джентльмэновъ. Свое «общественное мнѣніе» они проявляютъ только въ тѣхъ случаяхъ, когда въ былыя времена полиція устраивала на улицахъ овація и манифестаціи среди «добрыхъ обывателей города Парижа». Актеры такъ и остаются ея вѣрнѣйшими соревнователями, торжествуютъ не только со сцены разныя чувствительныя патріотическія событія, — но и составляютъ кляку среди публики — на случай, если не всѣ зрители захотятъ раздѣлить чувства труппы.

Вообще,—театръ, насколько зависитъ отъ него, упорно остается убѣжищемъ всего отсталаго въ искусствѣ, раболѣпнаго въ смыслѣ гражданскомъ и неуязвимаго по части какихъ угодно благородныхъ общественныхъ начинаній. Это—прирожденный врагъ литературы, какъ силы просвѣщающей и развивающейся. Во Франціи ни одинъ писатель не вѣритъ, чтобы сцена по собственному побужденію стала когда-либо союзницей писателей. Самые рѣзкіе отзывы объ артистахъ принадлежатъ такимъ писателямъ, какъ Дидро, Вольтеръ и Даламберъ. Мы не говоримъ о Руссо: онъ написалъ жестокій памфлетъ на служителей драматическаго искусства. Но женевскій философъ вообще не жаловалъ театра и не

вѣрилъ въ его достоинства ни при какихъ обстоятельствахъ. Онъ могъ превысить чувство мѣры и наговорить много несправедливаго.

Но всѣ другіе, энергично возставали противъ «варварства», Руссо,—особенно Вольтеръ и Даламберъ. Они искренне защищали театръ и доказывали его великія заслуги предъ цивилизаціей,—и въ то же время не могли не сознаться въ печальной истинѣ: непроходимая пропасть всегда существовала и существуетъ между сценой и литературой. Въ темномъ мірѣ актеровъ просвѣщеніе цѣнится ни во что, не имѣютъ представленія даже о вкусѣ, совершенно не заботятся о нравственномъ и гражданскомъ достоинствѣ артистическаго ремесла, и къ писателямъ относятся какъ къ своимъ подданнымъ, къ людямъ обязаннымъ театру безграничной благодарностью за каждое представленіе ихъ пьесы.

Такъ жаловались во Франціи. Отвѣтный голосъ раздавался изъ Германіи. Здѣсь также явился убѣжденный, даровитый преобразователь драмы и сцены, блестящій критикъ и превосходный драматургъ. Онъ возгорѣлся желаньемъ поднять нѣмецкій театръ на высоту національнаго художественнаго учрежденія. Судьба, повидимому, открыла ему широкій путь къ этой цѣли. Нашелся человѣкъ, также мечтавшій о «національномъ театрѣ» въ самомъ благородномъ смыслѣ слова,—и Лессингу предстояло быть руководителемъ новаго учрежденія.

Какое счастье для «просвѣтителя!» И онъ съ жаромъ принялся насаждать вкусъ и идеи. Но немедленно пришлось остыть. Противъ критика возстали герои сцены и потребовали, чтобы даже имена ихъ не упоминались въ критическихъ статьяхъ Лессинга, хотя критикъ являлся образцомъ скромности и деликатности. Но театральные боги не желали допускать даже тѣни сомнѣнія въ ихъ величіи и красотѣ. Такъ и разстроился весь величественный замыселъ.

Подобныя исторіи возобновлялись всякій разъ,—лишь только въ литературѣ выступалъ оригинальный талантъ и рѣчь заходила о смѣнѣ отжившихъ преданій новыми. Театръ непремѣнно оказывался на сторонѣ преданій,—и только подъ усиленнымъ давленіемъ общественнаго мнѣнія—рѣшался перейти на сторону новаго движенія.

Сколько испытаній пришлось перенести Гюго! Кажется,—исторія драматической литературы не знаетъ болѣе убѣжденнаго, болѣе отважнаго и, что самое главное—болѣе даровитаго преобразователя. Авторъ *Кромвеля* созданъ вождемъ и воиномъ. Никто какъ онъ не умѣетъ увлечь за собою молодежь, воспламенить толпу, подавить даже противниковъ блескомъ и силой своей чисто-французской, эффектно-краснорѣчивой поэзіи. За какимъ же еще писателемъ и идти артистамъ!

И нѣкоторые поддаются искушенію,—но крайне робко, оглядываясь по сторонамъ, трепетно прислушиваясь къ настроеніямъ публики, ежеминутно готовые отстать и раскаяться. Поэту суждено видѣть удивительныя колебанія въ температурѣ актерскаго сочувствія на одномъ и томъ же спектаклѣ: все зависитъ отъ

количества апплодисментовъ и энергіи хлопальщиковъ. У исполнителей нѣтъ собственнаго мнѣнія; театральная зала управляетъ ими, какъ вѣтеръ флюгерами.

Не мало и открытой вражды. Какую, напримѣръ, презрѣнную исторію разыгрываетъ знаменитая М-lle Марсъ по поводу *Эрнани*! Она изводитъ автора безсмысленными придирками къ отдѣльнымъ стихамъ, обижается его равнодушіемъ къ ея критикѣ, грозитъ провалить пьесу, усмиряется только предъ страхомъ—потерять благодарную роль, мститъ автору за каждый свой неудачный выходъ. И все это не потому, что у прославленной артистки имѣется обдуманное опредѣленное мнѣніе о самой пьесѣ,—ничего подобнаго: артистка просто никогда не играла подобныхъ ролей и боится провалить свою славу. Но разъ спектакль сойдетъ благополучно,—она первая придетъ въ восторгъ отъ драмы и даже предложитъ автору поцѣловать ее «свою донью Соль».

Подобная исторія повторится при постановкѣ драмы—*Король забавляется*. Теперь разыграется чувство ревности къ таланту соперницы. Оно совершенно ослѣпляетъ классическую артистку, толкаетъ ее на такого сорта поступки, что авторъ вынужденъ будетъ публично заявить г-жѣ Марсъ, до какой степени возмутителенъ ея образъ дѣйствій. Онъ—авторъ—напоминаетъ при постороннихъ свидѣтеляхъ, какъ она—геніальная М-lle Марсъ душила несчастныхъ молодыхъ дебютантокъ, не давала имъ ходу—лишь бы самой блистать бутафорской молодостью въ пятьдесятъ лѣтъ!..

Происшествіе, возможное только въ тускломъ царствѣ кулисъ,—и оно отнюдь не исключительное, оно даже не тайна для публики. И мы понимаемъ, почему именно публика во всѣхъ столкновеніяхъ литературы съ театромъ становится на сторону писателей и позволяетъ съ артистами часто даже слишкомъ жестокія мѣры.

Факты преизобилуютъ опять въ тотъ же просвѣтительный вѣкъ. Публика часто выходитъ изъ терпѣнія, возмущенная актерскими художественными прихотями, ихъ раболѣпіемъ даже предъ второстепенными агентами правительства. Бываютъ случаи, когда партеръ бурно требуетъ отъ актера—стать на колѣни среди сцены и просить у публики прощенія за неприличную выходку, дѣлаетъ актерамъ выговоры за незнаніе ролей и дурную игру, незадолго до революціи—прерываетъ представленіе пасквильныхъ комедій реакціоннаго содержанія и заставляетъ актеровъ опускать занавѣсъ при самыхъ оскорбительныхъ крикахъ. И властямъ безпрестанно приходится прибѣгать къ полиціи, наполнять залу даже вооруженной стражей, чтобы дать актерамъ возможность—разыграть сатиру въ лицахъ на современныхъ популярнѣйшихъ писателей.

По сторонѣ актеровъ, кромѣ полиціи, еще «большой свѣтъ», мужескаго и женскаго пола. «Герцогини» даже пріобрѣтаютъ особенную извѣстность, какъ покровительницы сценическихъ героевъ. Весь Парижъ распѣваетъ куплеты о дамской театральной психопатіи, не стѣсняясь называть по именамъ и виновниковъ и жертвъ постыднаго недуга,—и фамиліи особенно модныхъ театральныхъ свѣтилъ превращаются чуть не въ бранныя клички.

И такъ продолжается въ то самое время, когда новая драма завладѣла всѣми сценами, когда театръ дѣйствительно превратился въ школу и въ парламентъ. Это превращеніе нисколько не подняло уваженія публики къ дѣятелямъ сцены и нисколько не расположило къ нимъ даже литературу. Актеры и драматурги и особенно критики по прежнему два воинствующихъ враждебныхъ лагеря. Это два непримиримыхъ психологическихъ міра. Взаимныя ихъ отношенія, очевидно, не подлежатъ преобразованію, какъ бы ни измѣнялись направленія общественной мысли и литературныя школы. Результатъ остается одинъ и тотъ же: театръ покорный слуга вѣяній, господствующихъ въ толпѣ, создающихъ ему публику,—все остальное внѣ его интересовъ. Исторія театра—типичная исторія *безъ направленія*,—точнѣе съ направленіемъ въ пользу *фактической силы* даннаго времени. Этотъ выводъ имѣетъ громадное значеніе: онъ показываетъ, что самъ по себѣ театръ—вовсе не культурное и не просвѣтительное явленіе,—онъ становится таковымъ исключительно какъ орудіе внѣшней, ему посторонней и въ сущности ему чуждой и весьма часто ненавистной власти—художественной литературы и прогрессивной общественной политики. Именно исторія подтверждаетъ печальную истину, что театръ—въ лицѣ своихъ даже первостепенныхъ дѣятелей—отзывался гораздо охотнѣе на реакціонныя мѣры правительства и на литературные вкусы толпы, чѣмъ шелъ на встрѣчу новому движенію идей и возрожденію искусства.

Франція въ теченіе двухъ столѣтій представила безчисленное множество доказательствъ,—въ высшей степени краснорѣчивыхъ и, надо думать, для восторженныхъ поклонниковъ театра болѣе или менѣе убѣдительныхъ.

III.

Чего только не перевидала французская публика на театральныхъ зрѣлищахъ! До восемнадцатаго вѣка ученые знали по книгамъ о поразительныхъ дѣяніяхъ аѳинскаго народа во время спектаклей. Историки разсказывали о безумныхъ взрывахъ восторга и гнѣва, о самыхъ откровенныхъ чувствахъ толпы по отношенію къ современнымъ знаменитостямъ политики и философіи. Исторія увѣковѣчила также услугу, какую аѳинскій театръ оказалъ эллинскимъ мракобѣсамъ и старовѣрамъ. Комедія яростно преслѣдовала новую свободную мысль и поразила пасквилемъ даже Сократа. Приснопамятная черта театральная безразличія къ идеямъ и людямъ! Но все это—блѣдныя тѣни сравнительно съ опытами новыхъ вѣковъ. Аристофанъ, конечно, чрезвычайно усердно защищалъ древній Олимпъ, вовсе лично не вѣруя въ него, издѣвался надъ демократическими вольностями республики, пользуясь ими какъ разъ для своихъ издѣвательствъ. Но авторъ *Облаковъ*—явленіе временное и нѣчто исключительное, до Аристофана и послѣ него театръ не имѣлъ такого громкаго политическаго значенія, Не то—въ послѣдніе два вѣка.

*

Съ помощью драматическихъ пьесъ можно подробно воспроизвести исторію современнаго общества, разумѣется въ той странѣ, гдѣ драматическая литература не состоитъ подъ усиленнымъ надзоромъ цензуры. Самымъ поучительнымъ примѣромъ можетъ служить французскій театръ. Даже протоколы законодательныхъ собраній и политическихъ митинговъ не могутъ дать такого жизненнаго и яркаго матеріала для характеристики новаго французскаго общества, какимъ изобилуетъ прошлое и настоящее однѣхъ только парижскихъ сценъ. Недаромъ французская печать съ такимъ усердіемъ слѣдитъ за дѣятельностью театра, безпрестанно издаются періодическіе отчеты объ отдѣльныхъ сценахъ, пишутся тщательныя изслѣдованія по вопросамъ драмы, для другихъ литературъ совершенно безразличнымъ. Даже ученое книгопроизводительства до сихъ поръ не изсякаетъ въ области театра и драматической критики. И на самомъ, дѣлѣ французамъ есть что изслѣдовать и чему поучиться въ своей театральной исторіи.

Въ высшей степени замѣчателенъ фактъ, что именно во Франціи идея о народно-образовательномъ назначеніи театра съ теченіемъ времени почти совсѣмъ заглохла. Полтораста лѣтъ тому назадъ она, можно сказать, гипнотизировала литературу и общество, а теперь даже временно не всплываетъ на поверхность идейныхъ интересовъ новой Франціи. Ея писатели способны рѣшать какіе угодно вопросы по теоріи драмы, искать новыхъ «формулъ» но восхвалять театръ, какъ просвѣтительное учрежденіе эта идея имъ не приходитъ на умъ. Театръ можетъ служить прекраснымъ зеркаломъ дѣйствительности, еще лучше—развлеченіемъ но школой!—это противорѣчитъ всей его новой исторіи.

Правда, въ прошломъ вѣкѣ со сцены публика слушала цѣлые политическіе трактаты, но это было наивное, младенчески-идеалистическое время. Оно исчезло безвозвратно и съ тѣхъ поръ театръ ни разу не допускалъ водвориться на своей сценѣ учительской каѳедрѣ. Революція разочаровала весьма многихъ даже изъ прежнихъ проповѣдниковъ, но никто не поспѣшилъ съ такой ревностью отмѣтить новое настроеніе, какъ театръ.

Во время революціи онъ торжествовалъ гибель самыхъ почтенныхъ преданій, повидимому, съ неудержимой радостью, показывалъ на сценѣ ѣуховенство въ самыхъ предосудительныхъ картинахъ, открещивался отъ всякаго намека на монархію, даже отъ слова *roi*. Но лишь только въ воздухѣ почуялись реакціонныя вѣянія, театръ немедленно сталъ во главѣ отрезвѣвшихъ и кающихся и здѣсь также хватилъ черезъ край,—согласно законамъ сценическаго темперамента. Реакціонный азартъ актеровъ дошелъ до такой степени, что публика снова начала устраивать скандалы по образцу дореволюціонныхъ, даже стрѣлять на сцену при слишкомъ вызывающихъ благонамѣренныхъ упражненіяхъ исполнителей. Но вѣтеръ дулъ въ ихъ сторону.

Всходила звѣзда Бонапарта, и театръ могъ со всею страстью предаваться издѣвательству надъ революціей, надъ созданными ею законами, надъ ея идеями и ея исторіей. Театръ поспѣшилъ воспользоваться вопіющей подтасовкой фактовъ, съ тѣхъ поръ

вошедшей во всеобщее обращеніе среди враговъ революціи. Театръ отождествилъ все революціонное движеніе съ терроромъ, всѣ принципы 89-го года съ якобинствомъ. Унижая до послѣдней степени Робеспьера и его кровавую клику, театръ заносилъ руку на всѣхъ дѣятелей революціи. Естественно, Бонапартъ нашелъ въ актерахъ готовыхъ глашатаевъ своихъ добродѣтелей и своего генія, и ни одно общественное учрежденіе, ни одно общество не спускалось до столь низкихъ ступеней лести, на какихъ стояла сцена и ея герои въ теченіе всего правленія Наполеона. Въ настоящее время трудно представить, до какой первобытной откровенности доходили публичныя вѣрноподданическія чувства театра, и нельзя сказать, чтобы всегда и во всемъ былъ виноватъ самъ грозный господинъ. Театръ явно старался забѣжать впередъ, соперничалъ съ полиціей и цензурой по части празднествъ и торжествъ въ честь семейныхъ радостей императора. Какихъ только пьесъ и сценъ не измышляли актеры, чтобы прославить то или другое событіе! Исторія и миѳологія были призваны къ отчету, чтобы увѣнчать новаго «Карла Великаго» и новаго «Ахилла» его отпрыска. На Бонапарта сыпались со сцены монологи совершенно въ духѣ византійскаго краснорѣчія, его украшали именами добродѣтельныхъ римскихъ императоровъ, особенно Траяна.

Но Наполеонъ палъ, Парижъ занятъ иноземными войсками, герой былъ русскій императоръ и актеры спѣшатъ его возвести также въ Траяна, ради него разыграть тотъ самый спектакль, которымъ они еще такъ недавно угощали Наполеона. Александръ I возмущается столь азіятской угодливостью, даетъ суровый урокъ актерамъ, отказываясь выслушивать ихъ словословія.

Александръ I не одинъ, — найдется не мало коронованныхъ любителей театра во вкусѣ Бонапарта, и театръ, еще не изживши своихъ хвалебныхъ гимновъ въ честь Наполеона, принимается вѣнчать Бурбоновъ, воскрешаетъ память Генриха IV, увѣряетъ публику, что вся Франція въ восторгѣ даже отъ графа Артуа—едва ли не самаго легкомысленнаго и ограниченнаго принца во всей бурбонской фамиліи. Но актеры слишкомъ поторопились, Наполеонъ еще не совсѣмъ погибъ, онъ возвращается въ Парижъ и воцаряется на сто дней: приходится опять перестраивать инструменты и бѣдный Траянъ опять долженъ отвѣчать своей славой, въ третій разъ мѣнять себѣ соревнователя и соименника.

Уже этихъ преобразованій вполнѣ достаточно, чтобы оцѣнить историческую роль театра въ одну изъ самыхъ отвѣтственныхъ политическихъ эпохъ новой Франціи. Мы не должны забывать, что направленіе сцены зависѣло отъ вкуса самихъ актеровъ. Конечно, наполеоновская тайная и явная полиція не дремала, народились и литераторы съ откровеннымъ девизомъ «чего изволите», но театръ могъ дѣлать выборъ. Какъ прежде такъ и при Наполеонѣ *французская комедія* сама обсуждала и принимала пьесы для представленія. *Комитетъ* актеровъ изрекалъ приговоры авторамъ и ихъ произведеніямъ, и этотъ именно комитетъ шелъ на встрѣчу рабскому повѣтрію литературы. Мы не знаемъ ни единаго

случая болѣе или менѣе независимаго и достойнаго поведенія со стороны всей труппы или ея отдѣльныхъ членовъ. Съ авторами и печатными произведеніями наполеоновской цензурѣ приходилось выдерживать непріятныя столкновенія: она отлично умѣла читать ненапечатанное!—актеры и пьесы, принятыя на сцену,—блистали благонравіемъ. И Наполеонъ умѣлъ цѣнить услуги театра, былъ ревностнымъ посѣтителемъ спектаклей, велъ даже знакомство съ актерами, напримѣръ съ знаменитымъ Тальма.

Но и съ этой дружбой произошла неожиданная исторія, еще разъ открывшая актерамъ глаза на ихъ настоящее общественное и нравственное положеніе. Тальма очень желалъ украсить себя знакомъ почетнаго легіона. Наполеонъ жаловалъ артиста чрезвычайно, повидимому не существовало никакихъ препятствій. Крестами и наградами располагалъ человѣкъ съ неограниченной властью и съ глубочайшимъ принципіальнымъ презрѣніемъ къ общественному суду. И все таки Тальма креста не получилъ: даже Наполеонъ побоялся сравнять великаго актера съ простымъ солдатомъ своей арміи. Можно было перечеркнуть всѣ революціонныя декларації и конституціи,—но украсить актера орденомъ это, повидимому, нестерпимое нарушеніе естественныхъ законовъ благоустроеннаго государства. И Наполеонъ былъ правъ. Онъ не могъ не знать, на какомъ уровнѣ даже послѣ революціоннаго уравненія всѣхъ сословій и состояній, стояло званіе актера въ глазахъ общества? Писатель успѣлъ завоевать себѣ гражданскія права. Ихъ у него не было такъ же, какъ и у актера, при старой *классической* монархіи. Полвѣка мужественной идейной борьбы возвели писателя на степень нравственной и даже политической силы, революція признала его дѣло—великимъ достояніемъ страны, даже Наполеонъ терялъ сонъ и аппетитъ изъ страха предъ «идеологами» и призналъ необходимымъ почтить гоненіемъ женщину-писательницу.

Ничего подобнаго не случилось въ судьбѣ актеровъ. Они какъ были отверженцами полноправнаго гражданскаго общества при Людовикахъ, такими и остались при Наполеонѣ и даже при Бурбонахъ. Конечно, революція, освобождавшая негровъ, не могла допустить отлученія актеровъ отъ церкви и лишенія обыкновенныхъ правъ всякаго гражданина, не обезчещеннаго по суду. Но кодексъ узаконялъ разныя положенія самъ по себѣ, а общество рѣшало вопросы само по себѣ,—и даже Наполеонъ не дерзнулъ пойти противъ его рѣшеній.

И причина, разумѣется, не предразсудки: возводилъ же Наполеонъ даже въ королевскій санъ людей самаго послѣдняго происхожденія. Бывшіе трактирные слуги становились герцогами и маршалами, а Тальма до конца дней оставалось сѣтовать на безгранично болѣе скромную неосуществленную мечту. Очевидно, актеры даже въ эпоху всеобщаго энтузіазма во имя свободы, не сумѣли подняться до общаго уровня, не оставили въ памяти публики ни одной черты своей гражданской доблести и только—они единственные—прошли сквозь революцію не дѣятелями и не участниками, сколько-нибудь сочувствующими и сознательными.

И общество не находило возможнымъ—перемѣнить свой исконный взглядъ на достоинство актера. Театральные подвиги за время имперіи могли только упрочить этотъ взглядъ и Бурбоны впослѣдствіи попытаются опять низвести актеровъ къ прежнему дореволюціонному положенію, т. е. считать ихъ отлученными отъ церкви, лишать ихъ церковнаго погребенія, не признавать ихъ браковъ законными. Правда, парижское населеніе возмутится противъ нетерпимости духовенства, но вовсе не изъ желанія,—защитить честь актеровъ, а въ порывѣ негодованія вообще противъ ненавистной іезуитской политики реакціоннаго правительства.

Дальнѣйшая роль театра нисколько не противорѣчила этому положенію вещей. Съ теченіемъ времени театръ, повидимому, все рѣшительнѣе сосредоточивался на одной благодарной задачѣ: уловливать забавное и пикантное въ современныхъ событіяхъ, все равно каковъ бы ни былъ общій смыслъ этихъ событій.

На первомъ планѣ—бонапартизмъ. Несомнѣнно, французскіе либералы не обнаружили особенной политической зрѣлости, избравъ знаменосцемъ своей партіи сначала свято-еленнскаго изгнанника, потомъ его сына и, наконецъ, цѣлый рядъ мелкотравчатыхъ наполеонидовъ. Но политики имѣли за собой, по крайней мѣрѣ, одно оправданіе: имя Наполеона, славныя военныя преданія имперіи служили смертоноснымъ укоромъ бездарности и немощамъ Бурбоновъ. Театръ пользовался «наполеоновской легендой» безъ всякихъ политическихъ разсчетовъ, просто какъ неисчерпаемымъ кладеземъ для мелодраматическихъ и весьма часто просто уличныхъ зрѣлищъ. Онъ явился усерднѣйшимъ оруженосцемъ бонапартизма, впослѣдствіи—Луи Наполеона, безъ конца эксплуатировалъ пресловутый *Меморіалъ св. Елены*, выводилъ на сцену всѣ небылицы въ лицахъ, какія только можно извлечь изъ этой едва ли не самой лживой, рабской и лицемѣрной книги, какая только появлялась во Франціи за первую половину XIX-го вѣка. Театръ пустилъ въ ходъ всѣ испытанные дешевые эффекты, собиралъ богатую дань съ уличныхъ зѣвакъ, мелкихъ аферистовъ, съ площаднаго шовинизма, прокладывая дорогу къ престолу второму цезарю. Одновременно актеры издѣвались надъ соціальнымъ движеніемъ, выдергивали отдѣльныя фразы изъ произведеній даровитѣйшихъ публицистовъ—въ родѣ Прудона и Луиблана и играли на смѣшливыхъ инстинктахъ толпы. Повторялась дореволюціонная исторія: тогда Руссо показывали со сцены дикаремъ на четвереньках, выводили его послѣдователей въ лицѣ лакеевъ, плутовъ и воровъ, теперь та же политика была пущена въ ходъ противъ соціальныхъ ученій. Революція сорокъ восьмого года создала неограниченную свободу печатнаго и устнаго слова, и театръ поспѣшилъ воспользоваться случаемъ, для пущаго униженія республики и ея законовъ. Театръ прямо настаивалъ на новомъ государственномъ переворотѣ въ пользу монархіи. Появилась нарочно написанная пьеса *Ярмарка идей*, долго не сходившая съ афиши. Она вела правильную ожесточенную войну съ республиканскимъ правительствомъ, съ народными представителями, поднимала на смѣхъ знаменитый девизъ—свобода, братство и ра-

венство, объясняла эти слова всевозможными шутовскими способами и, разумѣется, дискредитировала и людей и идеи въ глазахъ всегда многочисленныхъ охотниковъ до пошлаго пищеварительнаго зубоскальства. Слово воровство, напримѣръ, предлагалось замѣнить словомъ *братство* и говорить вмѣсто,—часы украли, часы побратали—*on fraternise une montre*! Не пощадили актеры даже національнаго гимна. На сценѣ депутаты являлись въ видѣ лягушекъ и квакали, при общей потѣхѣ зрителей,—мотивъ *Марсельезы*.

Это—въ области комедіи. Драма старалась въ томъ же направленіи. Она давала трогательныя зрѣлища изъ временъ первой революціи, воспроизводила судьбу ея жертвъ и старалась вызвать поздніе слезы раскаянія и сожалѣнія у современной публики. Однимъ словомъ,—театръ всецѣло состоялъ на услугахъ реакціи и своей свободой пользовался въ интересахъ господина.

Онъ уже приближался, на встрѣчу ему летѣли прозрачные льстивые намеки, сцена превращалась въ лагерь или въ боевое поле и публику старались электризовать бонапартисткимъ токомъ. Цѣль достигнута, бонапартизмъ одержалъ побѣду и надъ революціей и надъ республикой и надъ всѣми принципами и девизами. Началась эпоха, заложившая прочныя основы растлѣнію общества, государства и литературы, эпоха, перенесшая свое тлетворное дыханіе и на третью республику. Театръ, разумѣется, не могъ отстать отъ общаго теченія,—и воспоминаніе о немъ—какъ о «трибунѣ» и «кафедрѣ»—навсегда кануло въ невозвратное прошлое.

Время отъ времени, конечно, появлялись пьесы идейнаго содержанія. Но даже самыя *театральныя* и наивныя изъ этихъ произведеній—въ родѣ, напримѣръ, пресловутой *Дамы въ камеліяхъ*—должны были по исконному порядку выдерживать борьбу съ актерской косностью и неизмѣннымъ равнодушіемъ къ «ничтожнымъ нравственнымъ цѣлямъ».

Это равнодушіе съ поразительной силой отразилось на театральной критикѣ. Театръ именно въ наше время создалъ особую породу литератора-*рецензента*, породу—не обладающую ни единымъ признакомъ собственно писательскаго типа. Раньше, еще до второй четверти нашего вѣка, театральная критика являлась дѣломъ безусловно литературнымъ, драматурги-реформаторы непремѣнно старались теоратически выяснить принципы своей реформы, предисловія къ пьесамъ—настоящіе трактаты по драмѣ и театру, писались одновременно съ художественными произведеніями, создававшими эпоху въ искусствѣ. Вообще театральная критика была столь же неразрывно связана съ литературой, какъ и сама драма. Теперь все это измѣнилось въ самомъ корнѣ.

Все равно какъ драматурги считаются какъ бы внѣ писательскаго круга прессы, вовсе не причисляются къ литературѣ, такъ и театральная критика давно уже стала особымъ—*полулитературнымъ* ремесломъ. Театральный критикъ можетъ и даже долженъ писать рѣшительно обо всемъ, что касается кулисъ и сцены,—и не имѣть ни малѣйшаго касательства собственно къ

литературѣ. Онъ—принадлежитъ учрежденію не художественному, дѣятелямъ не идейнымъ, онъ—приспѣшникъ актеровъ, а не союзникъ писателей, онъ, по мѣрѣ силъ обязанъ быть такъ же увеселителемъ театральной толпы, какъ и сценическіе герои, писать въ особомъ genre badinant, т. е. фельетонно-шутовскомъ и беззаботномъ на счетъ содержанія и цѣлей писанія. Образцы достаточно извѣстны: Франциск Сарсэ и Жюль Лемэтръ—истинные создатели цѣлой школы, особаго улично-кулиснаго блягерства, импрессіонистской амикошонской болтовни объ актерахъ и актрисахъ и—*по поводу ихъ*—о пьесахъ. Это принципіальное и послѣдовательное упраздненіе мысли и литературы и неограниченное торжество истинно декадентскаго лозунга: *Cela nous amuse*! И посмотрите, съ какимъ варварскимъ фанатизмомъ эти критики возстаютъ противъ всякаго литературнаго явленія, угрожающаго идеями. Сарсэ ополчился противъ шекспировскихъ драмъ и не побоялся печатно заявить, что всѣмъ этимъ *Отелло и Гамлетамъ* гораздо предпочтительнѣе бойкій водевиль парижскаго происхожденія. Таже судьба постигла и драмы Ибсена. Лемэтръ съ своей стороны вооружился на «славянщину», т. е. русскій романъ, и смѣшалъ съ самой подлинной бульварной грязью *Грозу* Островскаго. И все это вполнѣ естественно; современному театру не подъ силу подобныя произведенія, актеры ихъ не понимаютъ, съ ихъ стороны потребовалось бы исключительное напряженіе мысли и сценическаго таланта, и напряженіе, на ихъ взглядъ, совершенно излишнее: достаточно найдется благодарной публики и для ихъ привычныхъ, почти механическихъ упражненій.

Въ результатѣ устанавливается своего рода круговая порука между театромъ и драматической литературой, актеромъ и рецензентомъ. Въ общемъ получаются въ полномъ смыслѣ поддонки, *интеллигентный отстой* и даже мысль о высокомъ общественномъ назначеніи театра является праздной и жалкой мечтой. Разсчитывать на ея осуществленіе могутъ только или безнадежные теоретики-идеалисты или люди съ богатырскими силами—художественными и практическими. Какъ велики должны быть эти силы, показываетъ самая послѣдняя попытка въ нашемъ вѣкѣ преобразовать театръ въ просвѣтительное учрежденіе. Авторъ книги, вызвавшей насъ на бесѣду о театрѣ, только мимоходомъ успѣлъ собрать немало въ высшей степени краснорѣчивыхъ данныхъ. Извѣстны онѣ давно, но слишкомъ часто забывается ихъ дѣйствительный смыслъ, и самъ авторъ не отдаетъ себѣ полнаго отчета въ ихъ значеніи, хотя и не принадлежитъ къ породѣ театральныхъ фанатиковъ.

IV.

Врядъ ли кто изъ всѣхъ писателей новаго времени до такой степени былъ одаренъ талантами поэта-трибуна, какъ Викторъ Гюго. И онъ весьма рано понялъ силу своего таланта и направилъ ее на двойную цѣль: преобразовать драму и пустить въ оборотъ множество новыхъ свободныхъ идей, создать торжество литератур-

ному и политическому либерализму. Общее направленіе искусства и идеаловъ именовалось романтизмомъ и вмѣщало въ себѣ небывало-богатое содержаніе.

Гюго и его соратники не оставили, кажется, ни одного нравственнаго и политическаго вопроса не затронутымъ, но своему неразработаннымъ. Ближайшій и самый «поэтическій»—разумѣется, вопросъ о любви. Романтики поставили его на новую почву, освѣтили его по истинѣ сверхъестественнымъ свѣтомъ, усложнили его до послѣдней степени—сравнительно съ прежними поэтами—и связали его съ политикой, съ величайшимъ фактомъ новой исторіи, съ демократическимъ движеніемъ. Можно написать обширный трактатъ только на тему о «романтической любви».

Какое прежде всего возвышенное *психологическое* представленіе объ этомъ чувствѣ? «Земная» любовь—вовсе не простая потребность человѣческой природы, не страсть, не голосъ крови и сердца, а нѣкая таинственная сила, только однажды снисходящая на человѣка. Она—божественнаго происхожденія и неразрывными узами связана съ «вѣчной любовью». Она очищаетъ грѣшника искупляетъ преступленія, она—высшая евангельская истина: Іисусъ обнаруживалъ больше нѣжности къ обращеннымъ грѣшницамъ, чѣмъ къ женщинамъ безупречной добродѣтели. Любовь не ограничивается земнымъ существованіемъ, она безсмертна, какъ человѣческая душа, она—источникъ величайшихъ самопожертвованій и подвиговъ, она, какъ Богъ, имѣетъ своихъ мучениковъ и исповѣдниковъ.

Естественно, предъ любовью исчезаютъ всѣ ранги и грани, измышленныя государствомъ и обществомъ. Королева можетъ полюбить послѣдняго изъ своихъ подданныхъ, потому что *женщина* выше *королевы* и сердце благороднѣе всѣхъ ранговъ и состояній. Здѣсь, рядомъ съ высшимъ закономъ природы и нравственности, восторжествуетъ также политическій принципъ: королева, обожающая лакея, дальше не можетъ идти протестъ противъ привилегій и неравенства!

Но, при столь рѣшительной и глубокой постановкѣ сердечнаго вопроса, соотвѣтствующій характеръ долженъ получить и самъ герой. И онъ дѣйствительно будетъ вознесенъ на головокружительную высоту: предъ нимъ самые пышные короли и принцы классической сцены покажутся жалкими фигурантами.

Романтическій герой—личность фатальная, надѣленная совершенно исключительной судьбой. Его духовныя силы—громадны, его несчастья—безпримѣрны, превращенія его участи—сверхъестественны. Его внѣшній видъ, его рѣчь, каждый его выходъ на сцену исполнены блеска и эффекта. Герой, по основному правилу романтическаго искусства, олицетворяетъ народъ—силу таинственную, мощную и всеобъемлющую.

Но при такомъ крайнемъ напряженіи *индивидуальной* героической психологіи поэты не желаютъ пожертвовать толпой и исторической обстановкой. Они выведутъ на сцену и самый народъ, одной изъ основъ преобразованной драмы—признаютъ историческое освѣщеніе среды и событій. Поэзія никогда еще не задавалась такими разносторонними и, повидимому, даже необъятны-

ми задачами: реализмъ обстановки и сверхчеловѣческое величіе героевъ, и въ результатѣ должна получиться непремѣнно значительная политическая идея. Это значитъ—исчерпать всѣ рессурсы драмы и сцены и театръ поставить выше и трибуны и каѳедры, выше самой жизни, такъ какъ она только въ смутныхъ и отрывочныхъ образахъ заставляетъ наблюдателя прозрѣвать высокіе нравственные уроки.

И романтики обратились несомнѣнно къ самому внушительному учителю, все къ тому же Шекспиру, который уже неоднократно возрождалъ и создавалъ европейскую драму. Гюго, преисполненный восторженныхъ чувствъ къ британскому поэту, вознамѣрился извлечь изъ его произведеній—непреложныя указанія и образцы для новой драмы. И онъ извлекъ, перенесъ ихъ немедленно на современную сцену и провозгласилъ ихъ неограниченную и вѣчную власть надъ театромъ новаго времени.

Но посмотрите, что произошло съ шекспировскими уроками на романтической сценѣ!

Шекспиръ, какъ всякому извѣстно, рѣшительный реалистъ: онъ не останавливается предъ самыми удручающими личностями, въ нравственномъ отношеніи и предъ самыми жестокими трагическими эпизодами. Это одно,—другое—рядомъ съ великимъ зломъ Шекспиръ даетъ мѣсто низменной пошлости, смѣхъ и слезы на его сценѣ не исключаютъ другъ друга, а, напротивъ, сопровождаютъ, короли и шуты, герои и уродцы—выступаютъ одновременно и правовѣрный классикъ пришелъ бы въ отчаяніе, какъ назвать шекспировскую пьесу—трагедіей или комедіей? Въ ней всего достаточно—и крови и юмора, и ужасовъ и идиллій.

Именно такъ и должно быть!—восклицаетъ новѣйшій романтикъ,—и устанавливаетъ правило: въ драмѣ непремѣнно должно быть на сценѣ *grotesque*, т. е. нѣчто выдающейся по своей оригинальной смѣхотворности: это, по мнѣнію Гюго, одна изъ высшихъ красотъ драмы. Рядомъ возвышенное *sublime*, ужасное и шутовское—*bouffon*: изъ ихъ совмѣстнаго развитія на сценѣ и получится, по соображеніямъ романтика, настоящій реализмъ и въ то же время будетъ оправданъ кличъ новой литературы: «Шекспиръ—богъ театра».

На самомъ дѣлѣ реальнаго получилось очень мало. То, что у Шекспира являлось непосредственнымъ выраженіемъ дѣйствительности и свободнымъ внушеніемъ его творческаго генія, у романтика превратилось въ чисто-отвлеченную систему, въ заранѣе придуманную программу театральныхъ эффектовъ. Сліяніе трагическаго и комическаго на современной сценѣ преобразовалось въ снисходительные контрасты невиданной міромъ красоты и едва вѣроятнаго уродства.

На сценѣ контрасты выходили чрезвычайно поразительными, актеры, побѣжденные въ своемъ косномъ упорствѣ предъ всякимъ нововведеніемъ, скоро освоились съ *гротесками* романтиковъ и почувствовали даже глубокую благодарность за необыкновенно благодарныя роли высшаго театральнаго эффекта. Театръ, въ лицѣ актеровъ-художниковъ, торжествовалъ, изображая рыцар-

ственныхъ бандитовъ, геніальныхъ лакеевъ, чувствительныхъ королевъ и трагическихъ шутовъ, но исторія и жизненная правда должны были облечься въ трауръ и отчаяться въ своемъ торжествѣ на новой *реальной* сценѣ.

Это не первый случай, когда интересы театра порабощали исторію и психологію, и всегда послѣ страстнаго увлеченія Шекспиромъ. Уже Шиллеръ ввелъ на сцену контрасты, сценическіе эффекты, основанные на столкновеніи двухъ непримиримо-враждебныхъ и одинаково неисторическихъ личностей. Знаменитыя сцены—маркиза Позы съ королемъ Филиппомъ, Маріи Стюартъ съ Елизаветой—классическіе образцы блестящей *сценичности* и совершенно извращенной исторической правды и психологической логики. Но именно эти образцы и создали славу шиллеровскихъ пьесъ на сценѣ. Никакія идеи не могли бы побудить актеровъ и актрисъ играть роли «безъ выходовъ», и если бы маркизъ Поза произносилъ свои монологи не предъ «коронованнымъ инквизиторомъ» и не очаровывалъ своимъ благороднымъ и революціоннымъ краснорѣчіемъ именно это чудовище самовластія и жестокости, драма Шиллера давно была бы осуждена на почетное пребываніе среди классической исключительно книжной литературы.

Гюго подчинился тѣмъ же *театральнымъ* разсчетамъ. Весь шаржъ, вся лубочность красокъ въ его пьесахъ должны быть отнесены на счетъ ихъ сценичности. Надо обладать единственнымъ геніемъ Шекспира, чтобы спасти исторію и психологію рядомъ съ актерскими запросами къ пьесѣ. И недаромъ Шекспиръ устами Гамлета жестоко негодовалъ на сотрудничество актеровъ въ драмахъ и комедіяхъ, на произвольныя вставки, на шутовскія выходки—комиковъ и раздираніе природы на части—трагиковъ.

Однородныя явленія мы наблюдаемъ до сихъ поръ. Всякій, кому случалось видѣть самыхъ знаменитыхъ исполнителей шекспировскихъ ролей, долженъ знать, въ какомъ обязательно изуродованномъ видѣ предлагаются публикѣ, именно этими театральными геніями, и роли и самыя пьесы. Мы не можемъ назвать даже ни одного сценическаго Гамлета, не наложившаго рукъ на шекспировскій текстъ. Достаточно двухъ примѣровъ: даровитѣйшій французскій Гамлетъ Мунэ-Сюлли *вставляетъ* въ драму цѣлыя сцены собственнаго или, во всякомъ случаѣ, не шекспировскаго сочиненія, напримѣръ, безсмысленную школьническую сцену—врученія Гамлетомъ письма—Офеліи. Блестящій итальянскій Гамлетъ Росси передѣлывалъ всю драму, переставлялъ сцены, вычеркивалъ цѣлые монологи—и это изъ пьесы, гдѣ вся сущность въ монологахъ, вычеркивалъ даже незабвенную жалобу датскаго принца на распаденіе міра и на нравственный долгъ его, принца, возстановить міровую гармонію!

Для всякаго сколько-нибудь мыслящаго читателя въ этой жалобѣ, весь Гамлетъ съ величавыми порывами юнаго идеализма, съ безысходной тоской одиночества, съ невыносимо-жестокой жизненной задачей, а для актера это лишнія слова, потому что, надо думать, въ нихъ мало сценическаго содержанія и съ ними нельзя сдѣлать благодарнаго «выхода».

Такова исконная борьба театра съ правдой и истинно художественнымъ искусствомъ. Актеръ требуетъ наиболѣе громкаго успѣха съ наименьшей затратой труда, успѣха, разсчитаннаго непремѣнно на самый обширный кругъ публики, безъ малѣйшаго соображенія о культурныхъ достоинствахъ этого круга, объ его художественномъ вкусѣ и просто даже умственномъ развитіи. Требуется совершенно исключительное самоотверженіе со стороны сценическаго таланта, чтобы онъ легкость и общедоступность своихъ лавровъ принесъ въ жертву идеѣ и художественности. По крайней мѣрѣ, исторія не знаетъ примѣровъ подобнаго мужества и, если судить по современному направленію театра, врядъ-ли когда и узна́етъ.

Мы безпрестанно убѣждаемся, до какой степени театръ по существу—учрежденіе косное и эгоистическое. Каждому русскому зрителю долженъ быть извѣстенъ господствующій фактъ нашей современной сцены: она безнадежно вращается будто въ колесѣ въ ограниченномъ шаблонномъ репертуарѣ такъ называемыхъ фрачныхъ и сюртучныхъ пьесъ. Это не просто гардеробные и бутафорскіе термины: они выражаютъ вполнѣ опредѣленный *жанръ* драматической литературы. Современный русскій актеръ умѣетъ изображать только такъ называемаго интеллигентнаго человѣка, т. е. фигуру совершенно неиндивидуальную, своего рода международную формулу прилично одѣтой и умѣющей держать себя человѣческой особи. По этой фигурѣ выкраиваются драмы, комедіи и просто пьесы. Каждое представленіе ничто иное, какъ варіація на давно вытверженные сценическіе пріемы, жесты, манеру объяснять любовныя и всякія иныя чувства. Умѣть носить костюмъ, ходить по сценѣ и болѣе или менѣе естественно выбалтывать всякія пошлости въ спокойныхъ сценахъ и эффектно, съ оттѣнками выкрикивать избитыя тирады въ драматическіе моменты, вотъ и весь современный артистъ. А что касается *индивидуализированія* роли, ея психологическаго изученія, то это, во-первыхъ, лишнее: драматурги сами не имѣютъ ничего общаго съ живой *личной* психологіей, они давно уже выдрессированы для сочиненія *ролей*, а не для создаванія *типовъ*, а потомъ, психологія и разнообразіе личностей вполнѣ подмѣняются видоизмѣненіями въ гриммѣ и въ подробностяхъ костюма. Пиджакъ съ бородой или фракъ съ усами, полосатые брюки съ обильной шевелюрой или скромная «пара» съ прической подъ гребенку—вотъ и вся «психологія», привычный зритель уже догадается, что все это означаетъ и будетъ даже благодаренъ, что ему, вмѣсто разныхъ соображеній, прямо показываютъ готовую вывѣску съ надписями въ родѣ дѣтскихъ иллюстрацій.

Въ результатѣ, со сцены исчезло все характерное, жизненное, индивидуальное. Она превратилась въ школьническую маріонеточную игру, въ царство—шаблоннаго, посредственнаго, безличнаго. На русскихъ сценахъ, напримѣръ, почти совсѣмъ не играются пьесы Островскаго,—и не потому что для нихъ нѣтъ публики: опытъ доказываетъ совершенно обратное, а потому что актеры не умѣютъ, не способны играть сколько-нибудь психологическихъ

ролей. Гораздо легче разрисовать физіономію и сшить новый костюмъ, чѣмъ работать умомъ, ломать годами пріобрѣтенный сценическій навыкъ, приспособлять свою застывшую въ трафаретныхъ рамкахъ и въ конецъ нравственно обѣднѣвшую природу, къ глубокому жизненному замыслу художника. Если, ужъ *геніальные* артисты, въ родѣ Росси, не въ силахъ сыграть дѣйствительно—шекспировской роли и берутся за нее только послѣ многообразныхъ «исправленій» и «аранжировокъ», чего же требовать отъ простыхъ ремесленниковъ сцены—все равно на первыхъ ли они роляхъ или на вторыхъ? Разницы по существу нѣтъ между современнымъ первымъ театральнымъ персонажемъ и вторымъ и третьимъ: одинъ столяръ и кузнецъ, а другой рѣзчикъ и слесарь,—и всѣ одинаково не художники и не психологи.

И мы безпрестанно видимъ, какъ постепенно падаетъ литература на служеніи театру. Актеры стоятъ плотной стѣной противъ писателей и произведеній, угрожающихъ нарушить ихъ безпечальное приживательство якобы у храма искусства. Напримѣръ, пьесы изъ народной жизни или не попадаютъ на сцену или непремѣнно проваливаются: актеры не могутъ и, слѣдовательно, не желаютъ ради «ничтожной нравственной цѣли» совлекать съ себя модные костюмы, мѣнять салонный языкъ, покидать танцмейстерскія манеры. На все это существуетъ публика и даже психопатически-увлеченная, что и требуется доказать, все остальное не касается театра.

Мы могли бы подтвердить всѣ эти положенія множествомъ поучительнѣйшихъ фактовъ и, вѣроятно, найдется не одинъ читатель, также располагающій запасомъ подобныхъ доказательствъ. Но мы говоримъ объ общихъ тенденціяхъ театра, какъ общественнаго учрежденія. Они сами по себѣ менѣе всего прасвѣтительныя и культурныя. Театръ, предоставленный собственнымъ задачамъ и стремленіямъ, никогда и нигдѣ не обнаруживалъ наклонности служить какой бы то ни было идеѣ. Онъ по существу и по всей своей исторической судьбѣ зрѣлище, а не школа, и мы видѣли, въ самыя идейныя эпохи новой европейской исторіи—театръ, на сколько отъ него зависѣло, стоялъ на сторонѣ преданій, отжившихъ привилегій и правъ матеріальной власти. Если онъ начиналъ служить освободительному движенію, это происходило исключительно подъ непреодолимымъ давленіемъ литературы и общества. Какъ только это давленіе, ослабѣвало или реакція пріобрѣтала власть,—театръ немедленно и съ чрезвычайнымъ усердіемъ становился застрѣльщикомъ *торжествующей* силы и часто простиралъ свое усердіе до такихъ предѣловъ, что даже вызывалъ открытое негодованіе публики.

Эти историческіе уроки мы должны помнить всякій разъ, когда рѣчь заходитъ о нравственномъ и общественномъ значеніи театра. Онъ въ такихъ случаяхъ—простое орудіе, *пассивное средство* съ исконными привычками *активно* сопротивляться именно идейнымъ цѣлямъ. Литература и общество должны напрячь всѣ усилія, чтобы повернуть театръ на путь просвѣщенія и идейности и неотступно слѣдить за новымъ направленіемъ сцены. Она только

будетъ отражать безусловно *настойчивыя* внѣшнія внушенія и по собственной иниціативѣ не вступитъ на идейную дорогу и еще менѣе пойдетъ по ней, если въ данное время идеи не будутъ господствующей силой въ литературѣ и въ общественной средѣ, если сама публика не станетъ увѣренно идейной.

Только на такой почвѣ и можно строить планы объ услугахъ театральной сцены народному просвѣщенію и вообще національному прогрессу. И въ особенности русское общество и русская художественная и критическая литература не должны забывать, какъ дешевы и по существу безцѣльны мечты о театрѣ-школѣ и о театрѣ-трибунѣ и какъ на самомъ дѣлѣ *лично*—отвѣтственны и трудны обязанности всякаго, кто сочувственно и съ дѣятельными намѣреніями произноситъ слова «народное просвѣщеніе». Онъ, и только онъ, въ эту минуту просвѣтитель и трибунъ.

Культурные и соціальные вопросы нашего времени при свѣтѣ германской исторіи.

По поводу книги *Die geistigen und socialen Strömungen des Neunzehnten Jahrhunderts*», von Dr. Theobald Ziegler. Berlin, 1899.

I.

Профессоръ страсбургскаго университета, Циглеръ, задумалъ подвести итоги умственнымъ и соціальнымъ успѣхамъ своего отечества за истекающее столѣтіе. Въ дѣйствительности еще ни одна историческая эпоха никогда не начиналась и не заканчивалась годъ въ годъ съ какимъ бы то ни было вѣкомъ, календарь прогресса будто преднамѣренно всегда отступаетъ отъ астрономическаго и принятыя нами обозначенія—восемнадцатый вѣкъ, девятнадцатый не менѣе условны и произвольны, чѣмъ грани въ жизни отдѣльнаго человѣка—молодость, зрѣлость или старость.

Напримѣръ, восемнадцатый вѣкъ въ исторіи культуры начался отнюдь не съ 1700 года, а развѣ только лѣтъ пятнадцать спустя, послѣ смерти Людовика XIV. Она не только устранила съ міровой сцены самого породистаго представителя эпохи, но и обнаружила полную нравственную безнадежность ея устоевъ и открыла ихъ для критики новой свободной мысли. Девятнадцатый вѣкъ отсталъ отъ календаря также лѣтъ на пятнадцать. Часъ его пробилъ при Ватерлоо, гдѣ окончательно рѣшился вопросъ съ послѣднимъ фактомъ революціоннаго переворота — съ наполеоновской имперіей, и по всей Европѣ начался открытый оффиціальный культъ воскресавшаго «стараго порядка»—деспотическаго, патріархальнаго и темнаго. Нашъ вѣкъ также не заключается 1900 годомъ,—исторія, повидимому, и въ данномъ случаѣ относитъ рѣшительный моментъ на неопредѣленное будущее и теперь мы развѣ только можемъ догадываться о смыслѣ этого момента. Можетъ быть—это будетъ какой-нибудь великій кризисъ въ парламентаризмѣ,

столь упорно и послѣдовательно проявляющемъ свои несовершенства въ современной буржуазно-либеральной формѣ.

И тѣмъ не менѣе, замыселъ нѣмецкаго ученаго вполнѣ основателенъ, даже еслибы онъ и не ограничилъ своей громадной работы календарнымъ концомъ вѣка. Въ цивилизованномъ мірѣ въ настоящее время не существуетъ народа, успѣвшаго накопить такое богатство итоговъ, какъ именно нѣмцы. Ихъ новѣйшая исторія будто нарочно создана для общихъ философскихъ и политическихъ соображеній. Ростъ необыкновенно быстрый, блестящій, единственный во всей исторіи человѣчества по контрасту исходной точки соціальнаго и политическаго развитія и уже достигнутыхъ результатовъ.

Все это ставитъ нѣмецкаго историка въ очень щекотливое положеніе. Обладай онъ самой невозмутимой скромностью и идеально-философскимъ взглядомъ на вещи, ему трудно не «возмечтать» предъ совершенно наглядными фактами небывалаго отечественнаго прогресса. Всего полвѣка назадъ—нѣмцы почти только этнографическій терминъ, самое большее—нація мыслителей и поэтовъ, очень хорошо освѣдомленная въ области голубого неба и причины всѣхъ причинъ,—но ничего не понимающая въ государственной политикѣ, въ настоящее время, это — Германская имперія, одна изъ самыхъ могущественныхъ, политическихъ и самыхъ дѣятельныхъ экономическихъ державъ всего міра. И всѣ эти успѣхи, повидимому, только еще вступаютъ на открытый широкій путь. Блестящее будущее должно принадлежать генію того народа, который обнаружилъ такой громадный запасъ духовныхъ, раньше даже неподозрѣваемыхъ силъ.

Стоитъ только взглянуть на изображенія замѣчательныхъ людей, украшающія нашу ученую книгу, чтобъ судить о количествѣ и качествѣ талантовъ, затраченныхъ на нѣмецкій прогрессъ девятнадцатаго вѣка. Какое разнообразіе и глубина психологіи, какая разносторонность способностей, сосредоточенная работа отвлеченной мысли и самоотверженная рѣшительность практической воли! Настоящая галлерея героевъ мысли и дѣла. Она вызывала бы изумленіе отдаленнѣйшихъ поколѣній, даже если бы идеи и намѣренія остались неосуществленными...

Первая фигура, открывающая новый вѣкъ, *Гёте* и послѣдняя—*Нитче*. Трудно представить два лица, столь несходныхъ, столь краснорѣчиво говорящихъ о великомъ преобразованіи не идей только, а самыхъ натуръ среди одного и того же народа. Принесло ли людямъ это преобразованіе новое счастье, приблизило-ли оно ихъ къ истинѣ — врядъ ли кто рѣшится отвѣтить на эти вопросы безусловно утвердительно или отрицательно. Но что—понятія о счастьѣ и истинѣ измѣнились чрезвычайно, до неузнаваемости—это несомнѣнно.

Какая эффектная и импонирующая фигура! Въ рукахъ листы бумаги съ какими то стихами, большіе до глубокой старости прекрасные глаза устремлены куда-то въ сторону,—можетъ быть на благоговѣйно внимающаго слушателя, а можетъ быть и просто *туда*, откуда навѣяны поэту чудной силой вдохновенія эти самые

стихи. Не все ли равно! На дѣйствительность можно смотрѣть такъ же поэтически и художественно, какъ и въ самую глубь вещей и вторую часть Фауста съ таинственнѣйшими героями и неразгаданными идеалами можно сочинять въ такомъ же свѣтломъ *неземномъ* состояніи духа, какое подсказало поэту столь красивое умиротвореніе даже самыхъ тяжелыхъ несчастій сверхъестественной властью вѣчно-женственнаго».

Говорятъ,—это взглядъ Юпитера, вся осанка напоминаетъ нѣчто божественное, сверхчеловѣческое и, напримѣръ, поэту Гейне— не то искренно, не то для красоты стиля — казалось, будто рядомъ съ подобнымъ смертнымъ непремѣнно гдѣ-нибудь по сосѣдству долженъ имѣться орелъ... Счастливый обладатель величественно спокойныхъ большихъ глазъ!

Теперь взгляните на другой портретъ... Нитче въ настоящее время неизлѣчимо больной, утративший даже даръ слова и всякое сознательное представленіе о внѣшнемъ мірѣ и о своемъ собственномъ состояніи. И глядя на его изображеніе, вы не удивляетесь такому результату. Этотъ человѣкъ никогда не былъ здоровъ, и не могъ быть. Посмотрите, какъ нервно, въ какомъ застывшемъ неловкомъ движеніи сжаты его руки съ хрупкими, очевидно, необыкновенно подвижными пальцами. Посмотрите, сколько невыразимой мучительной угнетенности во всей фигурѣ, а главное— какая безысходная, до слезъ страдальческая дума свѣтится въ неподвижно устремленныхъ глазахъ! И эта своеобразная складка вокругъ рта! Она должна была врѣзаться послѣ безсильныхъ привычныхъ ощущеній нестерпимой душевной боли, безплодныхъ поисковъ успокоительной идеи, нестерпимой жажды какого-нибудь хотя бы призрачнаго, но гармоническаго, вдохновляющаго образа.

Здѣсь и намека нѣтъ на орлиные взоры и юпитеровскія манеры, и никакой кривляющійся романтикъ не сталъ бы разыскивать у ногъ этого человѣка миѳологическихъ птицъ. Мука и истома духа слишкомъ реальны, чтобы при видѣ ихъ можно было пускаться въ художественныя, всегда жизнерадостныя фантазіи.

И все-таки между «Олимпійцемъ» изъ Веймара и безумнымъ «сверхъ-человѣкомъ» лежитъ непрерывная цѣпь фактовъ и идей. Это не случайныя, другъ отъ друга независимыя явленія: это моменты одного и того же процесса... Какимъ же движеніемъ— глубокимъ и энергичнымъ—долженъ обладать процессъ, чтобы на пространствѣ нѣсколькихъ десятилѣтій создать такихъ два контраста!

А въ промежуткѣ не менѣе яркія и оригинальныя фигуры,— до такой степени сильныя и самобытныя, что исторія народа будто начертана на ихъ лицахъ.

Вотъ, напримѣръ, одинъ изъ самыхъ громкихъ всеевропейскихъ пророковъ философіи. Это наименѣе рѣзкое, типичное лицо. Только его, кажется, и можно забыть изо всей этой галлереи. Не то чиновникъ, не то просто обыватель съ самоувѣреннымъ, но тусклымъ взглядомъ, съ безличнымъ, сѣрымъ выраженіемъ физіономіи, съ оттѣнкомъ какой то искусственной твердости въ

складѣ губъ, будто упорнаго желанія выдать нѣчто недосказанное—за истинное, нѣчто смутное—за вполнѣ очевидное. Такъ смотрятъ люди, знающіе за собой нѣкоторую неопредѣленность и подозрительную разносторонность мысли и ловко отождествляющіе *смуту съ глубиной*.

Это Гегель, отуманившій умы пылкихъ поколѣній двусмысленнѣйшей философской идеей, какая только была брошена съ профессорской каѳедры въ среду алчущихъ высшей истины. Это философъ, одинаково послѣдовательно явившійся родоначальникомъ—*правой* и *лѣвой*, апостоломъ прусскаго казарменнаго государства и германскаго романтическаго радикализма. Это—учитель, вызвавшій къ жизни идейную семью двухъ взаимно непремиримыхъ расъ—бѣлой и красной... Къ какой онъ принадлежалъ самъ,—вы не опредѣлите по его философской внѣшности такъ же, какъ не вычитаете вполнѣ ясно и изъ его произведеній. Но зато философъ «разумной дѣйствительности» можетъ считаться послѣднимъ представителемъ національныхъ теоретическихъ тумановъ,—будущее принадлежало, можетъ быть, людямъ менѣе глубокимъ, но зато до послѣдней степени осязательныхъ истинъ.

Бисмаркъ—такой же контрастъ Гегелю, какъ Нитче—Гёте. Каждая черта до такой степени характерна, что дѣйствительно каррикатуристы могли рисовать эту голову однимъ почеркомъ пера. Такія лица не формируются, а прямо отливаются въ лабораторіи природы, потому что они—самое совершенное и рѣзкое выраженіе одной неограниченно господствующей идеи и воплощеніе непремѣнной воли—осуществить идею. И Бисмаркъ, по выраженію Циглера, ознаменовалъ собой эпоху *волюнтаризма*, т. е. эпоху *воли*, какъ преобладающей человѣческой способности. Онъ—самъ великій реалистъ — превративъ — говоритъ все тотъ же авторъ—и нѣмцевъ въ реалистовъ, вылѣчилъ ихъ отъ поэтическаго идеализма и изъ *народа* создалъ *государство*.

Но никакой реализмъ и самое мощное практическое творчество не помѣшали процвѣтать идеологомъ,—и какимъ еще! Предъ нами Гегель—безобидный производитель маловразумительныхъ цеховыхъ сочиненій. Его личные критическіе таланты—совершенно безопасны даже для провинціальнаго мѣщанскаго благополучія, а діалектика, витающая въ недостягаемыхъ областяхъ чистаго отвлеченія, свободно можетъ соревновать схоластикѣ по своему равнодушію къ реальной дѣйствительности или по своей способности сообщать ей самыя двусмысленныя философскія освѣщенія и оправданія. Наконецъ, для гегельянской діалектики природа—предметъ недостойный вниманія, философъ долженъ углубляться въ область человѣческаго духа, только здѣсь дѣйствительно-разумное, а внѣшній естественный міръ—хаосъ случайностей, не заслуживающихъ осмысливанья.

Но вотъ предъ нами также діалектики и даже изъ гегелевской школы,—и какой ужасъ и трепетъ распространяетъ кругомъ ихъ критика! Одинъ—ученый богословъ, другой экономистъ. Въ предметахъ изслѣдованія нѣтъ ни малѣйшаго сходства, но пріемы изслѣдователей—безусловно родственны. Они одинаково разруши-

тельны для противорѣчій, накопленныхъ старой исторіей и старой политечиской экономіей, и трудно сказать, какая книга глубже потрясаетъ «олимпійцевъ, и бюргеровъ, и стражей сіона»—политическаго и нравственнаго—*Жизнь Іисуса* Штрауса или *Капиталъ* Маркса!

Какое краснорѣчивое лицо у Штрауса! Бритое, острое, пронизанное тонкимъ выраженіемъ спектицизма. Онъ читаетъ книгу и вы видите,—отъ этого пристальнаго, прирожденно-недовѣрчиваго взгляда не укроется ни одна фальшивая черта. Онъ, кажется, уже наслѣдилъ автора, проникъ въ смыслъ его заблужденій или уловокъ: ему нужно только еще нѣсколько фактовъ, и книга будетъ уничтожена—спокойно, шагъ за шагомъ, съ неотразимой силой логики и будто ножомъ проанатомированныхъ фактовъ. Если потребуется,—тотъ же ножъ будетъ обращенъ и на выводы его—самого критика, и Штраусъ не побоится по нѣскольку разъ мѣнять свои толкованія фактовъ,—его идеи и знанія также во власти этого безпощадно-проникающаго взора, знающаго только одну цѣль и одинъ предѣлъ—истину.

Еще болѣе опасный врагъ—Марксъ, потому что для его критики существуетъ граница и на этой границѣ анализъ уступаетъ мѣсто чисто-религіозному прорицательству, пророчеству, самоувѣренному до полнаго восторга предъ своимъ творчествомъ. Лицо—почти не индивидуальное: это скорѣе типъ, чѣмъ личность. Ни одной рѣзкой выдающейся черты, ни одной изъ тѣхъ чертъ, которыя выдѣляютъ человѣка изъ тысячи. Такія лица должны быть у людей философской силы, совершенно опредѣленнаго теоретическаго направленія. Рѣзкія черты налагаются великими напряженіями практической воли, сложной жизненной борьбой. Потому такъ рельефно, *неизгладимо* лицо Бисмарка. Отвлеченный мыслитель какого бы то ни было таланта не можетъ переживать такихъ страстныхъ волненій, не можетъ безпрестанно, день за днемъ отражать на своемъ лицѣ столько разнообразнѣйшихъ впечатлѣній и воспринимать столько глубокихъ ощущеній гнѣва или благоволенія въ столкновеніяхъ съ враждой или сочувствіемъ. И Марксъ—преимущественно сила теоретическая, книжная, кабинетная, но сила, направленная не на гегельянскіе вопросы высшаго познанія, а на самые реальные, рѣшительно для всѣхъ осязательные факты. Діалектика на почвѣ экономическихъ отношеній могла привести къ выводамъ, не вполнѣ соотвѣтствующимъ діалектикѣ самой дѣйствительности, но ея критическая, разлагающая сила не становилась отъ этого менѣе внушительной, а основной принципъ даже выигрывалъ въ пѣльности и въ чисто-религіозномъ догматическомъ значеніи.

Такъ именно и случилось съ марксизмомъ. Его отвлеченная истина стала лицомъ къ лицу съ реальнымъ фактомъ, т. е. соціалъ-демократизмъ—съ бисмарковской имперіей. Пусть въ истинѣ не мало слабыхъ и уязвимыхъ сторонъ, но въ ней таится одна власть, непреодолимая даже для бисмарковскаго реализма. Истина будто новое благовѣстіе идетъ на встрѣчу новымъ рабамъ и

«варварамъ», обѣщая имъ спасти ихъ человѣческое достоинство отъ господъ и римскихъ гражданъ христіанскаго міра.

Достаточно и этихъ именъ и лицъ, чтобы судить о громадности умственной работы, выполненной и неутомимо выполняемой германской націей девятнадцатаго вѣка. Можно ли въ настоящее время, въ самый разгаръ великихъ движеній, предъ еще свѣжимъ и личнымъ обояніемъ дѣятелей, разсчитывать на справедливый судъ исторіи, тѣмъ болѣе, что и историкъ долженъ быть здѣсь особенный? Разсудить тяжбу между Бисмаркомъ и соціалъ-демократіей можетъ только ученый, одинаково тщательно вникшій и въ блестящіе успѣхи національной внѣшней политики и въ печальныя сопутствующія явленія внутренней народной жизни. Какая же должна быть разносторонность живыхъ интересовъ и въ тоже время какой мудрый и всесторонній взглядъ на человѣческія дѣла и страсти!

II.

Страсбургскій профессоръ выполнилъ свою задачу въ самомъ трудномъ отношеніи—успѣшно, именно какъ патріотъ, разсудительный и просвѣщенный. Французская печать встрѣтила его книгу одобрительно,—доказательство, что книга написана въ культурномъ тонѣ, мало того, книга свободна отъ національнаго самохвальства и вызывающаго оптимизма, столь свойственнаго скороспѣлымъ героямъ и побѣдителямъ. Французская печать постаралась указать именно на весьма сдержанныя чувства профессора, касательно благоденствія Германіи. Страна милліардовъ стоитъ въ настоящее время предъ множествомъ тягостныхъ задачъ внутренней политики, для нѣкоторыхъ изъ этихъ задачъ не предвидится даже въ отдаленномъ будущемъ удовлетворительнаго рѣшенія. Слава и богатство не поставили Германіи въ привилегированное положеніе, сравнительно съ ея побѣжденнымъ врагомъ, и это обстоятельство, разумѣется, проливаетъ бальзамъ на французское сердце.

Нѣмецкій ученый, дѣйствительно, не скрываетъ грозной смуты стремленій и идеаловъ, одолѣвающей единую Германію. Смута, конечно, отнюдь не свидѣтельствуетъ объ опасности для національнаго бытія страны, напротивъ, она можетъ только доказывать богатую духовную жизненность организма, съ напряженіемъ силъ вырабатывающаго новыя способности при новыхъ политическихъ и соціальныхъ условіяхъ. Но подчасъ борьба кажется безвыходной и само единство, столь давно желанное и цѣною такихъ жертвъ созданное, ставится на карту именно самыми прогрессивными борцами.

Авторъ—восторженный защитникъ этого единства. Недаромъ онъ профессоръ *Страсбургскаго* университета: его политическій символъ вѣры—прусскій и централистскій до послѣдней степени. Онъ готовъ на всѣ уступки предъ своими читателями. Онъ готовъ подвергнуться какой угодно критикѣ, заранѣе признаетъ особенную субъективность той части своего труда, гдѣ ему приходится

говорить о современныхъ событіяхъ. Но отъ этого признанія лиризмъ профессора не понижается ни на одну ноту, въ его гимнахъ Бисмарку. И грѣхъ былъ бы невеликъ, если бы гимны канцлеру не имѣли своего рикошета, чрезвычайно сильнаго, именно не вдохновляли историка на препирательства съ соціалъ-демократами, исключительно какъ противниками объединителя Германіи.

Циглера можно признать отчасти національ-либераломъ, т. е. сторонникомъ гуманитарной внутренней политики, въ предѣлахъ постепенности, и защитникомъ національной внѣшней силы, вплоть до колоніальныхъ приключеній. Слѣдовательно, въ парламентѣ профессоръ удовольствовался бы весьма скромной программой реформъ, безъ малѣйшаго намека на красный цвѣтъ, вообще онъ пошелъ бы за Бисмаркомъ,—съ однимъ исключеніемъ. Циглеръ—настоящій германскій ученый, стараго историческаго закала, ученый, твердо вѣрующій въ нравственное достоинство идеи, не допускающій рабства духа въ вопросахъ мысли и знанія. Для него свобода идейной борьбы—неприкосновенный капиталъ культуры, и на этотъ капиталъ не въ правѣ посягать даже самъ великій Бисмаркъ.

Авторъ ставитъ канцлера рядомъ съ Лютеромъ, Фридрихомъ II и Гете: только четырехъ дѣйствительно великихъ людей имѣла Германія, и Бисмаркъ вмѣстѣ съ Лютеромъ—на первомъ мѣстѣ: оба они возродили Германію, одинъ въ религіозномъ, другой въ политическомъ смыслѣ, и Бисмаркъ является совершеннѣйшимъ представителемъ нѣмецкаго національнаго генія, даже единственнымъ сильнымъ человѣкомъ нашего времени: послѣ его смерти ни на скамьяхъ министровъ, ни въ парламентѣ уже нѣтъ больше настоящихъ личностей. Авторъ, наконецъ, согласенъ съ Гегелемъ, что великій человѣкъ, *герой вполнѣ*, долженъ умѣть презирать общественное мнѣніе и идти своимъ путемъ къ осуществленію задачъ своего времени. Бисмаркъ, разумѣется, больше чѣмъ кто-либо умѣлъ презирать именно общественное мнѣніе, и авторъ считаетъ эту способность вѣрнѣйшимъ доказательствомъ его величія.

Но на дѣятельности Бисмарка существуютъ пятна: авторъ согласенъ признать ихъ, но остерегается оцѣнить ихъ по достоинству. Бисмаркъ боролся противъ соціалъ-демократіи оружіемъ насилія и гоненій, т. е. исключительными законами. Авторъ сѣтуетъ на такой способъ борьбы съ политической партіей. «Соціализмъ, — говоритъ онъ, — міросозерцаніе, наука и вѣра одновременно, поэтому его можно одолѣть только оружіемъ духа или совсѣмъ нельзя одолѣть». И когда исключительные законы не были возобновлены въ 1890 году, Циглеръ считаетъ этотъ фактъ «счастьемъ и благословеніемъ» для страны, «великимъ очищеніемъ воздуха»: явилась возможность вздохнуть послѣ тяжкаго гнета...

Истинно профессорская рѣчь! Но она, къ сожалѣнію, остается безъ послѣдствій, нисколько не вліяетъ на общую оцѣнку бисмарковскаго государственнаго генія. А между тѣмъ исключительное германское законодательство противъ соціалъ-демократіи едва ли не самая грубая политическая ошибка во внутренней политикѣ

всей западной Европы новаго времени. Ни на какую мѣру не возлагалось такихъ смѣлыхъ надеждъ, ни одна мѣра не противорѣчила съ такой поразительной очевидностью самымъ основамъ культурнаго общественнаго развитія, и въ тоже время ни одна мѣра такъ жестоко не обманула разсчетовъ изобрѣтателя и не послужила такъ благотворно интересамъ преслѣдуемыхъ. Соціалъ-демократія украсилась вѣнкомъ мученичества, выработала громадныя средства борьбы, закалила свои силы и превратилась въ истинно народную и національную партію даже по количеству своихъ сторонниковъ среди избирателей. А Бисмаркъ въ результатѣ пріобрѣлъ непримиримаго врага не только для себя лично, но и для своего историческаго дѣла, т. е. для германскаго единства съ императоромъ Гогенцоллерномъ во главѣ. Соціалъ-демократы не признаютъ національнаго характера въ существующей имперіи и не видятъ германскаго народнаго вождя въ лицѣ прусскаго короля. Исключительные законы освятили это положеніе партіи и произвели, по выраженію автора, разрывъ въ «наилучшемъ и драгоцѣннѣйшемъ чувствѣ» нѣмцевъ. Соціалъ-демократы отвергаютъ все, что именуется «національнымъ»: это—партія международная, систематически враждебная всѣмъ стремленіямъ имперскаго правительства поддержать и расширить политическое вліяніе единой Германіи. И всѣмъ извѣстно, съ какой жестокостью соціалъ-демократическая газета *Впередъ* встрѣтила смерть Бисмарка. Либкнехтъ и теперь остался неумолимъ; онъ не признавалъ величія своего врага, даже засыпаннаго могильной землей...

Это очень больно для сердца нѣмецкаго патріота, и нашъ авторъ впадаетъ въ трогательный похоронный лиризмъ. Гораздо цѣлесообразнѣе было бы остаться на почвѣ логики и политики и бросить достойный свѣтъ на идеальнаго выразителя національнаго германскаго духа. Авторъ всѣми силами бережется отъ этой крайне непріятной обязанности. Онъ спасаетъ свой бисмарковскій культъ во всей неприкосновенности, даже и приклоняясь предъ императоромъ Вильгельмомъ I и негодуя на неприличную газетную полемику, завязавшуюся вокругъ имени Фридриха III. Вѣдь не могъ же не знать авторъ, что такое представлялъ изъ себя старый Вильгельмъ на взглядъ Бисмарка и какія чувства питалъ канцлеръ къ несчастному либеральному кронъ-принцу, позже девяностодевятидневному императору? Все это весьма непослѣдовательное благоговѣніе предъ Вильгельмомъ I никакъ не мирится съ уничтожающими отзывами Бисмарка о своемъ повелителѣ, и если ужъ подвергать порицанію нѣмцевъ, нападавшихъ на «англичанку», супругу Фридриха, то первое мѣсто слѣдуетъ, по всей справедливости, оставить за Бисмаркомъ.

Но, очевидно, авторъ не желаетъ своими чувствами подчеркивать національнаго разрыва, столь его огорчающаго. Для него Бисмаркъ, геній sans frases, и его непозволительно трогать, даже доказывая великое растлѣвающее вліяніе на нѣмецкій народъ его излюбленнѣйшихъ политическихъ созданій.

Таковъ, несомнѣнно, милитаризмъ.

Въ высшей степени любопытно слѣдить за настроеніями автора, въ этомъ вопросѣ. Профессоръ находитъ извѣстныя хорошія стороны въ прусской солдатчинѣ и думаетъ, будто онъ въ этомъ случаѣ одного вкуса съ нѣмецкимъ народомъ. Онъ пренаивно воображаетъ, будто этотъ народъ съ полнымъ удовольствіемъ въ 1877 году встрѣтилъ военные проекты правительства. Авторъ рѣшительно желаетъ забыть, какими средствами Бисмаркъ получилъ большинство въ новомъ рейхстагѣ послѣ распущенія стараго, вообще нашъ историкъ не единымъ словомъ не намекаетъ на классическіе пріемы канцлера: запугивать, одурачивать, доводить до головокруженія бѣднаго бюргера всякій разъ, когда требовались новые кредиты на военныя силы имперіи. Самъ же авторъ немного раньше одной изъ причинъ соціалъ-демократическихъ успѣховъ въ народѣ призналъ всеобщій ужасъ бѣдняковъ предъ военными налогами деньгами и кровью.

Можно ли послѣ этого восхищаться «воинственными наклонностями», овладѣвшими всей Германіей, благодаря всеобщей воинской повинности? Можно ли на мѣстѣ профессора сочувствовать восторгамъ уличной толпы при видѣ солдатъ въ полной парадной формѣ? Можно ли, наконецъ, военной дисциплинѣ приписывать развитіе чувства чести въ народѣ, особой внѣшней мужественности и ловкости? И всему этому приписывать *воспитательное* значеніе!...

Правда, непосредственно за этой одой «Черному Орлу» и крупповской пушкѣ слѣдуютъ оговорки, но достаточно, что ученый и одинъ изъ самыхъ достойныхъ пастаролвъ призналъ необходимымъ насколько возможно облагородить жесточайшій недугъ германской внутренней жизни, недугъ, Германіей созданный и ею же распространенный на всѣ другія европейскія державы. Это тѣмъ болѣе странно, что авторъ самъ же себя уничтожаетъ, перечисляя нравственныя бѣдствія воинственнаго нѣмецкаго народа. Оказывается, военная обязательная жесткость нравовъ распространилась и на гражданскія отношенія, патріотическое фразёрство и забіячество, неукротимый зудъ поднимать безсмысленный запальчивый вой, по всякому случаю, наклонность бывшихъ служакъ свое военное званіе цѣнить выше гражданскаго, напримѣръ, офицерскій чинъ въ запасѣ—выше положенія учителя, всюду вносить военную выправку, казарменную рѣзкость обращенія, быструю энергичную расправу съ бюргеромъ, все равно какъ съ солдатомъ... Все это нѣмецкую армію превращаетъ въ своего рода особую расу, въ высшей степени безпокойную и даже ненавистную для гражданскихъ сословій. На югѣ, напримѣръ, уже образовалась цѣлая пропасть между военщиной и горожанами. Баварецъ и швабъ считаютъ истинной язвой египетской прусскую муштру и смотрятъ какъ на непріятелей и иностранцевъ на профессоровъ и воспитанниковъ прусскаго фронта.

Естественно, эти чувства не помогаютъ скрѣпленію единства и ими чрезвычайно искусно пользуются вожди соціалъ-демократіи.

Время отъ времени на свѣтъ Божій всплываютъ подвиги казарменныхъ педагоговъ, вплоть до смертныхъ побоевъ и на-

сильственныхъ смертей солдатъ. Тогда Бебель создаетъ «большой день» въ рейхстагѣ и министерству приходится жутко, даже при всемъ блескѣ нѣмецкаго оружія въ прошломъ и въ возможномъ будущемъ.

Но жестокими правами не ограничивается растлѣвающее вліяніе милитаризма. Недугъ идетъ гораздо глубже и грозитъ подорвать самыя основы современной гражданственности. Духъ подчиненія, угодливости начальству, безпрекословнаго послушанія изъ казармъ распространяется на все чиновничество, а отсюда и на взаимныя отношенія, вообще принципаловъ и кліентовъ. Раболѣпіе и византизмъ пускаютъ глубокія корни въ гражданской жизни Германіи, несмотря на конституцію и на всеобщую подачу голосовъ. Чувство гражданскаго достоинства притупляется и уступаетъ мѣсто понятіямъ военной части. Безпрестанно возникаютъ дикія столкновенія изъ-за пустяковъ, изъ-за пошлыхъ недоразумѣній въ пивныхъ и на улицахъ, слѣдуютъ дуэли или просто драгуны хватаются за ножи. Ни то ни другое, разумѣется, никогда не возстанавливало ничьей чести, но при извѣстномъ одичаніи культурнаго общества дуэль считается признакомъ рыцарственности и благородства. Германскіе суды кромѣ того крайне снисходительно относятся къ подобнымъ проявленіямъ воинскаго духа и слабыми наказаніями виновныхъ еще больше раздражаютъ мирныхъ обывателей и распространяютъ превратныя представленія о человѣческомъ достоинствѣ въ глубь всей націи.

Авторъ прекрасно понимаетъ значеніе этихъ фактовъ, но у него будто не хватаетъ мужества взглянуть на нихъ, какъ на *послѣдствія* извѣстнаго порядка вещей. Самая наглядная логика должна бы побудить историка привести въ связь военную славу и міровое могущество Германіи съ пониженіемъ идеалистическаго и даже просто культурнаго уровня ея народа. Нашъ ученый предпочитаетъ славу и пониженіе разсматривать, какъ отдѣльные факты, въ одномъ случаѣ давать свободу своему патріотическому чувству, въ другомъ—сѣтовать и негодовать, не безъ примѣси, все-таки, смягчающихъ и утѣшительныхъ соображеній. Такія соображенія въ вопросѣ о милитаризмѣ показываютъ, какъ неограниченно властно бисмарковское національное воспитаніе упрочилось къ концу вѣка даже надъ наиболѣе просвѣщенными и гуманными умами.

Можетъ быть, самъ авторъ сознавалъ, до какой степени онъ захваченъ общимъ теченіемъ и именно о своихъ чувствахъ относительно Бисмарка и національной внѣшней политики говорилъ, какъ о «субъективныхъ» увлеченіяхъ. Мы видимъ, они несомнѣнны. Но, во всякомъ случаѣ, слѣдуетъ признать за современнымъ гражданиномъ объединенной Германіи рѣдкую скромность. Можно смѣло поручиться, англичанинъ или французъ на мѣстѣ страсбургскаго профессора не пожалѣлъ бы красокъ и знаковъ восклицанія ради любви къ отечеству и народной гордости, потому что—снова повторяемъ—новѣйшая исторія Германіи безпримѣрна по своему внѣшнему блеску и по богатству духовныхъ силъ, обнаруженныхъ всѣми сословіями и состояніями націй.

III.

Если бы потребовалось художественно и въ то же время правдиво опредѣлить историческую роль нѣмцевъ среди другихъ народовъ западной Европы, наилучшее опредѣленіе могло бы дать извѣстное поэтическое сказаніе о раздѣлѣ земли. Поэтъ явился на раздѣлъ позже другихъ, и ему пришлось удовольствоваться однимъ голубымъ небомъ, т.-е. своей способностью вдохновляться красотой и гармоніей божьихъ созданій и находить счастье въ своемъ вдохновеніи.

Нѣмцы до нынѣшняго столѣтія усердно соревновали этому поэту. Еще Лютеръ въ своемъ знаменитомъ обращеніи къ дворянству германской націи сѣтовалъ на единственную въ мірѣ политическую наивность и безпомощность соотечественниковъ: ни въ комъ папа не имѣлъ болѣе послушныхъ и простодушныхъ овецъ и никто не чувствовалъ себя въ болѣе идиллическомъ невѣдѣніи и смиреніи передъ всѣми часто поразительно-откровенными изобрѣтеніями римской церковной власти.

Въ области религіозной совѣсти Лютеръ покончилъ съ этимъ унизительнымъ порядкомъ, но политическое сознаніе нѣмцевъ еще на цѣлые вѣка осталось въ состояніи истинно-младенческаго прекраснодушія. Въ настоящее время могутъ показаться невозможными настроенія первостепенныхъ талантовъ Германіи, касавшихся иногда, совершенно случайно, политическихъ вопросовъ.

Повидимому, нельзя и представить ничего доступнѣе и первобытнѣе чувства патріотизма. Оно свойственно даже варварскимъ народамъ, и вотъ оно-то именно было неизвѣстно нѣмецкимъ геніямъ еще въ XVIII вѣкѣ. Самый энергичный изъ нихъ—несомнѣнно Лессингъ. Онъ пророкъ національной литературы, убѣжденный врагъ иноземныхъ вліяній, но все это въ предѣлахъ художественнаго творчества. Лессингъ прекрасно знаетъ нѣмецкій *народъ* и не имѣетъ представленія о нѣмецкомъ государствѣ. Онъ неутомимый защитникъ самобытности родного языка и его поэтической силы, но для него не существуетъ идеи о гражданскомъ достоинствѣ нѣмца и онъ даже не подозрѣваетъ, чтобы политическіе интересы непремѣнно могли входить въ умственный кругозоръ хотя бы самаго просвѣщеннаго писателя и мыслителя. Патріотизмъ въ его глазахъ—нѣчто въ родѣ предразсудка, простонароднаго суевѣрія, и разносторонне развитой умъ долженъ стоять выше узкихъ чувствъ и воззрѣній, обусловленныхъ извѣстными границами государства.

Когда Лессингъ разсуждалъ въ такомъ духѣ, Германія была свидѣтельницей величайшихъ государственныхъ успѣховъ Пруссіи. Дѣятельность Фридриха II могла пробудить самый вялый политическій инстинктъ и создать патріотизмъ.

Нѣчто подобное дѣйствительно произошло. Фридрихъ нашелъ горячихъ поклонниковъ среди нѣмецкихъ литераторовъ, между прочимъ, въ лицѣ того же Лессинга.

Поклоненіе свидѣтельствовало о большомъ самоотверженіи: прусскій король не скрывалъ полнѣйшаго равнодушія и даже пренe-

бреженія къ нѣмецкой литературѣ, философіи и даже къ нѣмецкому языку. И несмотря на этотъ общеизвѣстный фактъ, Фридрихъ оказался первымъ и единственнымъ предметомъ нѣмецкихъ патріотическихъ восторговъ. Именно единственнымъ, т.-е. онъ *лично*, а не его государство, сосредоточилъ на себѣ національное вниманіе. Онъ, какъ герой, а не какъ политическій дѣятель, не какъ король, привелъ въ восторгъ самого Гёте. Авторъ Фауста свое патріотическое настроеніе называлъ *фридриховскимъ fritzisch gesinnt*. Такихъ патріотовъ развелось по всей Германіи достаточное количество, но, въ сущности, это былъ все тотъ же поэтическій культъ личности, героизма, культъ, вполнѣ совпадавшій съ идеалами современной литературной школы—романтизма. Политическое сознаніе не принимало здѣсь никакого участія, и фактъ явился совершенно очевиднымъ, когда на сцену выступилъ герой иноземный и даже враждебный нѣмецкому отечеству.

Ни одна цивилизованная страна не знаетъ въ своемъ прошломъ болѣе страннаго, можно сказать, противоестественнаго нравственнаго явленія, чѣмъ нѣмецкій культъ Наполеона. Даже въ самомъ отсталомъ европейскомъ государствѣ, въ Россіи, французскій императоръ, даже задолго до нашествія двѣнадцатаго года, встрѣтилъ судъ, въ полномъ смыслѣ политическій. Напримѣръ, *Вѣстникъ Европы*, журналъ болѣе чувствительнаго, чѣмъ идейнаго направленія, сумѣлъ все-таки отдать себѣ ясный отчетъ въ нравственномъ и культурномъ смыслѣ личности и власти Бонапарта.

Въ Германіи—ничего подобнаго какъ разъ на самой вершинѣ современной интеллигенціи. Восторженное удивленіе, какое Гёте питалъ къ Наполеону, не только явленіе не исключительное, а даже національное, своего рода мотивъ нѣмецкой поэзіи и мысли. Гёте былъ все-таки поэтъ и могъ увлечься Наполеономъ, какъ эстетикъ, увлечься его необыкновенной сказочной судьбой, его, дѣйствительно, необыкновенной личностью. Но Гегель, напримѣръ, не обладалъ никакими художественными талантами, діалектическій процессъ мысли менѣе всего располагаетъ къ игрѣ воображенія, наконецъ, Гегель, философъ государственнаго права въ его историческомъ развитіи, кажется, все это могло бы изощрить его нѣмецкій взоръ вполнѣ достаточно, чтобы оцѣнить государственный геній Наполеона и культурный стыслъ его завоеваній.

Вмѣсто всякой оцѣнки — лирическое изумленіе. Гегель не можетъ опомниться отъ чрезвычайнаго событія: онъ собственными глазами видѣлъ, какъ черезъ нѣмецкій городъ проѣзжалъ на лошади человѣкъ, настоящая «душа міра», *Weltsecle*, съ одной точки, именно съ этой лошади, господствующая надъ вселенной.

Даже жесточайшія мѣры бонапартовскаго самовластія вродѣ казни книгопродавца Пальма, долго не могли образумить зачарованныхъ нѣмцевъ. Пальмъ былъ казненъ, какъ нѣмецкій патріотъ, но нѣмецкіе чиновники, единомышленные съ Гёте, продолжали молиться на политическую мудрость французскаго императора. Съ точки зрѣнія бюрократіи и канцелярщины, Наполеонъ оказы-

вался не менѣе великимъ, чѣмъ для политически-младенствующаго романтика. Одно изъ любопытнѣйшихъ культурныхъ явленій!

Два, повидимому, непримиримые контраста германской общественной жизни—чиновничья рутина и свободное чистое художество—одинаково легко подчинились менѣе всего національному и ужъ совсѣмъ не патріотическому повѣтрію и ихъ выспреннія чувства предъ деспотическимъ урядникомъ и удачливымъ героемъ не уступили даже естественнымъ ощущеніемъ стыда и горя за униженія родины... Къ счастью, не вся мыслящая Германія состояла изъ вдохновенныхъ олимпійцевъ и канцелярскихъ подвижниковъ. Оказалось не мало людей, почувствовавшихъ нестерпимую личную муку при видѣ поруганій надъ нѣмецкимъ народомъ и это столь простое чувство было источникомъ патріотическаго движенія и политическаго возрожденія Германіи.

Замѣчательнѣйшая черта этого переворота—руководящая роль науки. Германія, превращаясь въ практическую силу, не измѣнила своимъ національнымъ преданіямъ. Во главѣ новой эпохи стала наука, вождями явились не политики, не министры, а профессора и студенты, при чемъ университетское молодое поколѣніе шло впереди своихъ учителей. Современныя событія воспитали молодежь гораздо быстрѣе всякой школы и, можетъ быть, никогда въ теченіе всей нѣмецкой исторіи университеты не знали болѣе зрѣлыхъ и развитыхъ студентовъ, чѣмъ въ первые годы девятнадцатаго вѣка. Изъ среды студенчества выходили волонтеры, наполнявшіе армію. Они сражались въ первыхъ рядахъ за національную свободу, учились быть патріотами и политиками подъ огнемъ французскихъ легіоновъ. Война за независимость создала особую породу людей—мужественную, въ сильной степени мечтательную, но преисполненную восторженной любви къ родинѣ, къ германскому народу и къ его политическому *міровому* будущему.

Да, университетскій отвлеченный идеалистическій духъ вызвалъ именно такое представленіе объ историческомъ назначеніи германской расы. Можно сказать, еще вчера она занимала въ мірѣ одно изъ послѣднихъ мѣстъ: она, политически разрозненная, мѣщански-равнодушная или вдохновенно-простодушная, сегодня она должна стать во главѣ всѣхъ другихъ народовъ и повести ихъ по пути своего необыкновенно глубокаго и разносторонняго культурнаго развитія.

Такія притязанія должны бы казаться смѣшными и именно такая память осталась бы за ними, если бы отважная мечтательность германской молодежи не соединялась съ великой, по истинѣ восторженной убѣжденностью въ правотѣ національныхъ идеаловъ. Это была вѣра въ полномъ смыслѣ слова,—вѣра, каждую минуту готовая на дѣла. Она профессоровъ превращала въ пророковъ, аудиторіи въ церкви, поэзію въ сплошной народный гимнъ, науку въ гражданскій подвигъ. Студенты изучали Тацита не какъ блестящаго писателя древности, а какъ лучшаго бытописателя германскаго народа. Они отряхали пыль вѣковъ съ хартій средневѣковыхъ лѣтописцевъ не ради ученаго объективнаго любопытства, не во имя своеобразнаго древняго стиля и первобытнаго

освѣщенія и собиранія фактовъ, а въ цѣляхъ проникновенія въ сущность національныхъ историческихъ силъ, глубокаго изученія народнаго духа и особенно причинъ, помѣшавшихъ его политическому, жизненно-дѣятельному развитію. Исторія стала однимъ изъ самыхъ мощныхъ орудій патріотическаго чувства, снабдила патріотовъ безчисленнымъ множествомъ вдохновляющихъ выводовъ и текстовъ для политической проповѣди.

И новая дѣятельность мысли ученой и философской оказалась до такой степени стремительной, напряженно-чуткой, что она быстро перешла за предѣлы политическихъ идеаловъ и захватила область, еще болѣе глубокую: ей именно предстояло самое широкое поприще въ новомъ государствѣ.

Ученые политики будто невольно, безсознательно становились соціалистами и, попутно мечтая только о политической силѣ своего народа, высказывали идеи, предвѣщавшія будущее величайшее общественное движеніе новой Германіи.

Этимъ идеямъ пока не придавали должнаго значенія ни сами виновники, ни ихъ ученики, и только десятилѣтія спустя соціалъ-демократія должна будетъ въ числѣ своихъ предшественниковъ признать философа Фихте и педагога Песталоцци. Оба они горѣли чистѣйшей любовью къ народу, къ его умственному и матеріальному развитію, видѣли въ немъ основную силу государственнаго благополучія, въ его дарованіяхъ—единственный залогъ политическаго и культурнаго будущаго Германіи. Здѣсь не было систематическаго ученія, похожаго на позднѣйшія соціальныя теоріи, но идея «соціальной педагогики», всю жизнь проповѣдуемая Песталоцци, не могла остаться случайнымъ мимолетнымъ явленіемъ уже потому, что вопросъ объ образованіи и воспитаніи ставился на почву практической любви просвѣщенныхъ къ темнымъ, привилегированныхъ—къ низшимъ.

Въ настоящее время можетъ показаться едва вѣроятнымъ, отчасти даже забавнымъ, съ какой находчивостью и усердіемъ германская молодежь всюду открывала нужную для нея политику. Въ сочиненіяхъ Тацита, столь идеально разрисовавшаго древнихъ германцевъ, вполнѣ естественно было найти пищу патріотической страсти, но Гомеръ, повидимому, совершенно далекъ отъ всякой политики и не его поэмами зачитываться возродителямъ нѣмецкаго отечества въ XIX вѣкѣ.

Но, оказалось, и Гомеръ сослужилъ молодежи большую службу. Греческое возстаніе сообщило *Иліадѣ* современный интересъ, а такъ какъ греки боролись за національную свободу, стремились къ цѣли, общей съ нѣмецкими мечтателями, Гомеръ становился священнымъ символомъ національной идеи, и древніе гекзаметры, въ первый разъ на памяти человѣчества, сливались съ глубокимъ политическимъ чувствомъ патріотовъ чужой страны.

Воодушевленіе было велико, идеализмъ часто не зналъ предѣловъ, но нельзя было безслѣдно цѣлому народу прожить вѣка въ политической апатіи и никакая сила не смогла бы надѣлить его, при какихъ угодно самоотверженныхъ чувствахъ, государственными талантами немедленно, лишь только ожили идеалы и

заговорилъ патріотизмъ. Увлеченія молодежи, горячія проповѣди профессоровъ, даже солиднѣйшіе историческіе труды ученыхъ не могли въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ мѣщанскую, чиновничью страну, подѣленную при томъ между десятками мелкихъ коронованныхъ деспотовъ, превратить въ свободное цѣльное государство. Идеалъ неограниченно возвышался надъ дѣйствительностью и ему неминуемо грозило разочарованіе. И оно повѣяло холоднымъ воздухомъ на пламенныя сердца еще раньше національныхъ германскихъ неудачъ. Еще французская іюльская революція привела въ смущеніе многихъ нѣмцевъ изъ числа самыхъ ученыхъ и просвѣщенныхъ.

Знаменитый историкъ Нибуръ горько оплакивалъ господство политики надъ другими умственными интересами современныхъ поколѣній. Ученому грезилось даже наступленіе варварства. И онъ боялся не за участь чистой учености и аристократическаго искусства, не за распаденіе стараго изящнаго, хотя и тунеяднаго міра, нѣтъ: Нибуръ сѣтовалъ на грядущую, по его мнѣнію, гибель свободныхъ учрежденій, свободы печати, водвореніе мертвящаго произвола.

До такой степени теоретическому, хотя бы и высшему уму казалось ужаснымъ всякое сильное общественное движеніе! Человѣкъ книги и кабинета никакъ не могъ освоиться съ мыслью, что и «улица», и «толпа» имѣютъ свою долю участія въ исторіи и что она не всегда дѣлается съ помощью тонкаго парламентскаго краснорѣчія и обработанныхъ министерскихъ бумагъ... Ученый нѣмецъ прятался отъ вѣяній новаго демократическаго духа, искавшаго новыхъ формъ политическаго бытія и новыхъ путей культурнаго прогресса.

Но Нибуръ приходилъ въ состояніе оторопи и грусти слишкомъ рано. Въ самой Германіи предстояло разыграться весьма бурнымъ событіямъ, революціи, революціоннымъ собраніямъ и даже революціоннымъ рѣшеніямъ—объединить Германію съ конституціей въ основаніи и съ императоромъ во главѣ. И всюду на первомъ мѣстѣ, дѣйствовали все тѣ же профессора и писатели. Они блистали знаніями, талантами, доброй волей, но у нихъ не было средствъ, привлечь невѣрующихъ къ вѣрѣ и сильныхъ заставить подчиниться: идея не имѣла за собой чисто-матеріальной внушительности. А эта внушительность все еще была необходима тамъ, гдѣ подавляющее большинство народа смотрѣло на объединеніе отечества и на конституціонную свободу, какъ на затѣи людей образованныхъ и ученыхъ, т. е. людей болѣе или менѣе «чужихъ» и непонятныхъ.

Идеалисты потерпѣли пораженіе, но не *идеи*. Такъ безпрестанно происходитъ въ человѣческой исторіи: личности страдаютъ и даже гибнутъ, но именно ихъ-то кровь и прахъ и удобряютъ почву для ихъ дѣла. А задачи германскихъ мечтателей такъ естественно возникли изъ самой сущности національнаго прогресса, такъ логически отвѣчали всѣмъ доступной потребности, быть политически-сильнымъ народомъ, что вопросъ былъ только во времени осуществленія этихъ задачъ, и оно могло быть ускорено матеріальной властью.

Здѣсь—значеніе Пруссіи въ созданіи новой Германіи и, разумѣется, Бисмарка. Объединеніе провозгласили не профессора, а государи, не послѣ парламентскихъ преній, а въ заключеніе жестокой войны, но основа единой имперіи осталась профессорская, идеалистическая—конституціонная свобода даже со всеобщей подачей голосовъ. Такихъ результатовъ не создаетъ военная слава, напротивъ, сама по себѣ она склонна усилить гнетъ внутри своей страны и окрылить побѣдителей на побѣдительское отношеніе и къ своему отечеству. Профессоры могли гордиться полнымъ возстановленіемъ своей гражданской чести, когда послѣ разочарованій, послѣ періода реакціи, ихъ идеалы оказались торжествующими, конечно, не въ той чистой формѣ, въ какой они являлись умамъ самихъ мечтателей, но сѣтовать было не на что. Побѣду и безъ того слѣдовало считать великой, такъ какъ побѣжденнымъ оказался человѣкъ, громадной воли, фанатически-реакціонныхъ личныхъ сочувствій и только что достигшій предѣла своихъ честолюбивыхъ стремленій. Бисмаркъ, откровенный средневѣковый феодалъ, узаконялъ всеобщую подачу голосовъ: это равнялось французской ночи четвертаго августа, съ одной разницей—и опять въ пользу идеалистовъ. Въ ту знаменитую ночь большую роль игралъ энтузіазмъ, пожалуй даже аффектъ, вызванный революціонной бурей, здѣсь—вольности народа опредѣлялись спокойно, обдуманно, съ несомнѣнной настойчивой мыслью, урѣзать ихъ возможно больше. И все-таки, «молодая Германія» сороковыхъ годовъ могла воскликнуть «нынѣ отпущаеши!» Преобразовательной работы предстояло еще безконечно много, и именно потому, что было положено необыкновенно широкое основаніе и указана высокая цѣль, національному развитію вновь созданнаго политическаго общества.

IV.

Раньше чѣмъ это общество возникло, между идеалистами и практиками легло темное и жестокое десятилѣтіе—пятидесятые годы. Факты всѣмъ извѣстные, потому что постоянно и вездѣ они сопровождаютъ всѣ реакціонные періоды.

Правительства, перепуганныя университетскимъ движеніемъ, раздраженныя рѣчами и книгами профессоровъ, волненіями студентовъ, рѣшились покончить съ такимъ безпокойнымъ просвѣщеніемъ. Способъ, единственный и давно испытанный,—отдать народное образованіе въ распоряженіе духовенства, превратить всѣ школы въ семинаріи. Духовенство уже сумѣетъ сообщить имъ потребный духъ и воспитать новыя поколѣнія въ такихъ умственныхъ и образовательныхъ рамкахъ, что больше никакой философъ и историкъ не найдетъ аудиторіи для своего патріотическаго краснорѣчія.

Духовенство съ радостью откликнулось на призывъ свѣтской власти, и пятидесятые годы навсегда укоренили въ нѣмецкомъ обществѣ убѣжденіе, что католическая и протестантская церковь, одинаково прирожденные враги политической свободы и незави-

симой философской и гражданской мысли. Это убѣжденіе имѣло очень печальныя послѣдствія. Поверхностнымъ умамъ естественно было отождествить ту или другую церковь вообще съ религіей и на религіозное чувство вообще перенести вину только одного духовенства. Въ результатѣ, вражда противъ церкви переходила во вражду противъ религіи, возникалъ атеизмъ и его философскій руководитель и спутникъ—матеріализмъ.

Слѣдуетъ считать немалой заслугой автора выясненіе истиннаго культурнаго смысла матеріалистическихъ теченій. Если они искренни и послѣдовательны, они безусловно реакціонны, они враждебны не только идейной энергіи общества, но и его научному прогрессу. Они являются обыкновенно какъ симптомъ разочарованія въ идеализмѣ. Матеріалистическій принципъ—логическое отрицаніе творчества нравственныхъ силъ человѣка, приравненіе человѣческой природы къ *фатальному* продукту среды, внѣшнихъ условій. Поэтому матеріалисты въ философіи, если они послѣдовательны, всегда реакціонеры въ политикѣ и фаталисты въ исторіи. Краснорѣчивѣйшій примѣръ—Тэнъ, систематическій и безпощадный уродователь фактовъ и личностей по шаблонамъ матеріалистическаго міросозерцанія.

Нашъ авторъ заслуженно оцѣниваетъ эти шаблоны и доказываетъ, до какой степени они противорѣчатъ простѣйшимъ дѣйствительно научнымъ наблюденіямъ. Естествознаніе явилось самымъ опаснымъ врагомъ матеріализма, и русскимъ читателямъ очень поучительно слышать отъ нѣмца, какое мѣсто занимаютъ въ нѣмецкой *наукѣ* былые авторитеты русской публицистики—Бюхнеръ и Молешоттъ. Ничего не можетъ быть жалче научнаго капитала этихъ мыслителей и трудно представить болѣе несчастную жертву естественно-научной критики, чѣмъ авторъ книги *Сила и матерія*. Особенно жестокій ударъ нанесли ему химическія письма Либиха, доказавъ неотразимыми фактами и логикой школьническій диллетантизмъ матеріалистическихъ вѣроучителей.

Но пятидесятые годы, наслѣдовавшіе разгромъ идеаловъ сорокъ восьмого года, были вполнѣ благопріятны для самаго грубаго фаталистическаго воззрѣнія, вплоть до «каннибаловскаго» взгляда на всю исторію и человѣческую дѣятельность. Идеи—безсильны, безцѣльны, онѣ гибнутъ отъ непреодолимой физической силы, и она, эта сила, и есть единственная властительница людей и государствъ. Человѣкъ не творитъ и не уничтожаетъ, онъ только воспринимаетъ, отражаетъ и является математическимъ итогомъ, чисто физическихъ воздѣйствій на его физическій организмъ. Поэтому неизмѣримо важнѣе знать, какими веществами человѣкъ питается—мясомъ или картофелемъ, чѣмъ справляться, какія идеи ему внушаютъ и о какихъ идеалахъ онъ самъ мечтаетъ. «Человѣкъ только то, что онъ ѣстъ», въ такой совершенно опредѣленной формой выразилась философія исторіи въ періодъ реакціи, произнося соотвѣтственные приговоры надъ цѣлыми народами и ихъ будущимъ.

Матерьялизмъ такъ же быстро утратилъ свое обаяніе, какъ и стяжалъ его. Уже въ шестидесятыхъ годахъ Бюхнера не чи-

тали, въ настоящее время о немъ можно говорить только какъ о рѣдкостномъ симптомѣ печальной безыдейной и безжизненной эпохи. Но отголоски матеріалистическихъ ученій не замолкли въ Германіи до настоящихъ дней и не могли замолкнуть.

Церковь оттолкнула отъ себя всѣ болѣе или менѣе свободныя общественныя силы. Она до такой степени усердствовала на службѣ реакціи, что даже въ народѣ могли отождествить ее со всѣми пережитками умственнаго мрака и политическаго гнета. Впослѣдствіи она измѣнила свою политику, такъ какъ сама попала въ положеніе гонимой, и духовенство—католическое и протестантское—возгорѣлось ревностью къ соціалистическимъ идеямъ. Но до объединенія страны церковь служила правительствамъ и высшимъ сословіямъ противъ народа и свѣтскаго народнаго просвѣщенія. За это время она создала себѣ множество непримиримыхъ враговъ, и они то дали самое большое количество послѣдователей матерьялистическому направленію, точнѣе, отрицательному отношенію къ религіи. Это, конечно, не то что цѣльная матеріалистическая система философіи но во всякомъ случаѣ одинъ изъ ея догматовъ.

Онъ остался въ программѣ новой соціалъ-демократіи при несомнѣнномъ сочувствіи рабочаго класса. Для рабочихъ—оппозиція церкви сливается съ протестомъ противъ вообще стараго привилегированнаго міра, а такъ какъ отдѣлить церковный вопросъ отъ религіозной идеи требуется незаурядная работа мысли,—естественно-противоцерковность рабочихъ нашла самое доступное удовлетвореніе въ матеріалистическомъ воззрѣніи.

Но атеистическая соціалъ-демократія полна дѣятельныхъ стремленій и нравственной силы. Здѣсь она не имѣетъ ничего общаго не только съ практическими выводами бюхнеровскаго ученія, но и съ культурными взглядами самого Карла Маркса. Матеріалистическое возрѣніе на историческій процессъ, т. е. устраненіе идейной *творческой* способности личности, какъ одной изъ главнѣйшихъ силъ прогресса, исключаетъ логическое оправданіе для самодѣятельности, съ какой бы цѣлью она ни проявлялась. А между тѣмъ, соціалъ-демократы безпрестанно мѣняютъ общія культурно-экономическія основы своей партійной программы, т. е. даютъ пароли и лозунги чисто идеальнаго содержанія. Въ концѣ шестидесятыхъ годовъ послѣдователи Лассаля и Маркса находились въ жестокой междуусобной войнѣ: раздѣлялъ ихъ преимущественно принципъ національности, основной въ программѣ Лассаля и непримиримый съ международными задачами Маркса. Въ 1875 году въ Готѣ произошло примиреніе. Рабочее движеніе было признано международнымъ вопросомъ новаго времени, но усвоена и идея Лассаля объ участіи государства въ развитіи рабочихъ ассоціацій. Наконецъ, въ 1891 году, на съѣздѣ въ Эффуртѣ, программа снова была измѣнена: государственная помощь въ организаціи рабочаго класса была отвергнута и нѣкоторые основные принципы экономическаго ученія Лассаля, напримѣръ, желѣзный законъ заработной платы—были объявлены не выдерживающими критики. На смѣну его былъ провозглашенъ другой боевой прин-

ципъ: «армія безработныхъ», столь же фатальное явленіе при современномъ экономическомъ строѣ, какимъ Лассалю казался низшій уровень заработной платы.

Все это—*идейное творчество*, и совершается оно съ *творческими* цѣлями, т. е. *идеи* являются вдохновительницами и руководительницами человѣческихъ дѣйствій, распоряжаются фактами и, слѣдовательно, отношеніями. Все это находится въ логическомъ противорѣчіи съ представленіемъ о матеріальныхъ фактахъ, какъ единственныхъ историческихъ дѣятельныхъ силахъ и Марксъ напрасно подчеркивалъ въ свою пользу свое отличіе отъ Гегеля—именно въ ученіи объ *идеальномъ* какъ творческомъ элементѣ въ исторіи. Для самого Маркса только *матеріальное* является такимъ элементомъ. Если бы дѣйствительно такъ было,—его послѣдователямъ, принужденнымъ вести практическую борьбу, не представлялось бы необходимости выставлять тотъ или другой боевой принципъ, болѣе или менѣе соотвѣтствующій общему жизненному смыслу отдѣльныхъ фактовъ. Очевидно,—въ политической должности нѣтъ возможности обойтись безъ *идей-силъ*, обладающихъ творческой вдохновляющей властью независимо отъ фактовъ, имъ противорѣчащихъ. А такіе факты, несомнѣнно, существуютъ, разъ принципы признается цѣлесообразнымъ измѣнять.

Изъ всего этого слѣдуетъ заключить, что матеріалистическая тенденція—самый слабый пунктъ марксистскаго направленія,—и атеизмъ рабочихъ массъ отнюдь не свидѣтельствуетъ о глубинѣ и основательности умственной культуры пролетаріата. Мы, разумѣется, говоримъ объ *источникѣ* соціалистическаго атеизма, а не объ его нравственномъ вліяніи на дѣятельность партіи. Мы видѣли, источникъ менѣе всего логическій, а дѣятельности ничто не мѣшаетъ оставаться благородной и принципіально-убѣжденной, независимо отъ чисто-религіозныхъ воззрѣній дѣятелей. Мы только желаемъ напомнить, насколько, напримѣръ, сенъ-симонизмъ оказался въ культурномъ и психологическомъ отношеніи глубже и разностороннѣе съ его возвышеннымъ представленіемъ о значеніи религіознаго чувства въ исторіи цивилизацій, съ его послѣдовательнымъ, истинно-философскимъ разграниченіемъ вѣроисповѣдныхъ заблужденій и крайностей отъ неистребимой наклонности человѣка создавать себѣ единый нравственный руководящій принципъ. И марксисткое ученіе объ историческомъ процессѣ, несомнѣнно, явилось шагомъ назадъ, болѣе грубымъ и менѣе научнымъ, чѣмъ программа сенъ-симонистовъ обнять культурно-историческій смыслъ и практической дѣйствительности, и такъ называемой симпатической способности человѣческой природы, т. е. способности творить идеи *внѣ* логической цѣли опытныхъ данныхъ. Соціалъ-демократы, провозглашая поперемѣнно то желѣзный законъ заработной платы, то подмѣняя его другимъ экономическимъ догматомъ, по существу проявляютъ туже симпатическую способность и пользуются идеей, какъ силой высшей сравнительно съ данными фактами, и этотъ пріемъ неизбѣженъ и останется такимъ, пока соціализмъ будетъ практической, раз-

рушительной или созидающей силой. А это значитъ,—*религіозный* элементъ присущъ даже матеріалистическому ученію, разъ только оно переходитъ изъ области теоріи на путь борьбы. И иначе быть не можетъ. Чтобы бороться за идею, надо считать ее символомъ вѣры, догматомъ, наука же догматовъ не знаетъ, за исключеніемъ математическихъ формулъ; это также превосходно доказала сенъ-симонистская школа. Очевидно, надо подняться надъ простыми фактами, допустить нѣчто недосказанное, помириться съ нѣкоторымъ пробѣломъ и болѣе или менѣе правдоподобное положеніе признать *закономъ*, жизненной правдой, достойной усилій и жертвъ. А это именно и есть вѣра, религія, вдохновеніе, то именно *das Ideelle*, что вызывало столь опрометчивое пренебреженіе со стороны Маркса *). Учитель соціализма лично обнаруживалъ всѣ признаки религіознаго пророка—и непоколебимымъ убѣжденіемъ въ своемъ исключительномъ учительскомъ призваніи, и деспотической заманчивостью чисто-теоретическихъ умозаключеній, и совершенно догматической идеей о сущности историческаго прогресса.

Но сколько бы возраженій ни вызывала у насъ культурная и психологическая концепція марксизма, а ихъ гораздо больше, чѣмъ мы привели, нѣтъ ни малѣйшей возможности отрицать первостепеннаго значенія школы въ концѣ нашего вѣка, можно даже сказать всеобъемлющаго вліянія ея рѣшительно на всѣ политическія партіи и философскія теченія. Содержаніе соціализма до такой степени жизненно, при современныхъ условіяхъ западноевропейской цивилизаціи, что даже непримиримые враги соціалъ-демократіи невольно заимствуютъ у нея ея идеи, ея цѣли и ея способы борьбы.

V.

Еще двадцать лѣтъ назадъ соціализмъ считался въ Германіи явленіемъ совершенно несущественнымъ. Въ этомъ году въ рейхстагъ было выбрано девять соціалистовъ. Циглеръ разсказываетъ, что онъ вздумалъ обратить вниманіе общества на этотъ фактъ и написалъ статью для одной берлинской газеты. Редакція отне-

*) Слова Маркса въ предисловіи ко 2-му изд. Капитала: «Meine dialectische Methode ist der Grundlage nach von der Hegelschen nicht nur verschieden, sondern ihr directes Gegentheil. Für Hegel ist der Denkprocess, dener sogar unter dem Namen Idee in ein selbständiges sobject verwandelt, der Demiurg des Wirklichen, das nur seine äussere Erscheinung bildet. Bei mir ist umgekehrt das Ideelle nichts andres als das im Menschenkopf ungesetzte und überzetzte Materielle».—(*Das Kapital.* Hamburg 1883, XIX).—Идея, разумѣется, не *деміургъ дѣйствительности*, какъ представлялъ Гегель,—но она въ то же время далеко не всегда только ея точный *переводъ* и рабскій отпечатокъ; она не создаетъ дѣйствительности изъ ничего, но и то, что мы называемъ *идеаломъ* и что имѣетъ весьма существенное, вполнѣ *дѣйствительное* значеніе въ процессѣ исторической жизни, не является фактомъ, во всѣхъ подробностяхъ *заимствованнымъ* изъ міра данной дѣйствительности. Вопросъ вполнѣ удовлетворительно разрѣшается многочисленными примѣрами идейной *революціонной* борьбы, отражавшейся къ осуществленію того или другого идеала, для данной эпохи независимаго и *творческаго*.

слась къ статьѣ съ полнымъ презрѣніемъ и вмѣсто указаній на опасный симптомъ помѣстила торжественный гимнъ побѣдамъ національ-либераловъ. Ничего легкомысленнѣе нельзя было и представить! Вскорѣ оказалось рѣшительно невозможнымъ закрывать глаза на грядущаго врага, и въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ соціализмъ сталъ господствующей политической силой во внутренней жизни страны. Всѣ, кто разсчитывалъ дѣйствовать въ кругу современныхъ интересовъ, принужденъ считаться прежде всего съ соціалъ-демократіей, быть или ея врагомъ, или сторонникомъ: равнодушіе немыслимо, оно означало бы политическую смерть дѣятеля.

И въ самомъ дѣлѣ, нельзя назвать ни одной партіи въ современномъ германскомъ рейхстагѣ, такъ или иначе не связавшей своихъ задачъ съ соціализмомъ; серьезнѣйшимъ врагомъ соціалъ-демократіи съ самаго начала былъ и остался до послѣднихъ дней либерализмъ. Несомнѣнно, у обоихъ направленій часто оказывались нѣкоторыя общія цѣли, напримѣръ, конституціонныя вольности, но на экономической почвѣ либералъ и соціалистъ понимали другъ друга гораздо меньше, чѣмъ даже юнкеръ и соціалистъ. И не только на экономической. Среднее либеральное сословіе даже въ революціонный сорокъ восьмой годъ и слышать не хотѣло о всеобщей подачѣ голосовъ. Принципъ ценза искони былъ задушевнѣйшей мечтой мѣщанскаго чисто-политическаго либерализма, т. е. капиталистическій феодализмъ считалъ себя вполнѣ естественнымъ преемникомъ аристократическаго крѣпостничества и изобрѣлъ даже *свободную* формулу для узаконенія *рабства*, формулу свободной конкурренціи, знаменитое laissez aller laissez faire.

Очевидно, только что народившійся соціализмъ долженъ былъ вступить въ грозную междоусобицу съ либерализмомъ, душившимъ пролетаріатъ по всѣмъ правиламъ конституціонной свободы. Лассаль первый объявилъ безпощадную войну при восторженныхъ привѣтствіяхъ консерваторовъ. Онъ провозгласилъ манчестерцевъ, т. е. либеральныхъ защитниковъ свободныхъ экономическихъ отношеній, «новыми варварами», потребовалъ энергическаго вмѣшательства государства въ участь бѣдняковъ, основанія промышленныхъ ассоціацій съ помощью казны, увидѣлъ даже въ Бисмаркѣ спасителя цивилизаціи, въ Пруссіи открылъ «огонь Весты», долженствующій озарить народу новые пути къ благоденствію. Бисмаркъ понялъ національный пылъ Лассаля, его государственный даже прусскій фанатизмъ, сошелся съ нимъ на идеѣ о всеобщей и тайной подачѣ голосовъ, и уже этого факта достаточно, чтобы агитація Лассаля осталась великимъ культурнымъ фактомъ въ исторіи современной Германіи.

Основныя общія идеи Лассаля отвергнуты современной соціалъ-демократіей: Она не признаетъ желѣзнаго закона заработной платы, не возлагаетъ своихъ надеждъ на современное государство, рабочее движеніе для нея — вопросъ не національный, а международный, и послѣдователи Маркса, особенно за предѣлами Германіи, напримѣръ, во Франціи, нерѣдко весьма снисходительно отзываются о политическихъ талантахъ Лассаля, не

*

стѣсняются даже видѣть въ немъ нѣчто вродѣ бонапартиста, агитатора на подкладкѣ плебисцита и единоличной диктатуры. Если принять во вниманія прусскія и бисмарковскія увлеченія Лассаля, взглядъ этотъ не лишенъ основанія: Лассаль былъ скорѣе романтикомъ соціализма, чѣмъ его государственнымъ умомъ и несомнѣнно увлекался эффектомъ своей трибунской роли гораздо больше чѣмъ всестороннимъ изученіемъ принциповъ и цѣлей соціалистическаго движенія. Марксъ, въ смыслѣ солидности мысли и обилія свѣдѣній, величина для Лассаля недосягаемая, но это не мѣшаетъ современнымъ нѣмецкивъ рабочимъ чтить память Лассаля, какъ увлекательнѣйшаго возбудителя политическаго самосознанія въ народныхъ массахъ. Въ Германіи на равныхъ правахъ празднуются два праздника—Маркса и Лассаля: это своего рода національныя торжества рабочей партіи, и въ процессіяхъ перваго мая иниціалы *F. L.* (Ferdinand Lassalle) красуются въ первомъ ряду соціалистическихъ символовъ.

Соціалъ-демократія отпала отъ гогенцоллернской имперіи и организовала собственное государство, съ громадными средствами, съ образцовымъ порядкомъ внутренняго управленія, съ дисциплиной, какой могла бы позавидовать какая угодна самая законная держава. Результаты не замедлили обнаружиться блистательно. Партія растетъ и крѣпнетъ параллельно съ экономическимъ ростомъ всей страны. На консервативный взглядъ—это совершенно фатальный фактъ. Германская промышленность и торговля уступаютъ въ настоящее время только англійской,—явленіе безпримѣрное въ исторіи! Еще на всемірной парижской выставкѣ въ 1855 году Германія не играла никакой роли, какъ міровая торговая держава. У нея не было флота, не было колоній, не было товаровъ для вывоза. Не прошло и полвѣка, Германія начинаетъ вытѣснять Англію и Францію съ ихъ исконныхъ рынковъ и французская печать еще энергичнѣе взываетъ объ экономической борьбѣ съ зарейнскомъ врагомъ, чѣмъ тоскуетъ о реваншѣ. Эльзасъ-Лотарингія все больше, повидимому, отходитъ въ область политическихъ несбыточныхъ сновъ, но коммерческое тріумфальное шествіе Германіи по всему земному шару, самая грозная и неопровержимая дѣйствительность *).

И это шествіе влечетъ за собой еще болѣе грозный призракъ—соціализма. Партія съ каждыми выборами торжествуетъ новые побѣды и даже нашъ либеральный авторъ сознается, что теперь рѣшительно всякій законопроектъ необходимо вырабатывать въ зависимости отъ взглядовъ и настроеній Либкнехта, Бебеля и ихъ арміи.

Такое положеніе вещей произвело громадное дѣйствіе на всѣ партіи. Прежде всего постигла жалкая участь принципіальныхъ враговъ соціализма—національ-либераловъ. Они оказали Бисмарку неоцѣненную помощь въ періодъ исключительныхъ законовъ, составляли его вѣрнѣйшую свиту въ преслѣдованіи соціалъ-демо-

*) Ср. Raphaël-Georges Lévy. *Le commerce allemand.* «Revue des deux mondes», 15 avril 1898.

кратіи. Эта политика явилась смертнымъ ударомъ для либерализма. Онъ утратилъ всякое довѣріе народа, потерялъ даже ореолъ свободомыслія и независимости и развѣ только одна національная идея осталась живымъ мѣстомъ въ либеральномъ организмѣ. Все политически сильное и идейное отрясло прахъ отъ этой партіи и усвоило или болѣе родикальныя идеи, или открыто приняло соціалистическую окраску.

До какой степени сильна притягательная сила соціализма, показываетъ любопытнѣйшее явленіе конца нашего вѣка, соціализмъ церкви. Духовенство отлично поняло, что время его традиціоннаго профессіональнаго вліянія на массу миновало безвозвратно. Чтобы сохранить уваженіе «стада» необходимо войти въ его жизненные интересы, понять его идеалы и, по возможности, стать во главѣ его стремленій.

А эти идеалы—политическое равноправіе и экономическая справедливость, приходится, слѣдовательно, вкусить соціалистическихъ идей и христіанскую общину счесть за прообразъ рабочей ассоціаціи. Именно такими идеями вдохновляется современное германское духовенство, одинаково усердно котолическое и протестантское.

Принципіальныхъ препятствій на новомъ пути духовенство не могло встрѣтить даже въ своихъ преданіяхъ. Въ самомъ евангеліи бѣдности отведено въ высшей степени почетное мѣсто, богатство, напротивъ, признано даже препятствіемъ къ нравственному совершенствованію. Христіанство, долгое время уловлявшее преимущественно души бѣдныхъ, впослѣдствіи стало также религіей богатыхъ, но при всякой попыткѣ вѣрующихъ преобразовать церковь, на поверхность выплывали соціалистическія тенденціи, напримѣръ, въ средневѣковыхъ коммунистическихъ сектахъ, въ народномъ движеніи при лютеровской реформаціи. Изъ этихъ фактовъ, очевидно, до какой степени безразсудны нападки слишкомъ горячихъ соціалъ-демократовъ на христіанство, какъ религію; на это недоразумѣніе указывалъ даже Либкнехтъ. Естественно, наиболѣе талантливое и искреннее духовенство безъ всякихъ насилій надъ своей совѣстью и задачами своего сана, пристало къ соціализму. Предъ ними были давно готовые послѣдователи, именно сельское духовенство, отпугиваемое матерьялистическими идеями соціалъ-демократіи. Въ 1877 году центръ впервые выставилъ соціальную программу, началъ организовать рабочіе союзы и вести энергичную борьбу со свѣтскимъ соціализмомъ.

Къ сожалѣнію, духовенство не всегда оказалось способнымъ отрѣшиться отъ истинъ весьма сомнительнаго культурнаго достоинства.

Напримѣръ, среди духовныхъ соціалистовъ прежде всѣхъ припоминается пасторъ Штёкеръ, несомнѣнно талантливый ораторъ, искусный политикъ и смѣлый дѣлецъ. Шуму пасторъ вызвалъ чрезвычайно много, основалъ особую христіанско-соціальную рабочую партію, его привѣтствовали стихами и прозой, какъ спасителя Германіи. И Штёкеръ дѣйствительно объявилъ войну

соціалъ-демократіи, какъ партіи нехристіанской и непатріотической. Въ извѣстномъ смыслѣ опредѣленія были справедливы, но христіанство и патріотизмъ самого Штёкера обнаружили въ высшей степени крѣпкій средневѣковый духъ. Христіанство вдохновило его на антисемитизмъ, а патріотизмъ внушилъ поистинѣ придворныя чувства къ прусскому королю, предъ чьей особой Штёкеръ имѣлъ честь произносить церковныя проповѣди.

Такое представленіе объ евангеліи и любви къ отечеству оттолкнуло отъ Штёкера молодое духовное поколѣніе и среди него возникло новое соціалистическое направленіе.

Во главѣ сталъ пасторъ Науманъ, личность великой нравственной силы, глубокаго гуманнаго чувства и выдающагося ума. Онъ отринулъ антисемитическій жаръ и слишкомъ услужливый консерватизмъ Штёкера; въ его ученіи христіанство явилось простымъ нравственнымъ ученіемъ, патріотизмъ—національнымъ сознаніемъ. Послѣдній пунктъ самый существенный.

Науманъ мужественно борется противъ капиталистическаго либерализма, противъ эксплуатаціи и патріотическаго выжиманія соковъ изъ низшихъ слоевъ народа; здѣсь онъ—единомышленникъ соціалъ демократіи, и баронъ Штуммъ, заводчикъ и прусскій патріотъ, считаетъ Наумана не менѣе неблагонадежнымъ, чѣмъ Бебеля. Но трудно въ современной Германіи работать во имя гуманныхъ идеаловъ и экономическаго благополучія рабочихъ и въ то же время сохранить патріотическія чувства хотя бы даже въ самой культурной формѣ.

Быть патріотомъ объединенной имперіи, значитъ ежегодно вотировать все новые кредиты на флотъ и армію, готовиться къ міровой войнѣ—во славу нѣмецкаго оружія и за торжество нѣмецкой коммерціи. Таково неотъемлемое содержаніе новѣйшаго нѣмецкаго національнзма, и легко представить, какъ трудно усвоить его рабочимъ, вообще народу.

И у Наумана нѣтъ многочисленныхъ послѣдователей среди пролетаріата. Въ 1898 году его партія, «національ-соціалисты», собрала всего 23,000 голосовъ и не провела въ рейхстагъ ни одного своего кандидата. Но идеи Наумана, несмотря на столь скромные результаты, имѣютъ очень большое значеніе. Его сторонники принадлежатъ къ интеллигерціи, наиболѣе культурной, и она-то рабочую партію, т. е. соціалъ-демократовъ считаетъ родственной себѣ: единеніе между народомъ и образованнымъ слоемъ выигрываетъ лишній шагъ. Мы видимъ, церковь рѣшительно идетъ навстрѣчу соціальному духу времени. Энциклика папы отъ 15 мая 1891 года торжественно признала этотъ духъ господствующимъ. Папа не обнаружилъ истиннаго пониманія новѣйшихъ соціальныхъ задачъ: онъ попытался возобновить старое средство примиренія капитала съ трудомъ, именно проповѣдь одной сторонѣ милосердія, другой—терпѣнія. Энциклика на этотъ счетъ опоздала по крайней мѣрѣ на нѣсколько вѣковъ, но цѣль ея вполнѣ современна, именно открытая постановка соціальнаго вопроса. Не отстало отъ католичества и протестанство. Годомъ раньше папской энциклики высшій евангелическій церковный

совѣтъ въ Берлинѣ издалъ циркуляръ, пригласившій духовенство принять участіе въ современной соціальной работѣ.

Циркуляръ привелъ въ ужасъ «короля Штумма», юнкеровъ и аграріевъ, и пять лѣтъ спустя тотъ же совѣтъ выпустилъ циркуляръ совершенно противоположнаго содержанія: теперь онъ предостерегалъ духовенство отъ вмѣшательства въ соціальную борьбу, способную скомпрометировать санъ священника и повредить его высокимъ обязанностямъ.

Столь непримиримыя дѣйствія протестантской церкви стоятъ наивностей папской энциклики, и всѣ они показываютъ, какъ мало современное европейское христіанство приспособлено къ рѣшенію соціальныхъ задачъ. Но для насъ поучительны самыя усилія церкви войти въ соціалистическое теченіе идей, убѣжденіе духовенства, что только такимъ путемъ можно спасти нравственный авторитетъ и католичества, и протестанства.

Несравненно болѣе глубокій и искренній интересъ къ соціализму обнаружила германская наука. Уже въ началѣ пятидесятыхъ годовъ она повела борьбу съ классической системой политической экономіи, установила историческій методъ изученія экономическихъ явленій и проложила пути соціалистической теоріи. Это не была политическая агитація, профессора, напротивъ, до послѣдняго времени усердно открещивались отъ дѣятельности, сколько-нибудь похожей на шумную предпріимчивость Лассаля или даже на пророческій догматизмъ Маркса; они только желали «свѣтомъ науки освѣтить пути жизни» и среди страстной повседневной практической борьбѣ заговорить голосомъ разума, безпристрастія и знанія.

Именно такъ изображалъ соціальныя задачи профессоровъ Шмоллеръ. Время требовало болѣе опредѣленнаго и практически-настойчиваго дѣла, но и профессорскія изслѣдованія различныхъ отраслей промышленности, положенія рабочихъ, историческое освѣщеніе экономическихъ явленій—все это, несомнѣнно служило цѣлямъ настоящаго и соціалъ-демократія могла только привѣтствовать подобные научные труды. Наконецъ, ученые представители соціальной политики не всегда ограничиваясь объективной исторіей, она подсказывала профессорамъ чисто-практическія дѣли, нравственная сторона экономическихъ вопросовъ неизбѣжно выступала изъ-за чисто-научнаго изслѣдованія, и тотъ же Шмоллеръ явился горячимъ сторонникомъ реформъ въ народномъ образованіи, требовалъ неустаннаго подъема знаній и способностей низшихъ классовъ.

Соціалъ-демократы могутъ подчасъ весьма зло отзываться объ университетскомъ соціализмѣ и, разумѣется, шмоллеровскіе просвѣтительные планы своего рода идиллія предъ программой Бебеля и Либкнехта, но существенно неопровержимое проникновеніе соціалистическаго духа въ науку, на каѳедру, въ школьное преподаваніе. Время, несомнѣнно внесетъ свои поправки въ профессорскіе идеалы; за періодомъ историческихъ изысканій могутъ послѣдовать весьма положительныя предписанія; 2.100.000 голосовъ, поданныхъ за кандидатовъ соціалъ-демократіи на послѣд-

нихъ выборахъ въ 1898 году, слишкомъ знаменательное явленіе, чтобы обильная талантами германская наука не восприняла логическихъ послѣдствій и еще энергичнѣе не внесла болѣе рѣшительнаго свѣта и разума въ неограниченно-властные вопросы современной внутренней политики.

Такой свѣтъ требуется безусловно, и именно со стороны науки. Соціальный вопросъ переживаетъ драматическій періодъ развитія. Соціализмъ быстро развивается, но рядомъ растутъ другія силы и идеи, ему враждебныя или, по крайней мѣрѣ, въ культурномъ отношеніи ему совершенно чуждыя, и не только ему, а вообще всему господствующему направленію современной цивилизаціи, гуманному и демократическому.

VI.

Прежде всего касательно гуманности: девятнадцатый вѣкъ завѣщаетъ будущему въ высшей степени странное идейное теченіе *антисемитизмъ*. Средніе вѣка въ своей ненависти противъ евреевъ дѣйствовали послѣдовательно. Религіозное чувство презрѣнія къ «проклятому народу» совпадало съ озлобленіемъ массы на экономическіе таланты и успѣхи еврейскаго племени. Средневѣковый человѣкъ зналъ одно оружіе борьбы—матеріальную силу и естественно пускалъ ее въ ходъ при рѣшеніи какихъ угодно практическихъ и нравственныхъ вопросовъ. За ереси онъ жегъ на кострахъ своихъ же братьевъ-христіанъ, избивалъ при случаѣ и евреевъ, и мавровъ. Но все это преданія темной и невозвратной старины. Культура должна бы выработать другія средства рѣшать общественные вопросы. Въ ея распоряженіи наука, свободныя учрежденія, громадная сила печати. И несмотря на все это—*антисемитизмъ*, т. е. война племенная и ожесточенная, т. е. война противъ людей не за преступленія и пороки, завѣдомо совершенные и обнаруженные, а за принадлежность къ извѣстной національности, война изъ-за происхожденія, изъ-за ихъ крови, своего рода библейская кара за грѣхи отцовъ и прадѣдовъ.

И что особенно замѣчательно, антисемитизмъ не мѣстное явленіе, а общеевропейское. Парламенты Франціи, Германіи, Австріи имѣютъ особые партіи антисемитовъ, ненависть противъ евреевъ, не настроеніе, не личное чувство, а политическій принципъ, способный объединить сотни тысячъ избирателей, несомнѣнно въ большомъ числѣ образованныхъ и даже просвѣщенныхъ. И среди антисемитовъ встрѣчаются имена блестящихъ первостепенныхъ ученыхъ различной политической окраски.

Если Трейчке антисемитъ, это не дѣлаетъ большой чести антисемитской партіи. Правда, историкъ отличался талантливостью, выдающимся даромъ словъ, принципіальностью и силой убѣжденій, но былъ ужъ слишкомъ прусскимъ патріотомъ и націоналистомъ въ бисмарковскомъ смыслѣ, чтобы отъ него можно было ожидать гуманности и умѣренности. Но рядомъ съ Трейчке пламенный антисемитъ Дюрингъ, еще болѣе даровитый, мужественный гражданинъ, по убѣжденіямъ крайній либералъ и позити-

вистъ. Очевидно, въ антисемитизмѣ не одно только прусское національное и политическое мракобѣсіе, и на выборахъ 1898 года антисемиты провели въ рейхстагъ двѣнадцать своихъ кандидатовъ, за нихъ подано 244.000 голосовъ. Если принять во вниманіе очень высокій уровень культуры нѣмецкаго народа, тайную и всеобщую подачу голосовъ, фактъ предстанетъ предъ нами во всемъ своемъ значеніи—печальномъ и на столько же, пожалуй, загадочномъ.

Нашъ авторъ, къ сожалѣнію, уклоняется отъ объясненій. Онъ искренне негодуетъ на «великій стыдъ» антисемитизма: партія противорѣчитъ идеямъ терпимости и справедливости. Сѣтованія эти по меньшей мѣрѣ наивны. Такіе люди, какъ Дюрингъ не хуже Циглера понимаютъ идею справедливости, и тѣмъ не менѣе считаютъ безусловно культурной задачей новаго времени борьбу съ іудействомъ. Дюрингъ въ устраненіи еврейскихъ вліяній на политику и экономическую жизнь нѣмецкаго народа видитъ спасеніе достоинства и силы Германіи, не грубой національно-прусской, а именно нравственной и культурной. То же самое думаютъ и по ту сторону Рейна, французскіе умѣреннѣйшіе ученые и публицисты, объявляя еврейскій элементъ «разлагающимъ».

Справедливо-ли это? Несомнѣнно,—въ устахъ Трейчке и Дрюмона антисиметическія выходки могутъ и не производить рѣшительнаго впечатлѣнія, но антисиметизмъ вовсе не означаетъ непремѣнно шовинистской узости взглядовъ и не характеризуетъ неизлѣчимыхъ маньяковъ національзма и какого-бы то ни было правовѣрія. Самъ авторъ это сознаетъ. Онъ мимоходомъ упоминаетъ о періодѣ грюндерства, слѣдовавшемъ послѣ франко-прусской войны. Это была настоящая безумная пляска у золотого тельца, разнузданное царство дутаго предпринимательства, биржевого ажіотажа, банковскихъ аферъ. Печать принимала горячее участіе въ общемъ позорѣ. Французскіе милліарды легли проклятіемъ на совѣсть и честь нѣмецкаго народа. Евреи играли видную рѣчь въ предпринимательской горячкѣ. Особенно еврейская печать въ Берлинѣ ознаменовала себя незабвенными подвигами, и съ этихъ поръ въ столицѣ германской имперіи антисемитизмъ свилъ прочное гнѣздо.

Не можетъ быть, конечно, ни малѣйшаго сомнѣнія, что отъ евреевъ не отставали и кровные нѣмцы, но биржа и печать дѣйствительно вдохновлялись преимущественно редакторами-евреями. Этотъ фактъ признаетъ и нашъ авторъ и на этомъ же фактѣ развился впервые университетскій антисемитизмъ, чрезвычайно сильный въ Германіи. Студенты оказались болѣе убѣжденными врагами еврейскаго биржевого и журнальнаго міра, чѣмъ рабочіе и вообще простой народъ. Трейчке встрѣтилъ страстный отголосокъ среди своихъ университетскихъ слушателей и надо думать,—именно ихъ отзывчивость увлекла самого оратора за предѣлы даже здраваго смысла.

Сначала Трейчке нападалъ только на дѣйствительно безпринципное растлѣвающее вліяніе еврейской журналистики, потомъ

онъ сталъ издѣваться даже надъ расовымъ еврейскимъ типомъ, надъ еврейскими носами, надъ тембромъ еврейскаго голоса. Профессоръ былъ слишкомъ уменъ, чтобы не сознавать цѣны подобныхъ нападокъ, и онъ открыто признавалъ увлеченіе въ своихъ антисемитическихъ чувствахъ, — приписывая его только не своей винѣ, а излишней терпимости и близорукости либераловъ.

Легко понять,—такой азартъ не могъ служить къ чести партіи и антисемитизмъ безпрестанно самъ себѣ наносилъ и наноситъ сильнѣйшіе удары, покидая почву политики и морали и переходя въ область чисто племенной или даже вѣроисповѣдной нетерпимости. Въ этомъ *обобщеніи* таится недужная сторона антисемитизма, но она не мѣшаетъ направленію быть культурнымъ и экономическимъ симптомомъ нашего времени. Надо помнить,— въ Германіи на 52 милліона нѣмцевъ всего 600.000 евреевъ; эти нѣмцы въ общемъ отлично вооружены противъ эксплуатаціи и авантюризма,—они представляютъ культурнѣйшій народъ Европы, —и все это не подрываетъ антисемитическаго движенія. По мнѣнію автора, оно должно прекратиться съ полнымъ перерожденіемъ евреевъ въ культурныхъ нѣмцевъ: это перерожденіе,—говоритъ онъ,—уже началось наканунѣ взрыва антисемитическихъ страстей, и авторъ обнѣмечившихся евреевъ считаетъ «образованнѣйшими и благороднѣйшими представителями еврейства».

Рѣшеніе цѣлесообразное, но возможное ли? Въ состояніи ли цѣлая нація—и одна изъ самыхъ старыхъ—утратить безслѣдно свою національную самобытность и слиться психологически съ другой націей, даже не одной съ ней расы? Желательно ли самимъ евреямъ такое разрѣшеніе борьбы? Мыслимо ли представить народъ, способный желать какое бы ни было благополучіе купить цѣной своей національности,—*ganz deutsch zu werden*, какъ выражается профессоръ Циглеръ? «Стать совершенно нѣмцами»,— ждать этого отъ евреевъ не значитъ защищать ихъ отъ антисемитической ненависти и менѣе всего оправдывать ихъ, такъ какъ логическое заключеніе на основаніи этой надежды только одно: значитъ, евреи сами по себѣ дѣйствительно непригодный общественный элементъ, они должны перестать быть евреями, и даже чувствовать поеврейски—ихъ долгъ—*deutsch* zu fühlen. Только въ такомъ случаѣ ихъ можно терпѣть въ благоустроенномъ культурномъ государствѣ.

Врядъ ли сами евреи согласятся съ такой защитой своихъ нѣмецкихъ чувствъ и правъ нѣмецкаго гражданства. Борьба должна имѣть другой исходъ, какой именно, трудно предсказать. Во всякомъ случаѣ съ теченіемъ времени она утратитъ средневѣковый духъ, перестанетъ быть племенной, но чтобы вполнѣ исчезнуть— ей требуется нѣчто другое помимо гуманныхъ проповѣдей и либеральныхъ негодованій. Вопросъ связанъ не съ отвлеченными правилами любви и нравственности, а съ основами экономической народной жизни, и долженъ быть разрѣшенъ вполнѣ практически, безъ всякаго трогательнаго краснорѣчія, силой фактовъ и отношеній. Слѣдовательно, и здѣсь открывается путь соціальныхъ реформъ, и антисемитическая смута цѣликомъ входитъ въ программу соціалъ демократическихъ воздѣйствій на общественный строй.

Итакъ, всюду и во всемъ повелительный голосъ партіи, существующей всего нѣсколько десятковъ лѣтъ и уже могущественно вліяющей на государственный и общественный прогрессъ. Естественно возникаетъ вопросъ: во имя какихъ же принциповъ осуществляется это вліяніе, т. е. существуетъ ли у соціало-демократіи совершенно опредѣленный идеалъ будущаго строя, какой долженъ возникнуть на смѣну существующему.

Бисмаркъ до конца остался при убѣжденіи, что такого идеала у соціализма не имѣется. Программа его—чисто отрицательная, сплошная критика и ни малѣйшаго творчества.

Такой взглядъ слишкомъ рѣшителенъ, но правда въ немъ есть. Отрицательный пунктъ соціалистической программы—уничтоженіе частной собственности, но созданіе государственной и общественной—несомнѣнно положительное требованіе. За предѣлами его только нѣтъ такого тона ни новаго государства, ни новаго общества, начинается царство мечтаній и утопій, напримѣръ, въ извѣстной книгѣ Бебеля *Женщина и соціализмъ*. Перспективы, чрезвычайно отрадныя, уже безчисленное число разъ возникавшія въ человѣческихъ умахъ, истомленныхъ тяготой и неправдой современности, но, очевидно, мало реальныя и трудно осуществимыя. И самъ Бебель признаетъ слишкомъ общій характеръ своихъ предположеній: по его мнѣнію, ни одинъ человѣкъ въ настоящее время не въ состояніи предвидѣть, какъ устроятся будущія поколѣнія и какъ они будутъ удовлетворять свои потребности. Другіе прямо заявляютъ, что соціалъ-демократія не сокрушается о конечныхъ цѣляхъ,—она должна разсчитаться сначала съ ближайшими повседневными препятствіями, ихъ вполнѣ достаточно для самой напряженной энергіи и высшаго политическаго таланта. А загадывать объ отдаленномъ будущемъ значитъ погружаться въ безцѣльную утопическую мечтательность. *Экспропріація орудій производства* цѣль вполнѣ положительная и достаточно объемлющая для многихъ еще поколѣній.

Но на такомъ отвѣтѣ не всѣ способны помириться, даже въ средѣ самой соціалъ-демократіи, и на съѣздахъ партіи неоднократно поднимался вопросъ о «конечной цѣли» объ *Endziel* соціалистической работы. И вполнѣ понятно. Эта цѣль можетъ сообщить громадную нравственную силу, истинное вдохновеніе практической дѣятельности и она же обладаетъ великой властью привлекать новыхъ послѣдователей и работниковъ. Если ея нѣтъ или она скрывается въ непроницаемомъ туманѣ, все направленіе колеблется въ своей авторитетности, оно является лишеннымъ идеальной цѣльности, своего рода оппортюнизмомъ. Это превосходно поняли противники соціализма политическіе и идейные, и Бисмаркъ не уставалъ уличать соціалъ-демократовъ въ безсиліи выставить какой-либо положительный идеалъ своихъ стремленій.

Но улики Бисмарка явно принадлежали врагу, преднамѣренному и озлобленному. Соціализмъ встрѣтилъ критику съ другой стороны, не политической, и критику въ высшей степени краснорѣчивую: она одинъ изъ самыхъ яркихъ культурныхъ симптомовъ конца вѣка.

Критика эта—возрожденіе индивидуализма.

Соціалисты—принципіальные защитники массы, толпы, уравнительныхъ тенденцій историческаго развитія. Для нихъ—личность только часть цѣлаго, и ея назначеніе служить общей работѣ, быть *сотрудницей*, она—атомъ общественнаго организма и живетъ только его жизнью и для его развитія. Всякая дѣятельность кооперативна, и всякая цѣль—долгъ службы ради кооперації. Будущее общество съ этой точки зрѣнія должно рисоваться въ формѣ фабрики и общей столовой, вообще учрежденія нивеллирующаго; оно исключаетъ какую бы то ни было преобладающую роль личности, всякое *я* приводитъ къ одному знаменателю и вгоняетъ въ общія стадныя рамки.

Могъ ли инстинктъ индивидуальности, развивающійся въ теченіе всей исторіи человѣчества, безропотно отказаться отъ своихъ правъ въ пользу столь плебейскаго, принижающаго идеала безличной толпы?

И онъ заговорилъ чрезвычайно рѣзко и даже злобно.

Онъ возсталъ противъ матеріалистическихъ принциповъ соціализма, поставившаго на первомъ планѣ культурныхъ стремленій усовершенствованіе экономическихъ отношеній; онъ вознегодовалъ на планъ общей столовой и рабочей, гдѣ нѣтъ мѣста идеальному, оригинальному, лично-вдохновенному и героическому, онъ почувствовалъ смертный страхъ предъ грядущимъ измельчаніемъ человѣческой природы, предъ исчезновеніемъ всего самобытнаго, лично-сильнаго, романтически-прекраснаго. Какая удручающая проза—фабричная казарма, населенная безличными хотя и разумными рабочими единицами, вся поглощенная идеей взаимныхъ обязательствъ и услугъ, и все это ради сытости и мѣщанскаго благополучія!

И личность возстала! Тотъ же Трейчке яростно напалъ на соціалистическую нивеллировку общества, но въ нападеніяхъ историка, какъ и въ его идеалахъ, оказалось слишкомъ много *историческаго* аристократизма, даже проповѣдь о неизбѣжности работы ничтожныхъ плебеевъ ради избранныхъ двигателей прогресса. Это недалеко отъ античнаго представленія о прирожденныхъ рабахъ и благородныхъ, о фатально-унизительномъ и растлѣвающемъ вліяніи физическаго труда на человѣческую душу. Трейчке и дошелъ до провозглашенія закона: господство классовъ основано на законахъ природы, идеальными благами цивилизаціи можетъ наслаждаться только меньшинство, а большинство должно работать ради тѣхъ благъ въ потѣ своего лица, слѣдовательно, существованіе необразованнаго рабочаго класса необходимо въ интересахъ самой культуры.

Шмоллеръ превосходно разбилъ эту идеологію и безъ особеннаго труда: она слишкомъ явно вдохновлялась прусскими юнкерскими и вообще реакціонными вожделѣніями, при всей своей притязательности имѣющими значеніе только курьезнаго образчика атавизма.

Несравненно любопытнѣе протестъ въ защиту индивидуализма со стороны философіи, въ лицѣ Нитче. Но и здѣсь вѣетъ все

тотъ же атавистическій духъ, хотя и болѣе благородный, даже поэтическій. Нитче, какъ эстетику и поэту, больно, нестерпимо больно, видѣть исчезновеніе изъ современной жизни личнаго героическаго размаха, индивидуальной своеобразной красоты, мощнаго картиннаго величія генія, дѣйствующаго внѣ общепризнанной повседневной морали, причиняющаго нерѣдко много зла людямъ мелкимъ и слабымъ, но сторицею искупающаго это зло величавымъ полетомъ воображенія, мысли и практики, слѣдовательно, прославляющаго вообще силу и богатство человѣческой природы.

И Нитче долженъ былъ подобныхъ героевъ отыскивать въ прошломъ, особенно въ эпохѣ Возрожденія, когда царствовало столько художественной красоты и столько личнаго героизма—деспотическаго, безнравственнаго, но грандіознаго и несомнѣнно оригинальнаго. И протестъ философа-эстетика противъ современной стадности постепенно поднялся на головокружительную высоту, гдѣ предъ глазами мыслителя исчезло всякое реальное представленіе о реальномъ человѣкѣ, гдѣ предъ болѣзненно-огорченнымъ и страстно-возбужденнымъ воображеніемъ выросъ образъ *сверхъ-человѣка*, чуждаго именно тѣхъ человѣческихъ свойствъ, какія благопріятствуютъ существованію слабыхъ и безличныхъ, состраданія и приспособленія. И Нитче возсталъ противъ христіанства, какъ проповѣди любви и жалости, возсталъ и противъ всякаго общественнаго уклада, какъ тюрьмы для избранныхъ личностей, возсталъ въ сущности противъ исторіи и цивилизаціи, какъ путей къ осуществленію возможно болѣе широкаго просвѣщенія и гуманности.

Это страдальческая философія, не идеи, созданныя логически, въ спокойномъ вдумчивомъ анализѣ; это крикъ пораженнаго чувства, судорога художественной натуры, почувствовавшей чисто-физическую боль. И Нитче не вынесъ своей муки: онъ заплатилъ за свою исповѣдь противъ духа времени безпросвѣтнымъ безуміемъ.

Но это не значитъ, будто духъ времени одержалъ безповоротную побѣду. Неопредѣленность соціалистической конечной цѣли менѣе всего свидѣтельствуетъ о торжествѣ массоваго принципа надъ индивидуальнымъ. Индивидуализмъ не умеръ и врядъ когда умретъ, все равно какъ врядъ ли когда осуществится и уравнительный идеалъ. Въ самой природѣ лежитъ непреодолимая тенденція создавать *личностей*, аристократовъ и плебеевъ по богатству и скудости талантовъ и способностей. А всякое духовное богатство непремѣнно осуществляется въ качествѣ, въ направленіи и въ результатахъ практической дѣятельности и никакая столовая и рабочая не убьетъ этого естественнаго порядка и споръ между соціализмомъ и индивидуализмомъ никогда не будетъ рѣшенъ въ пользу той или другой стороны. Ассоціація и личность должны будутъ найти какой нибудь общій путь, одинаково соотвѣтствующій развитію исключительныхъ силъ личности и общимъ задачамъ общества. Путь этого, по нашему мнѣнію, откроется въ тотъ моментъ, когда всѣ личные инстинкты преобразуются въ соціальные, т. е. когда личность совершенно утратитъ центробѣжныя наклонности, столь еще могущественныя въ наше время.

Не подавленіе личности, а воспитаніе ея, не война противъ индивидуализма, а введеніе его въ кругъ соціальныхъ добродѣтелей не насильственныхъ, а столь же естественныхъ, какъ старая героическая жажда *личной* славы и *оригинальной* дѣятельности. Въ связи съ этимъ процессомъ преобразованія индивидуалистическихъ задатковъ долженъ подняться и идеальный уровень самой ассоціаціи неизмѣримо выше фабричной казармы и общей столовой. Ассоціація должна дать въ своей средѣ просторъ идеальному столь же широкій и законный, какой теперь признается за чисто-матерьяльными потребностями.

И современный соціализмъ несомнѣнно отрѣшится отъ своихъ узкихъ матерьялистическихъ тенденцій, пока, можетъ быть, и необходимыхъ по условіямъ современной практической борьбы. Многія идеи Маркса—и прежде всего ученіе о смыслѣ и содержаніи историческаго прогресса—потерпятъ участь идей Лассаля: онѣ будутъ замѣнены болѣе глубокими и продуманными. Но основной мотивъ соціалъ-демократическаго движенія—строй общества въ интересахъ производительной массы—при всѣхъ преобразованіяхъ боевыхъ принциповъ и общихъ философскихъ положеній—останется главнѣйшимъ завѣтомъ нашего вѣка грядущему. Цѣль слишкомъ высока, чтобы не вызывать разнообразнѣйшей и жестокой борьбы. И конецъ столѣтія застаетъ Германію въ самый разгаръ броженія. Не все здѣсь свѣтло и радостно, даже слишкомъ мало пищи для оптимистическаго ума, напротивъ—именно нашъ вѣкъ создалъ самыя блестящія системы нигилистической философіи, но здѣсь необыкновенно много жизни, движенія, страсти и, слѣдовательно, надеждъ и идеаловъ. Истинное бѣдствіе не тамъ, гдѣ совершаются ошибки, торжествуютъ заблужденія и даже несправедливость и неправда, гдѣ слышатся стоны страданія и вопли гнѣва, а тамъ, гдѣ равнодушны къ ошибкамъ, гдѣ безучастны къ неправдамъ, гдѣ безмолвны въ страданіяхъ, гдѣ смиренны въ обидахъ—гдѣ, наконецъ, нѣтъ трепета чувствующей и мыслящей человѣческой души.

И это бѣдствіе невѣдомо современной Германіи. Она поставила труднѣйшій вопросъ, какой только знаетъ исторія культуры,—и рѣшаетъ его съ неослабной энергіей, съ поразительной затратой блестящихъ умственныхъ силъ; намъ остается привѣтствовать путь великой страны къ общечеловѣческой цѣли.

О политикѣ и соціологіи въ современной Франціи.

По поводу изданія Bulletin du comité des travaux historiques et scientifiques. Congrès des societés savantes de 1898. Section des sciences economiques et sociales.

I.

Предъ нами одна изъ любопытнѣйшихъ книгъ, какія только вышли за послѣднее время во Франціи. Впечатлѣніе на первый взглядъ неожиданное: книга—офиціальное изданіе министерства

народнаго просвѣщенія, сборникъ ученыхъ докладовъ, прочитанныхъ на съѣздѣ спеціалистовъ. Правда, это спеціалисты по исторіи, соціологіи и политической экономіи—наукамъ, по существу, жизненнымъ и даже практическимъ. Но вѣдь извѣстно,—идеаломъ весьма многихъ «спеціалистовъ» считается такъ называемая чистая наука, т. е. совершенно неприкосновенная интересамъ дня и даже времени, парящая на высотѣ сверхчеловѣческаго безстрастія. Претензіи эти въ области общественныхъ знаній естественно остаются неосуществимыми, и чистая ученость является только новымъ видомъ лицемѣрія или шарлатанства. Но и такая совершенно неотразимая судьба не мѣшаетъ время отъ времени раздаваться напыщеннымъ декламаціямъ изъ какого-нибудь педантскаго закоулка и призывать историковъ и соціологовъ къ ролямъ анатомовъ и физіологовъ.

Во Франціи подобное самообольщеніе также нерѣдко находило своихъ жертвъ. Извѣстно, что именно въ этой странѣ возникла идея объ исторіи какъ *соціальной физикѣ* и о политикѣ, какъ точной наукѣ, съ собственными чуть не математическими формулами и рѣшеніями. Такъ мечталъ еще Кондорсе, одинъ изъ самыхъ страстныхъ и, слѣдовательно, менѣе всего научныхъ пророковъ совсѣмъ не научнаго восемнадцатаго вѣка. Мечты, слѣдовательно, на первыхъ же порахъ сталкивались съ непримиримымъ противорѣчьемъ, и ему не суждено было исчезнуть до нашихъ дней.

Ни одна историческая и философская литература не создала столько математически стройныхъ теорій, не установила столько логическихъ принциповъ государственнаго порядка, сколько французская, и ни въ одной странѣ, кромѣ Франціи, съ такой стремительностью чистыя теоріи не вносились въ жизнь, какъ силы разрушительныя и созидательныя. Всѣ многочисленныя французскія конституціи можно свести къ нѣсколькимъ отвлеченнымъ формуламъ, добытымъ не историческимъ опытомъ, а логическимъ разсудкомъ. И эти формулы становились выше всякаго опыта, осуществлялись часто съ фанатической послѣдовательностью, подчиняли своей власти самыя почвенныя преданія и священные завѣты. Естественно, французскіе историки должны на всякую теорію смотрѣть, какъ на вполнѣ жизненный процессъ, равносильный какимъ угодно повелительнымъ фактамъ. Отсюда—неуклонное стремленіе французской науки пользоваться культурными идеями и философскими выводами, какъ творческими силами для современной дѣйствительности. При такомъ настроеніи ученаго, его изслѣдованіе неминуемо должно принять характеръ политическаго трактата или даже публицистической рѣчи, а ученое засѣданіе—уподобиться своего рода парламенту.

Одинъ изъ самыхъ краснорѣчивыхъ примѣровъ, предъ нами. «Отдѣлъ экономическихъ и соціальныхъ наукъ» представилъ множество работъ въ высшей степени разнообразнаго содержанія, но среди нихъ можно насчитать не больше трехъ, къ которымъ большая, просвѣщенная публика могла бы отнестись сравнительно равнодушно. Да и здѣсь встрѣчаются темы, явно подсказанныя живымъ политическимъ интересомъ, напримѣръ, докладъ о первыхъ

кооперативныхъ ассоціаціяхъ въ Греціи конца XVIII-го вѣка. Сравнительное равнодушіе къ подобному докладу можетъ быть оправдано развѣ только крайней ограниченностью сцены, гдѣ совершались изучаемыя явленія,—отнюдь не самыми явленіями, выбранными для изученія. Но и такія задачи — исключеніе. Весь оффиціальный сборникъ наполненъ статьями и дебатами, способными составить украшеніе самаго живого политическаго органа.

Рабочему вопросу ученый съѣздъ вообще удѣлилъ очень много вниманія, не отступая передъ основательнымъ обсужденіемъ даже второстепенныхъ задачъ, напримѣръ, о водвореніи на родину поденщиковъ и слугъ, переселяющихся изъ деревень въ столицу и не находящихъ здѣсь достаточнаго заработка. Докладчикъ объяснилъ, что уже въ теченіе тридцати лѣтъ въ Парижѣ возникаютъ особыя «землячества», занимающіяся судьбой пришлыхъ рабочихъ. Нѣкоторыя имѣютъ свои отдѣленія въ провинціяхъ, напримѣръ, землячество, во главѣ котораго стоитъ извѣстный изслѣдователь рабочаго вопроса—Левассёръ, предсѣдательствовавшій на конгрессѣ, въ отдѣлѣ экономическихъ и соціальныхъ знаній. Въ томъ же засѣданіи былъ прочитанъ докладъ объ экономическихъ условіяхъ, регулирующихъ заработную плату, и вообще почти вся политическая экономія на съѣздѣ была посвящена пролетаріату. Но ни одинъ докладчикъ не представилъ на этотъ разъ ученой работы общаго, широкаго содержанія: пренія все время оставались въ предѣлахъ частныхъ явленій соціальнаго быта рабочаго класса.

Другой характеръ носили доклады, и особенно обсужденіе ихъ въ области политики и соціологіи. Здѣсь предъ нами цѣлый рядъ существенныхъ фактовъ, ярко и оригинально освѣщенныхъ. Они должны войдти положительнымъ капиталомъ въ политику и соціологію нашего времени. По крайней мѣрѣ, мы не знаемъ, чтобы въ новѣйшей французской литературѣ первостепенные вопросы современной демократіи были поставлены такъ ясно и разрѣшены такъ безпристрастно, какъ это сдѣлано профессоромъ Бри, по самому простому поводу.

Профессоръ взялъ своей темой *Вліяніе Общественнаго Договора Руссо.* Тема до послѣдней степени разработанная, можно сказать, ученическая, но ученый докладчикъ лишній разъ оправдалъ правило, что интересъ и значительность бесѣды зависятъ не столько отъ темы, сколько отъ талантливости и вдумчивости изслѣдователя.

Общественный договоръ Руссо,—произведеніе, повидимому, въ высшей степени ясное и общедоступное. Современники революціи разсказываютъ, что выдержки изъ трактата цитировались самыми заурядными ораторами и въ Парижѣ, и въ провинціяхъ. И дѣйствительно, изъ книги можно извлечь не мало изреченій—поразительныхъ по своей энергіи и простотѣ. Достаточно умѣть читать по-французски, чтобы проникнуться политическими идеалами женевскаго философа.

Что, напримѣръ, можетъ быть проще идеи *народнаго самодержавія?* И за нее схватились страстно и слѣпо народные вожди революціи. Стремленіе столь естественное послѣ вопіющаго безправія старой монархіи! И цѣль такая законная и убѣдительная:

самъ народъ долженъ управлять страной и располагать своимъ благополучіемъ. Однимъ словомъ теорія, повидимому, справедливая, нравственная и политически-мудрая.

И до сихъ поръ не мало читателей и даже ученыхъ толкователей, искренне считающихъ Руссо творцомъ демократическаго принципа, въ его чистой, культурной формѣ. На самомъ дѣлѣ—Руссо съ полнымъ правомъ можно считать аристократомъ и создателемъ не демократической свободы, а единоличнаго деспотизма. Эта истина остается тайной только для тѣхъ, кто политическія разсужденія читаетъ все равно какъ романы и поэмы, останавливаясь на самыхъ эффектныхъ и художественныхъ частностяхъ и привязывая къ нимъ свое общее впечатлѣніе. У Руссо, дѣйствительно, безпрестанно повторяется слово *народъ*, весьма часто восхваляются его духовныя совершенства, и въ результатѣ тотъ же народъ является государемъ и правителемъ, безусловно неограниченнымъ и самодержавнымъ.

Этого мало. Чтобы окончательно загипнотизировать своихъ романтически-настроенныхъ читателей, философъ украшаетъ народную власть совершенно идеальными свойствами. Она, эта власть—«всегда постоянна, неизмѣнна и чиста, вѣчно справедлива, независима отъ чьей бы то ни было личной воли».

Таковъ идеалъ великой теоріи,—переведите его на практическій и общечеловѣческій языки,—и вы, вмѣсто свободы и демократіи, получите нѣчто чудовищное, получите деспота со властью *философски* обоснованной и *этически* развитой, слѣдовательно,—законной и неотразимой.

И это превращеніе—не фокусъ, любопытный только въ отвлеченномъ разсужденіи, это самая могучая, болѣзненная традиція современной Франціи. И теперь въ печати и въ парламентѣ существуетъ чрезвычайно шумная и дѣятельная партія такъ называемой *плебисцитарной республики*. Въ теченіе послѣдняго времени партія развиваетъ въ высшей степени горячую дѣятельность. Миттинги чередуются съ газетными статьями, направленными противъ современнаго парламентаризма—во имя «единственной истинно-народной республики»,—т. е. прежде всего во имя выбора президента прямой подачей голосовъ. Это одна программа *пересмотра конституціи*. Другая—родственная ей, хотя и заключаетъ нѣкоторые противорѣчивые пункты: именно совершенное упраздненіе президентской власти и сената, учрежденіе одной палаты—облеченной законодательной и исполнительной властью, безпрерывное функціонированіе этого всемогущаго представительства, низведеніе министровъ до уровня простыхъ слугъ собранія, точнѣе его рабовъ, служителей на посылкахъ. Это также—истинно народная республика, и объ эти формы—законныя дѣтища политической мудрости Руссо, потому что объ онѣ должны осуществлять идею народнаго самодержавія.

Такъ именно убѣждены пламенный патріотъ Деруледъ, «непримиримый» Рошфоръ и самые громогласные представители французской національной чести и военной доблести. Деруледъ, мѣсяцъ тому назадъ, на многолюдномъ миттингѣ въ Парижѣ взывалъ:

«Францію хотятъ погубить, ее надо спасать,—и подлинный народъ (le vrai peuple) выполнитъ эту задачу». Послѣ рѣчи миттингъ, въ количествѣ пяти тысячъ парижскихъ патріотовъ, принялъ такую резолюцію: «республиканская партія, стремящаяся уничтожить самодержавіе парламента и возстановить сомодержавіе народа, принимаетъ наименованіе республиканской плебисцитарной партіи. Республиканская плебисцитарная партія считаетъ своимъ принципомъ — избраніе или переизбраніе 'президента непосредственно народомъ и для народа».

Эта резолюція увѣнчалась, между прочимъ, возгласомъ: «да здравствуетъ національное самодержавіе!»

Понимали ли эти пять тысячъ патріотовъ смыслъ своихъ постановленій и возгласовъ? На слѣдующій день послѣ миттинга ихъ постарался вразумить извѣстный бонапартисткій депутатъ и журналистъ — Кассаньякъ. Онъ откровенно заявилъ, что плебисцитарная республика не что иное какъ военная диктатура или имперія. И это поученіе настолько же искренне, насколько и справедливо.

А между тѣмъ оказывается, спустя почти полтораста лѣтъ послѣ Руссо, все еще можно смѣшивать самодержавіе народа, т. е., по его толкованію, непосредственное участіе народа въ управленіи государствомъ,—съ республиканской свободой. И этому смѣшенію не предвидится конца: до такой степени оно укоренилось въ сознаніи французовъ со временъ великой революціи.

Разсчитывалъ ли самъ Руссо на такой результатъ своей идеи?

Философъ, увлеченный призракомъ самодержавнаго народа, узаконилъ неограниченное всемогущество государства, т. е. совершенно уничтожилъ личную свободу, вообще право личности. Государство, воплощающее самодержавный народъ, по мнѣнію Руссо, всегда непогрѣшимо и не нуждается ни въ какихъ гарантіяхъ относительно своихъ подданныхъ, потому что его дѣйствія всегда законны.

Но дальше слѣдуетъ вопросъ, какъ же эти дѣйствія возможны, если государство состоитъ изъ многомилліоннаго народа?

У Руссо имѣется вполнѣ опредѣленный отвѣтъ: правительство должно быть тѣмъ сконцентрированнѣе, чѣмъ обширнѣе государство. Правительство, разумѣется, создается самодержавнымъ народомъ и имъ же можетъ быть уничтожено,—но вѣдь и то, и другое легко только на словахъ, особенно устраненіе разъ созданной власти. Она невозбранно воспринимаетъ на себя самодержавіе своего неуловимаго творца и повелителя, т. е. просто представляетъ всемогущій народъ.

Такъ это и совершалось во Франціи неоднократно, могло бы совершиться и въ наши дни, если бы партія плебисцитарной республики добилась осуществленія своей программы.

Самодержавный французскій народъ безпрестанно воплощался то въ комитетѣ общественнаго спасенія, то въ какомъ-нибудь революціонномъ временномъ правительствѣ, то просто въ якобинскомъ клубѣ, то, наконецъ, въ лицѣ диктатора гражданскаго вѣдомства, вродѣ Робеспьера, или диктатора—генерала. Городъ

Парижъ, т. е. городская дума, всегда была на пути къ самодержавію на основаніи политики Руссо. Въ революціи сорокъ восьмого года Парижъ объявлялъ себя «представителемъ всего населенія Франціи», и грозилъ защищать его интересы въ случаѣ, если «разрозненныя массы народа поддадутся обману». Истину и ложь, конечно, оцѣнивали тѣ же лица, говорившія именемъ Парижа и всей націи. Другой вопросъ, насколько была вѣрна эта оцѣнка,—для насъ важно видѣть, какъ легко на практикѣ самодержавный народъ сокращается до небольшой кучки энергическихъ политиковъ.

Припомните теперь полномочія, какими облекаетъ Руссо своего государя,—и вы получите до послѣдней черты политическіе принципы якобинцевъ и впослѣдствіи Бонапарта. «Нація все въ правѣ дѣлать у себя въ странѣ; то, чего желаетъ большинство,—справедливо, меньшинство всегда виновато, даже если бы нравственно оно и было право».

Какихъ насилій нельзя оправдать подобной формулой? И замѣчательно, — именно идеями Руссо очень часто французскіе государственные люди пытались оправдать мѣры явнаго произвола. Всякій разъ, когда рѣчь шла о какомъ нибудь новомъ исключительномъ законѣ, народные министры спѣшили сослаться на общепризнаннаго законодателя революціи. Руссо допускалъ въ извѣстныхъ случаяхъ диктатуру даже единоличную, какъ это было въ древнемъ Римѣ для того, чтобы сконцентрировать силы государства противъ опасности.

Легко представить, какъ легко пользоваться подобнымъ принципомъ ловкимъ политикамъ въ нужныхъ обстоятельствахъ и легко именно потому, что можно прикрыться великимъ радикальнымъ авторитетомъ.

И Руссо несомнѣнно радикаленъ. Никто изъ его современниковъ не отличался такой смѣлостью отвлеченныхъ построеній, такой неустрашимостью выводовъ, такой отвагой натиска не только на извѣстныя формы общежитія, а даже на самую человѣческую природу. И вотъ эта именно стремительность Руссо смотрѣть на человѣческую личность, какъ на математическую единицу, т.-е. полное отсутствіе психологіи, отнимаетъ у него всякое право считаться политикомъ.

II.

Какъ политическій мыслитель Руссо не понималъ ни личности, ни толпы, точнѣе—не желалъ даже и мыслить о нихъ, какъ о живыхъ и историческихъ явленіяхъ. Задача, при такихъ условіяхъ, упрощалась до послѣдней степени, но рѣшеніе получалось вполнѣ противоестественное. При общей политической незрѣлости французской націи во время первой революціи—Руссо былъ самымъ подходящимъ учителемъ по простотѣ и ясности своей политики. Но и позже эта нація не успѣла накопить достаточно государственнаго ума и опытности, чтобы порвать съ злополучными завѣтами.

*

Въ первой четверти нашего столѣтія одинъ изъ самыхъ блестящихъ парламентскихъ ораторовъ и журналистовъ Франціи, Бенжамэнъ Констанъ, горько укорялъ своихъ соотечественниковъ въ неизлѣчимой близорукости относительно политическаго идеализма Руссо. «Всякій разъ, говорилъ Констанъ, когда желаютъ провести законъ противъ свободы, опираются на авторитетъ Руссо. Я заявляю, что Руссо, высказавшій не мало свободныхъ идей, являлся въ то же время руководителемъ тѣхъ, кто желалъ установить деспотизмъ... Не слѣдуетъ довѣряться мнѣніямъ пылкаго, но непросвѣщеннаго друга свободы, жившаго въ эпоху, когда еще не существовало истинной свободы. Не слѣдуетъ его считать образцомъ для тѣхъ людей, которые пріобрѣли право судить о свободѣ цѣной тридцатилѣтнихъ тяжелыхъ испытаній».

Но этого мало. Констанъ не сказалъ самаго главнаго. Понятія Руссо о свободѣ были воспитаны швейцарской средой, т. е. женевскими республиканскими законами и преданіями. Философъ все время думалъ о своей Женевѣ, составляя свой *Общественный договоръ*, т. е. по образцу небольшого скромнаго города мечталъ построить идеальное государство. Руссо питалъ восторженное чувство къ провинціальнымъ порядкамъ и всему строю жизни швейцарской протестантской общины. Во имя этихъ порядковъ онъ, напримѣръ, страстно напалъ на тлетворное вліяніе театра и драматической литературы. Ради патріархальныхъ нравовъ сектантскаго захолустья онъ готовъ былъ произнести смертный приговоръ всякому новому культурному движенію и виновниковъ этого движенія осудить, какъ враговъ первобытной простоты и нравственности. Пока такая проповѣдь не выходила изъ предѣловъ личной морали, она имѣла извѣстный положительный смыслъ для парижскаго общества восемнадцатаго вѣка, но женевская политика, разсчитанная на городское самоуправленіе, менѣе всего могла служить основой какому бы то ни было государственному строю. А ею то именно и вдохновился философъ, пользуясь еще притомъ наиболѣе древними постановленіями, приближая свое идеальное государство къ швейцарскому быту XIV и XV-го вѣковъ.

Легко представить, какіе практическіе результаты могли получиться послѣ подобнаго—гораздо болѣе романтическаго, чѣмъ философскаго упражненія ума! Если бы Франція мгновенно могла распасться на сотни самостоятельныхъ республикъ, покончить безслѣдно съ своей исконной національной централизаціей, тогда каждая республика, можетъ быть, кое чѣмъ и воспользовалась бы изъ предписаній Руссо, воспроизвела бы на французской почвѣ нѣчто похожее на швейцарскій кантонъ или женевскую городскую общину. Но пока милліоны французовъ, населявшіе страну, могли представить только одно нераздѣльное правительство—въ столицѣ, до тѣхъ поръ идеи Руссо могли быть осуществимы только или комитетомъ общественной безопасности, или диктаторомъ, что по существу одно и тоже.

Мы видимъ, на какомъ элементарномъ, истинно-школьническомъ недоразумѣніи выросло сооруженіе Руссо. Онъ вообразилъ

только, что человѣческая личность всюду тождественна, что вѣка исторической жизни, вѣка естественныхъ и культурныхъ вліяній—ничто передъ всемогущимъ словомъ законодателя, что женевскую хартію XIV-го вѣка можно приспособить къ какому угодно народу и времени. Политика путемъ одной лишь математики, безъ всякаго вмѣшательства психологіи: такова тайна простоты, стройности и поразительной популярности идей Руссо. Все это—на сколько вопросъ касается *личности*.

Едва ли не гибельнѣе заблужденія философа касательно *толпы*, массы,—силы, еще болѣе существенной въ государственной жизни, чѣмъ личность. Здѣсь Руссо до конца не могъ выбиться изъ противорѣчій. Съ одной стороны, какъ прирожденный врагъ всего привилегированнаго, какъ авторъ идеи народнаго самодержавія, онъ долженъ видѣть въ народѣ идеалъ политическихъ добродѣтелей. И дѣйствительно, позднѣйшіе пламенные демократы у Руссо могли въ изобиліи черпать самыя смѣлыя словословія въ честь народа. Онъ—неподкупенъ, неизмѣнно справедливъ, недоступенъ никакой нравственной порчѣ.

Женевскій гражданинъ именно на этихъ данныхъ основывалъ свое представленіе о недѣлимой и непогрѣшимой народной волѣ. Это—одно понятіе нашего политика о народѣ. Другое—совершенно обратное,—и здѣсь сказывается исконная черта всѣхъ романтическихъ мечтателей — наклонность къ аристократическому героизму.

Въ томъ же *Общественномъ договорѣ*, гдѣ народная воля возводится въ религіозный догматъ, нарисованъ величественный демоническій образъ законодателя, сверхъестественной силой увлекающаго гражданъ будущаго государства. Это отнюдь не демократическая идея, это больше, чѣмъ плебисцитарный диктаторъ, это—папа, облеченный двумя властями.

Идея у Руссо—не случайная. Она вызвана прирожденными аристократическими наклонностями философа. На его языкѣ, помимо громкозвучащаго слова *народъ*, *le peuple*—имѣются менѣе почтенныя выраженія—*толпа* и даже *чернь*—*la multitude*, *la populace*. Эти выраженія якобинцы несомнѣнно признали бы аристократическими и автора ихъ *подозрительнымъ*, т. е. достойнымъ гильотины. И Руссо представилъ бы не мало весьма краснорѣчивыхъ данныхъ въ этомъ направленіи. Что сказалъ бы Робеспьеръ, когда его учитель сталъ бы объяснять, что «взбунтовавшаяся чернь» въ порывѣ ослѣпленія можетъ казнить невиннаго, что народъ, впавшій въ анархію, можетъ подчиниться *соблазнителю* и до послѣдней степени «отягчить свои цѣпи?» Развѣ не пришлось бы Робеспьеру въ этой черни узнать уличныя шайки Парижа, а въ соблазнителѣ самого себя?

И все-таки Робеспьеръ искренно убѣжденъ, что осуществляетъ предписанія автора *Общественнаго договора*, казня аристократовъ и безбожниковъ. Не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія, что самъ Руссо почувствовалъ бы невыразимое отвращеніе предъ подобной практикой своего ученія,—и все-таки онъ высказалъ принципы, какими могъ воспользоваться деспотъ и террористъ.

Такъ жалка бываетъ участь человѣческой воли и такъ не-

мощна человѣческая мысль даже не въ порывѣ временнаго увлеченія, а десятилѣтіями, почти вѣками, пока многочисленные тяжелые опыты не излѣчатъ загипнотизированнаго ума цѣлыхъ поколѣній! Много лѣтъ назадъ Прудонъ произнесъ, казалось бы, смертный приговоръ надъ трактатомъ Руссо. Никто строгаго судью не заподозритъ въ реакціонныхъ недоразумѣніяхъ или въ непониманіи предмета, но многіе ли даже поклонники прудоновскаго ума и политическаго направленія осмѣлятся раздѣлить слѣдующій взглядъ на государственную мудрость Руссо?

«Къ стыду XVIII вѣка,—говоритъ Прудонъ,—*Общественный договоръ* Руссо—образцовое произведеніе ораторскаго жонглёрства, вызывалъ восторгъ, превозносился до небесъ, считался уложеніемъ общественныхъ вольностей. Члены учредительнаго собранія, жирондисты, якобинцы, кордельеры считали его оракуломъ, и даже въ настоящее время этой книгой вдохновляются самые усердные преобразователи политической и соціальной науки. Но всякое заблужденіе общественной совѣсти влечетъ за собой кару. Слова Руссо стоили Франціи больше золота, больше крови, больше позора, чѣмъ возмутительнсе царствованіе придворныхъ Людовика XV. Наше отечество, всегда терпѣвшее отъ иноземныхъ вліяній, обязано Руссо кровавыми междоусобицами и разочарованіями 1793 года».

Это очень рѣзко. Не надо забывать, что фантастическое упражненіе Руссо не возымѣло бы ни малѣйшаго жизненнаго вліянія, если бы Людовики не оставили концу восемнадцатаго вѣка общества и націи, совершенно безпомощныхъ въ рѣшеніи насущныхъ политическихъ вопросовъ, съ полнымъ отсутствіемъ политическаго опыта и, слѣдовательно, доступныхъ очарованію какой угодно теоріи. Но это соображеніе только объясняетъ фактъ и нисколько, разумѣется, не оправдываетъ Руссо: судъ Прудона по существу справедливъ.

Но этого мало,—онъ настоятельно необходимъ даже въ наши дни, и французскій ученый понялъ именно современное значеніе своей темы. Намъ, иностранцамъ, трудно представить, до какой степени французы—эти прославленные революціонеры и нововводители—крѣпко держатся старыхъ національныхъ теоретическихъ формулъ. Примѣровъ можно набрать сколько угодно во всякій болѣе или менѣе горячій моментъ политической борьбы, хотя бы, напримѣръ, въ самый послѣдній.

Въ то время, какъ «націоналисты» будто безсознательно кричатъ о плебисцитарной республикѣ и снова выдвигаютъ на сцену идею самодержавія народа *противъ* самодержавія парламента,—въ это самое время газеты безпрестанно печатаютъ пароли и лозунги борьбы, именуя ихъ *mots de combat*. Что же это за *военные клячи?* Ничто иное, какъ выдержки изъ сочиненій Руссо и Монтескьё.

Вотъ, напримѣръ, изреченіе изъ *Духа законовъ*, въ высшей степени краснорѣчивое, когда вопросъ идетъ о борьбѣ арміи съ гражданскимъ строемъ государства. «Когда арміей управляетъ законодательный корпусъ и частныя обстоятельства мѣшаютъ правительству сдѣлаться военнымъ, необходимо одно изъ двухъ:

или, чтобы армія уничтожила правительство, или, чтобы правительство ослабило армію».

А вотъ другая истина, высказанная Руссо:

«Нѣкоторые считаютъ себя невиновными только потому, что сумѣли схоронить концы».

И такъ безъ конца. Современная печать ведетъ партійную борьбу аксіомами изъ трактатовъ XVIII вѣка, все равно какъ министръ реставраціи старался исключительный законъ провести съ помощью авторитета Руссо. Въ высшей степени любопытная черта! Слова Констана прозвучали въ пустынѣ, гнѣвъ Прудона вспыхнулъ и погасъ безъ отвѣта, даже уроки исторіи прошли безслѣдно, такъ прочны теоретическіе авторитеты тамъ, гдѣ, повидимому, съ такой легкостью мѣняются правительства.

Кассаньякъ, откровенный бонапартистъ, говоритъ Деруледу: вы смѣшны въ своей наивности, добиваясь замѣны одной республики другою при помощи военной силы, т. е. генерала. Но вѣдь реакціи никогда не происходятъ вполовину. И какой же глупый генералъ очиститъ Елисейскій дворецъ отъ президента и Бурбонскій отъ депутатовъ только затѣмъ, чтобы дать мѣсто другимъ хозяевамъ? Не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія, что онъ самолично позаботится занять хозяйское мѣсто и не станетъ справляться, что патріоты совсѣмъ другое понимали подъ именемъ плебисцитарной республики.

Даже бонапартистъ оказывается мудрымъ политикомъ! Но несравненно болѣе авторитетные голоса не сумѣли вылѣчить французскихъ политиковъ отъ вѣкового недуга. Профессоръ Бри явно направлялъ свою рѣчью противъ этого именно недуга. Какъ почти всѣ ученые и вообще *intellectuels* современной Франціи, онъ противникъ демократіи, и умѣетъ ловко пользоваться своимъ чувствомъ и своими обширными свѣдѣніями въ старыхъ и новыхъ политическихъ теоріяхъ. Въ одномъ мѣстѣ доклада онъ дѣлаетъ эффектное сопоставленіе статьи новѣйшей демократической газеты съ выраженіями Руссо въ *Общественномъ договорѣ:* идеи оказываются тождественныя и одинаково нелестныя для демократическаго принципа.

Газета писала слѣдующее съ поразительной откровенностью мысли и рѣзкостью тона: «количество—высшій законъ демократіи, законъ неумолимый, законъ страшный, иногда роковой, но законъ основной, котораго невозможно поколебать. Законъ-количество можетъ имѣть иногда послѣдствія неразумныя и удручающія. Масса склонна увлекаться, отдаваться необдуманнымъ дѣйствіямъ. Она, подобно безумному или ребенку, можетъ ранить себя собственными руками, она можетъ даже попасть въ пропасть, которую сама же вырыла. Но что дѣлать? Количество—все: оно—нашъ судья, нашъ принципъ, нашъ законъ. Оно всегда право. Нѣтъ власти противъ него. Оно нашъ всеобщій богъ, богъ вѣчно справедливый, вѣчно совершенный. Во многихъ случаяхъ это становится нелѣпостью, но въ этой нелѣпости—наша сила».

Мы знаемъ, Руссо также иногда высказывалъ отчаянныя сужденія о толпѣ, обвинялъ ее въ слѣпотѣ; однажды даже рѣшился высказать, будто толпа рѣдко понимаетъ, что такое благо.

И все это не помѣшало Руссо провозгласить ту же массу верховнымъ государемъ, также всегда справедливымъ и законнымъ. Спустя больше чѣмъ столѣтіе идея осталась такой же свѣжей и вошла въ завѣты національной французской политики.

Теперь спросите у всякаго, кто лишенъ способности доходить до такихъ логическихъ геркулесовыхъ столбовъ, захочетъ ли онъ быть подданнымъ подобной демократіи? Она—по необходимости и весьма часто—*нелѣпа* и въ то же время по существу права и по власти всемогуща... Возможно ли помирить всѣ эти истины, одинаково непогрѣшимыя для послѣдователей Руссо? Мыслимо ли допустить, чтобы *количество* всегда составляло силу и представляло право? Нѣтъ нужды и основаній защищать *качество* столь же случайное, какимъ случайно бываетъ количество. Но значитъ ли это, что единственный выходъ—всякое качество приносить въ жертву количеству? И развѣ это дѣйствительно политическій принципъ и соотвѣтствуетъ демократическому идеалу?

Отнюдь нѣтъ. Толпу нельзя отождествлять съ народомъ, какой угодно многочисленный миттингъ съ націей. Это было возможно въ какой-нибудь древней республикѣ, гдѣ городская площадь дѣйствительно могла вмѣстить весь правоспособный народъ; въ новомъ государствѣ всякое количество въ данный моментъ и въ данномъ мѣстѣ будетъ выражать только *свои* настроенія, и они могутъ совершенно не соотвѣтствовать національнымъ, самое большее—они будутъ выражать образъ мыслей извѣстной округи, можетъ быть, одного какого-либо сословія даннаго города или мѣстности, вообще, это будутъ рѣшенія *частныя*, слѣдовательно, не государственныя и не политическія. При такихъ условіяхъ демократія никогда не осуществитъ своего культурнаго назначенія и создастъ общественный строй даже менѣе удовлетворительный и справедливый, чѣмъ при другихъ формахъ правленія. Воля націи разобьется на множество отдѣльныхъ, даже противоположныхъ, постановленій многочисленныхъ организованныхъ или неорганизованныхъ массъ, и государство впадетъ въ анархію, если не явится сильная, по необходимости, деспотическая рука, способная плебисцитомъ подмѣнить мнимую самодержавную волю народа.

Но именно плебесцитъ меньше всего народная воля. Здѣсь рѣшеніе опредѣлено заранѣе и оно *внушается* народу свыше и извнѣ, вопросъ идетъ только о *количествѣ* голосовъ, даже не принявшихъ внушенія, а лишь присутствовавшихъ при провозглашеніи высшей воли. И вотъ такая-то демократія до сихъ поръ считается идеальной государственной формой у наслѣдниковъ восемьдесятъ девятаго года!

Въ дѣйствительности политическое значеніе демократіи должно быть совершенно другое, не имѣть ничего общаго съ *охлократіей*, т. е. съ властью толпы и преобладаніемъ количества. Истинная демократія и есть въ сущности господство аристократіи т. е. избранныхъ умовъ и талантовъ. Политическій смыслъ ея заключается какъ разъ въ торжествѣ *качества*, такъ какъ она признаетъ преимущества только за неоспоримыми личными достоин-

ствами. Не будь этой основы демократическаго строя, онъ не заслуживалъ бы такой упорной вѣковой борьбы, какую выдержала по пути къ нему западная Европа. И представить, что результатъ этой борьбы нелѣпое, слѣпое самовластіе ариѳметическаго числа, преобладаніе сборища невѣжественныхъ, случайныхъ политиковъ надъ идеями какого угодно мудреца или отборнѣйшаго меньшинства по разуму и опыту! Это и будетъ чистѣйшій деспотизмъ, потому что деспотическая власть является какъ разъ представительницей стаднаго *количества*, основывается на «увлеченной и неосмысленно дѣйствующей массѣ».

Самыя простыя справки съ историческими фактами могутъ съ полной ясностью подтвердить эти истины. Но онѣ не существуютъ для французскихъ демократовъ, воспитавшихся на *Общественномъ договорѣ*, и трудно вообразить болѣе опаснаго врага для политическаго прогресса, чѣмъ подобные слѣпорожденные друзья «народнаго самодержавія».

Демократія по самой своей сущности подлежитъ необходимому неограниченному культурному развитію. Въ настоящее время ещe ни одно европейское государство не обладаетъ дѣйствительно политической демократіей и не будетъ обладать ею до тѣхъ поръ, пока въ странѣ не останется ни одного гражданина, не освѣдомленнаго одинаково основательно въ общихъ и частныхъ вопросахъ отечественной политики и неспособнаго, слѣдовательно, дѣйствовать безотчетно, въ качествѣ простой математической единицы.

Легко представить, какъ отдаленно и трудно достижима эпоха такого всенароднаго политическаго развитія. Но она рано или поздно должна настать, и первымъ шагомъ къ ней было открытіе свободныхъ путей образованія и общественной дѣятельности для всѣхъ силъ и талантовъ, безъ различія происхожденія и состоянія.

Французскіе демократы не знаютъ и даже не могутъ представить этой перспективы. Для нихъ демократическая политика осуществляется въ самомъ фактѣ всеобщей подачи голосовъ, въ приравненіи всѣхъ гражданъ, какъ избирателей и какъ законодателей, къ одному уровню гражданина, удовлетворяющаго извѣстнымъ юридическимъ условіямъ для права голосованія. Здѣсь, дѣйствительно, все дѣло въ количествѣ, и многочисленныя проявленія современнаго демократическаго строя во Франціи и въ нѣкоторыхъ другихъ государствахъ характеризуютъ именно эту безусловно отрицательную основу политики. Она—не безусловная принадлежность вообще демократіи, она только спутникъ ея несовершеннаго, незаконченнаго политическаго и культурнаго развитія, и съ теченіемъ времени нелѣпыя увлеченія массы, наклонность народа, подобно ребенку, наносить себѣ раны собственными руками, должны исчезнуть, и въ болѣе развитой демократіи, напримѣръ, англійской, эти явленія гораздо рѣже, чѣмъ на континентѣ.

Во Франціи напротивъ, готовы навсегда *узаконить* нелѣпость и безуміе, навсегда помириться со всемогуществомъ *количества*, считая его *богомъ* и *силой*. И таково мнѣніе не одного

какого-либо запальчиваго радикальнаго листка: въ этихъ идеяхъ воспитанъ французскій республиканскій политикъ, и естественно *его* демократія пугаетъ людей болѣе разсудительныхъ и свѣдущихъ и, пожалуй, иногда можетъ невольно подсказать мысль о «новомъ варварствѣ»—мысль, столь художественно развитую Ренаномъ. Другого вывода невозможно сдѣлать изъ выше приведенныхъ разсужденій демократической газеты. Власть *количества* какъ такового, безотносительно къ качеству единицъ, несомнѣнно власть страшная, некультурная и, слѣдовательно, враждебная или, по крайней мѣрѣ, равнодушная къ культурѣ.

Очевидно, понятія о демократіи должны быть измѣнены въ корнѣ и совершенно оторваны отъ вѣковой теоретической почвы, созданной политическими разсужденіями Руссо. Мы видѣли—у самого философа мелькали искры истины, въ тѣ минуты, когда онъ совершенно безнадежно судилъ о толпѣ, даже болѣе жестоко, чѣмъ она заслуживаетъ. Но эти сужденіе у женевскаго гражданина были скорѣе плодомъ его нравственнаго пессимистическаго настроенія, чѣмъ политической вдумчивости. Иначе онъ позаботился бы провести мрачныя изліянія въ согласіе съ своими принципами и внесъ бы поправку въ свое историческое изображеніе народа, какъ государя. Для этого надлежало быть только психологомъ и немного историкомъ. Но Руссо энергично отвергалъ самую идею прогресса, слѣдовательно, не могъ мыслить исторически, а отсутствіе психологіи въ его политикѣ являлось именно національной французской чертой, какъ бы Прудонъ ни изобличалъ Руссо въ иностранномъ происхожденіи.

Мы вышли изъ рамокъ доклада профессора Бри, но вопросъ, затронутый ученымъ, слишкомъ жизненный и объемлющій, современная французская практика слишкомъ тѣсно связана съ нимъ, и это должно оправдать наше отступленіе.

Непосредственно послѣ доклада о Руссо,—началось продолжительное и въ высшей степени оживленное обсужденіе еще болѣе сложнаго вопроса *Объ отношеніяхъ психологіи и соціологіи.*

III.

Первымъ ораторомъ выступилъ Тардъ, членъ Парижскаго соціологическаго общества, имя, довольно извѣстное у насъ,—но, какъ весьма многія заграничныя знаменитости, стяжавшее въ нашемъ отечествѣ совершенно незаслуженную славу. Такова ужъ участь русскаго интеллигента, и особенно *пишущаго*, выбивающагося изъ силъ вкусить самаго свѣжаго и легкаго европейскаго просвѣщенія! Самостоятельная умственная провѣрочная и критическая работа—задача слишкомъ тяжелая, и при извѣстной публикѣ даже неблагодарная; гораздо проще нажить себѣ научный капиталъ по газетнымъ рецензіямъ и журнальнымъ статейкамъ и переводамъ, и ужъ потомъ—съ неотразимымъ авторитетомъ—выкрикивать славу того или другого интереснаго незнакомца и съ беззавѣтной отвагой и самодовольствомъ дикаря, выучившагося «образованнымъ» словамъ, защищать его честь—все на осно-

ваніи тѣхъ же источниковъ изъ библіографическихъ замѣтокъ, разныхъ разностей, «серьезныхъ» приложеній далеко не всегда грамотныхъ переводовъ.

Такимъ путемъ и Тардъ попалъ у насъ въ большія фигуры. На конгрессѣ эта фигура оказалась довольно жалкой,—и вполнѣ справедливо.

Удивительный соціологъ въ концѣ XIX-го вѣка выступилъ съ ученой новостью, опровергнутой по крайней мѣрѣ семьдесятъ лѣтъ назадъ. Къ сожалѣнію, противники Тарда не вспомнили столь давняго происхожденія своихъ возраженій,—впечатлѣніе получилось бы еще болѣе внушительное.

Тардъ чрезвычайно горячо вздумалъ доказывать, что никакой такъ называемой *коллективной психологіи* и *соціальнаго сознанія*, какъ явленій отличныхъ отъ индивидуальной психологіи—не существуетъ, что только индивидуальное сознаніе—*реально*, а другое *я*, *я* толпы и массы—«химера». Соціологія, по этому толкованію—ничто иное какъ наука о личной психологіи въ ея видоизмѣненіяхъ и проявленіяхъ при взаимномъ столкновеніи личностей: «соціологія,—объявлялъ Тардъ,—психологія личностей увеличенная, и преобразованная и въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ реализованная», такъ какъ индивидуальное *я*, вступая въ отношенія другими такими же *я*,—проявляетъ черты, находившіяся раньше въ скрытомъ состояніи. И Тардъ усиливался провести параллель между всѣми соціальными фактами и явленіями личнаго нравственнаго міра. Получается рядъ совершенно произвольныхъ аналогій, напоминающихъ софистическіе пріемы доказательствъ средневѣковыхъ схоластиковъ,—напримѣръ, обычаи—аналогичны инстинктамъ, революціи—извѣстнаго рода разстройствамъ нервныхъ центровъ, отсутствіе патріотизма—недугу, именуемому «абуліей», болѣзненнымъ безволіемъ. Въ результатѣ—соціологія—психологія, *распространенная* только въ томъ смыслѣ, что она изучаетъ идеи и чувства не одной личности, а многихъ,—предметы же и методъ изученія тождественны.

Аналогіи Тарда, какъ и большинство аналогій, рѣшительно ничего не объяснили и не доказали, наоборотъ, соціологу представили слѣдующія неопровержимыя соображенія. Всѣ онѣ были направлены на выясненіе одной и той же истины: рядомъ съ чисто психологическими явленіями существуютъ соціологическія, явленія *другого* порядка и требующія особаго метода для своего изученія, т. е. существуетъ соціологія, не какъ видоизмѣненная *психологія*, а какъ наука вполнѣ самостоятельная и оригинальная.

Это очевидно изъ самаго простаго разсужденія.

Представимъ человѣка, одареннаго всѣми способностями и свойствами, подлежащими изученію психолога,—какимъ путемъ этотъ человѣкъ образовалъ бы общество вмѣстѣ съ другими, какъ изъ атомовъ возникъ бы организмъ? При единственномъ условіи,—если каждый атомъ обладаетъ особыми *соціальными* способностями, когда психологическая личность въ то же время и соціологическая. Вотъ эти-то способности и ихъ развитіе и подлежатъ изученію соціолога.

На первый взглядъ это разграниченіе кажется несущественнымъ, а между тѣмъ грубѣйшія заблужденія политической мысли основаны именно на смѣшеніи индивидуальной психологіи съ соціологіей. Это также вполнѣ очевидно.

Представьте: личность лишена соціальныхъ инстинктовъ, она только индивидуальна и по природѣ не соціальна; чтобы объяснить возникновеніе общества, — остается прибѣгнуть къ теоріи договора, иначе переходъ отъ атомнаго состоянія къ органическому—непонятенъ.

И дѣйствительно, всѣ сторонники общественнаго договора—крайніе индивидуалисты, т. е. имъ невѣдома *соціологическая часть* человѣческой природы. Таковъ именно Руссо.

Мы можемъ теперь оцѣнить, на какомъ уровнѣ стоитъ соціологія, отождествляемая съ психологіей личности, и какая тѣсная связь между политической незрѣлостью и соціологическимъ старовѣріемъ?

Тардъ отрицалъ существованіе особой коллективной психологіи, «таинственнаго *я*, отличнаго отъ индивидуальнаго».

На это отрицаніе отвѣтили еще сенъ-симонисты и не менѣе краснорѣчиво, чѣмъ новѣйшіе оппоненты Тарда. Основателямъ соціологіи приходилось бороться съ очень давними философами, именно съ людьми XVIII вѣка. Уже въ началѣ нашего столѣтія велась жаркая полемика на ту самую тему, какую разбиралъ послѣдній съѣздъ французскихъ ученыхъ. Фактъ, достойный стоять рядомъ съ политикой плебисцитарныхъ республиканцевъ!

Сенъ-симонистскій журналъ *Производитель* помѣстилъ рядъ статей, объяснявшихъ предметъ и цѣли новой науки—соціологіи. Прежде всего пришлось выдѣлить ее изъ круга другихъ наукъ и установить ея точку опоры. Это легко было сдѣлать, доказавъ, что рядомъ съ индивидуальнымъ человѣкомъ существуетъ соціальный—*l'homme social*. У него своя психологія, свои нравственныя задачи, свои цѣли жизни. Это ясно изъ слѣдующаго наблюденія: инстинкты и способности у всѣхъ людей по существу одинаковы, хотя могутъ быть и различны по силѣ и количеству, но соціальныя организаціи въ высшей степени разнообразны. Очевидно, общество не является только выраженіемъ индивидуальныхъ психическихъ задатковъ, его развитіе подчинено другимъ законамъ и никакія комбинаціи чисто индивидуальныхъ страстей, инстинктовъ и идей не объяснятъ разновидностей политическаго строя.

Надо, слѣдовательно, предположить, что не только личности воздѣйствуютъ другъ на друга, но и *организованное цѣлое* оказываетъ могущественное вліяніе на отдѣльныхъ членовъ этого цѣлаго въ высшей степени разнообразное, въ зависимости отъ мѣстностей и эпохъ. При такихъ условіяхъ изученіе психологіи личности можетъ предстaвить только самыя общія и совершенно недостаточныя данныя для опредѣленія основъ соціальной организаціи. Только путемъ прямого и непосредственнаго изученія самаго общества, какъ цѣлаго, можно выяснить политику и нравственность данной среды, понять стадіи ея развитія и установить его цѣли.

Вообще эти цѣли не совпадаютъ съ индивидуальными, такъ же, какъ соціальная психологія не совпадаетъ съ личной. Личность, взятая сама по себѣ, стремится къ самоудовлетворенію, и исключительно съ личной точки зрѣнія соціальный прогрессъ долженъ бы заключаться въ накопленіи только личнаго счастья. Въ дѣйствительности, это не единственная цѣль общества и государства. Если соціальное состояніе въ извѣстныхъ отношеніяхъ есть состояніе постояннаго самоудовлетворенія личностей, оно въ то же время и столь же необходимо—состояніе непрестанныхъ личныхъ жертвъ *).

Естественно, сенъ-симонисты горячо возставали противъ наклонности многихъ историковъ изучать историческаго человѣка «въ замкнутой сферѣ индивидуальности», опредѣлить на основаніи одной личной психологіи его обязанности и права,—будто онъ долженъ жить и дѣйствовать на уединенной скалѣ,—и родоначальники соціологіи обращали такую рѣчь къ психологамъ-политикамъ:

«Психологи, остерегайтесь у индивидуальной совѣсти искать принциповъ поведенія вмѣсто того, чтобы изслѣдовать совѣсть человѣческаго рода въ различныхъ фазахъ его прогрессивнаго развитія, иначе у васъ получится мораль отвлеченная и неполная. Въ ней не будутъ приняты въ расчетъ различныя необходимости, создаваемыя временемъ и средой, и потомъ такая мораль не сумѣетъ охватить важнѣйшей основы человѣческаго существованія,—отношеній человѣка къ обществу, безпрестанно видоизмѣняющихся подъ вліяніемъ цивилизаціи **).

Буквально то же самое говорили соціологи на конгрессѣ. Они только пользовались нѣкоторыми терминами, еще неупотребительными у ихъ первоучителей. Такъ вмѣсто *соціальной морали* они говорили *положительное право* и доказывали, что личная мораль основывается на психологіи, а положительное право—на соціологіи, и они не совпадаютъ другъ съ другомъ, потому что у нихъ цѣли различны. Личная нравственность стремится къ совершенствованію индивидуальностей, положительное право—къ развитію соціальныхъ фактовъ, къ совершенствованію функцій общественныхъ, органами которыхъ являются—церковь, государство, семья. Принципы личной нравственности можно признавать абсолютными, принципы положительнаго права всегда относительны—въ зависимости отъ соціальныхъ и культурныхъ условій.—и Кантъ, напримѣръ, признавалъ, что право неизмѣнно стремится стать нравственностью, вѣчно оставаясь лишь на пути къ цѣли.

Изъ всего этого очевидно, что общество представляетъ особое психологическое цѣлое, съ собственными фактами и цѣлями развитія, представляетъ фактъ вполнѣ *реальный*, и въ противоположность утвержденіямъ Тарда,—*самостоятельный* рядомъ съ личнымъ нравственнымъ міромъ каждаго изъ своихъ членовъ. И *коллективная психологія*, слѣдовательно, не «химера», а положительное наглядное явленіе, требующее особаго и тщательнаго изученія.

*) Le Producteur. 1826, t. II, p. 358, 158, t. III, 132—3.
**) Ib. t. III, 330—1.

До какой степени индивидуальная психологія и соціальная—предметы для ученаго различныя, показываетъ простѣйшій фактъ. Для *психолога*—любопытнѣйшее и важнѣйшее явленіе нравственнаго міра—вопросъ о свободной волѣ, между тѣмъ какъ для соціолога, для изслѣдователя коллективной психологіи высшій интересъ представляютъ акты *дисциплинированной* воли, дѣйствія, подчиненныя высшему соціальному принципу. Это въ жизни цѣлаго общества, въ наблюденіяхъ надъ толпой—то же самое: предъ соціологомъ рядъ психологическихъ явленій, одушевленныхъ часто безотчетной страстностью, рядъ явленій, какія даже Руссо и его ученики должны признать невмѣняемыми съ точки зрѣнія личнаго здраваго смысла и личнаго чувства справедливости.

Отрицать коллективную, соціальную психологію, какъ самостоятельную отрасль науки о человѣческомъ духѣ, значитъ заранѣе признавать несуществующими важнѣйшія силы цивилизаціи и закрывать глаза на вопіющіе повседневные факты, въ результатѣ—значитъ возвращаться къ наивной политической мысли прошлаго вѣка.

Тарду пришлось выслушать весьма непріятныя вещи по поводу своихъ самыхъ громкихъ открытій. Напримѣръ, извѣстно, съ какимъ эффектомъ Тардъ провозгласилъ громадное соціальное значеніе *подражательности*. Истина не была личнымъ открытіемъ Тарда. Его предупредилъ весьма давній и не особенно прогрессивный философъ—Малебраншъ. Выразился онъ очень просто, не помышляя ни о какихъ научныхъ принципахъ: въ нашемъ мозгу заключается естественная наклонность къ подражанію, потому что она необходима для общежитія. Чтобы люди вступили другъ съ другомъ въ какія-либо связи, необходимо, чтобы они походили другъ на друга физически и умственно.

Такъ просто разсуждалъ старый моралистъ. Новѣйшій соціологъ фанатически схватился за общеизвѣстный фактъ и создалъ изъ него «принципъ» въ высшей степени неудачно. Подражательностью Тардъ вздумалъ объяснить всѣ соціальныя явленія. По его мнѣнію, всякое общество существуетъ только потому, что люди подражаютъ одинъ другому, *соціальное* тождественно съ понятіемъ *подражаемое*. Внѣ подражанія существуетъ только *изобрѣтеніе, преобразовательная инициатива*, и на этихъ основахъ, заключаетъ Тардъ, складывается соціальная организація.

Чрезвычайно просто,—къ сожалѣнію, представляется немедленно еще болѣе простой вопросъ. Процессъ подражанія предполагаетъ, по крайней мѣрѣ, двухъ лицъ: одно—кто подражаетъ, и другое—кому подражаютъ, т. е. предполагаетъ уже *заранѣе данное общество*. Чтобы человѣкъ могъ осуществить свою естественную наклонность къ подражанію, онъ долженъ уже находиться въ соціальныхъ отношеніяхъ съ другимъ. Выходитъ, слѣдовательно, подражаніе, относительно соціальной организаціи,—не предыдущее, а послѣдующее, не основа, а результатъ. Это совершенно ясно,—и лишній примѣръ, какъ мало примѣнимы въ области соціологическихъ явленій рессурсы личной психологіи.

Противъ теоріи Тарда можно провести и еще одно не менѣе убѣдительное соображеніе.

Если въ соціальной организаціи господствующая сила подражаніе,—откуда же получается такое разнообразіе соціальныхъ силъ—церковь, государство, семья? Тардъ отвѣтитъ,—отъ разнообразія индивидуальныхъ психическихъ способностей. Но вѣдь психическая способность, соотвѣтствующая церкви—*вѣра*, государству—*воля*, семьѣ—любовь,—изъ нихъ отнюдь не вытекаютъ логически извѣстныя организованныя учрежденія. Для этого необходимо, чтобы вѣра была непремѣнно религіозной, воля—политической, любовь—родительской и половой. Но такія качества могутъ быть созданы только *общеніемъ*, соціальными инстинктами, т. е. самимъ обществомъ. И здѣсь, слѣдовательно, *соціабельность* предшествуетъ извѣстнымъ психическимъ функціямъ, а вовсе не объясняется ими.

И это соображеніе доказываетъ необходимость особой психологической науки, располагающей болѣе сложнымъ матерьяломъ, чѣмъ азбучныя индивидуально-психологическія наблюденія Тарда.

Для психологіи открываются новые и широкіе пути. Она должна оказать великія услуги политикѣ и праву. Разъ мы признаемъ реальность *соціальнаго сознанія*, соціальной души,—мы должны употребить всѣ усилія опыта и отвлеченной мысли—изучить эту душу. Это изученіе приведетъ насъ къ вопросамъ—о *психологіи толпы*, о *духѣ времени*, о *состояніи нравовъ*,—вообще къ важнѣйшимъ вопросамъ культуры и общественной нравственности. Оно покажетъ намъ, что помимо общечеловѣческихъ психологическихъ явленій,—существуютъ еще частныя—психологіи,—*національныя сословныя*, *временныя* и *мѣстныя*, т. е. существуетъ, напримѣръ, психологія англичанина и рускаго, француза XVII-го вѣка и француза конца нашего столѣтія. *Соціальная душа* имѣетъ такъ же свою исторію, какъ и индивидуальная,—и этой исторіей искони пользовались политики, моралисты и историки. Когда Ливій оплакивалъ простоту и благородство старинныхъ республиканскихъ нравовъ и сравнивалъ съ этими доблестями нравственный упадокъ своего времени,—онъ былъ въ это время соціальнымъ психологомъ. Былъ имъ и Тацитъ, укорявшіи своихъ современниковъ добродѣтелями полудикихъ германцевъ.

Но у этихъ историковъ соціальная психологія служила только средствомъ для поучительной проповѣди,—а не для объясненія разнообразныхъ перемѣнъ, происходящихъ съ теченіемъ вѣковъ въ соціальной душѣ народа. Наше время, провозгласившее соціологію наукой, должно навсегда устранить случайность и порывочность соціологическихъ наблюденій, возвести ихъ въ правильную научную систему, обставить всѣми данными, какія человѣческій умъ выработалъ до сихъ поръ для изученія фактовъ и осмысливанія ихъ общими выводами.

Такой путь приведетъ насъ къ самымъ плодотворнымъ результатамъ. Мы окончательно, *фактически* и *логически*, убѣдимся, что внезапности и произвольные перевороты такъ же немыслимы въ соціальной душѣ, какъ и въ индивидуальной, что общество какъ и личность долго и часто безсознательно воспринимаетъ идеи, впечатлѣнія, настроенія, все это заключаетъ въ себѣ скры-

тую силу, и эта сила, рано или поздно, должна проявиться. Ничто не проходитъ безслѣдно—одинаково и въ общественной психикѣ и въ личной: это должно стать основой не только историческихъ выводовъ, но и нашей общественной дѣятельности.

Мы должны помнить, что всякое наше публичное слово и дѣйствіе увеличиваетъ собой нравственный капиталъ общества—положительный или отрицательный, входитъ въ этотъ капиталъ безъ вѣдома даннаго поколѣнія, становится сначала *соціальнымъ подсознаніемъ*—la subconscience sociale,—но настанетъ время,—оно непремѣнно перейдетъ въ сознаніе и вызоветъ то, что̀ мы называемъ преобразовательными или революціонными движеніями.

Французскіе соціологи, вѣрные своимъ жизненнымъ задачамъ, всѣ свои пренія направили на первостепенныя культурныя нужды современности. Они привели въ неразрывную связь соціологическое ученіе съ политическими идеями ихъ, изъ докладовъ выяснилось, съ какимъ трудомъ исчезаютъ самые, повидимому, наглядные предразсудки,—вродѣ теоріи общественнаго договора. Даже на съѣздѣ слышались голоса, правда очень слабые, въ защиту взглядовъ Руссо на происхожденіе общества. Немного труда стоило выяснить истину, признанную за аксіому еще Аристотелемъ,—о прирожденныхъ соціальныхъ инстинктахъ человѣка,—и выставить на видъ бездоказательность договорной организаціи первобытнаго общества. Еще труднѣе оказалось отвоевать для соціологіи независимую область научнаго изслѣдованія, доказать, что *общество*—нѣчто совершенно отличное отъ *человѣка* и что коллективная психологія или соціальное сознаніе имѣютъ право на самостоятельное мѣсто рядомъ съ индивидуальной психологіей.

Одинъ изъ докладчиковъ чрезвычайно искусно пояснилъ основной принципъ соціологіи. Онъ результатъ соціальной организаціи сравнилъ съ химическимъ процессомъ. Химическую комбинацію можно назвать истиннымъ обществомъ различныхъ химическихъ атомовъ. Но эта комбинація не простой агломератъ, образовавшійся путемъ сочетанія элементовъ, сохранившихъ свою природу. Совершенно напротивъ. Произошло *преобразованіе*, даже больше—*пресуществленіе*—transsubstantiation,—и продуктъ комбинаціи, ассоціація атомовъ, заключаетъ въ себѣ нѣчто большее, чѣмъ элементы ее образовавшіе, нѣчто отъ нихъ совершенно отличное.

Таковы же отношенія и отдѣльныхъ личностей къ обществу.

Намъ неоднократно приходилось говорить о политическомъ и культурномъ значеніи коллективной психологіи — именно для нашего демократическаго времени. Психологія эта, въ полномъ смыслѣ,—наука будущаго, и она должна лечь въ основу будущихъ политическихъ системъ. Несомнѣнно,—каждая изъ нихъ менѣе всего будетъ походить на *общественный договоръ* Руссо и представитъ другой идеалъ демократической власти, не имѣющій ничего общаго съ обоготвореніемъ количества.

Въ ожиданіи такого будущаго, французскіе соціологи, послѣ теоретическаго анализа соціологіи, представили множество соціологическихъ фактовъ и заключеній первостепенной важности.

Здѣсь было уже откровенное царство публицистики и докладчики безпрестанно сбивались на тонъ парламентскихъ ораторовъ. И это зависѣло не столько отъ темперамента ученыхъ, сколько отъ простого краснорѣчія цифръ и жизненныхъ явленій.

Главное вниманіе, какъ и естественно ожидать, было удѣлено едва ли не самому жгучему вопросу современнаго французскаго быта,—разложенію семьи, въ результатѣ—грозному пониженію цифры рожденій и недалекому обезлюденію страны.

IV.

Факты представлялись докладчиками безъ всякой внутренней связи: каждый говорилъ о предметѣ, имъ изученномъ. Но духъ времени, очевидно, мощно направилъ это изученіе на болѣзненный недугъ страны,—и въ общемъ получалась цѣльная и необыкновенно внушительная картина, обильно иллюстрированная цифрами и юридическими документами.

Напримѣръ, одинъ докладчикъ сдѣлалъ очень простую работу. Министерство юстиціи недавно опубликовало документы касательно бракоразводнаго закона 1884 года, и докладчикъ представилъ его результаты.

Съ перваго же года дѣйствія новаго закона до послѣдняго времени количество бракоразводныхъ процессовъ растетъ въ громадной пропорціи и въ еще сильнѣйшей—снисходительность судей. Въ послѣдніе годы 86% просьбъ получали удовлетвореніе. Но здѣсь еще не вся бѣда; главное несчастье страны въ томъ, что разводы умножаются преимущественно среди рабочаго класса. За десять лѣтъ количество ихъ *упятерилось*! И эта участь тяготѣетъ исключительно надъ городскимъ пролетаріатомъ, а такъ какъ въ этой средѣ браки вообще становятся все рѣже и рѣже, въ будущемъ надо ожидать едва ли не полнаго исчезновенія законныхъ семей рабочаго класса. Онъ предпочитаетъ свободные союзы,—и они до такой степени уже успѣли войдти въ нравы, что многія кооперативныя общества и учрежденія взаимопомощи признаютъ «сожительницъ»—*les compagnes*—на одинаковыхъ правахъ съ законными женами.

Судьба дѣтей при такихъ условіяхъ въ высшей степени печальна. Легкость развода и незаконность брачныхъ союзовъ гибельно отражается на количествѣ дѣтей и еще гибельнѣе на ихъ нравственномъ воспитаніи. Среднее сословіе, какъ извѣстно, избѣгаетъ многочисленныхъ семей по чисто-матеріальнымъ соображеніямъ. Остается одно сельское населеніе: оно—единственная надежда страны. Но съ теченіемъ времени городское населеніе разрастается на счетъ сельскаго, подрывается, слѣдовательно, и эта надежда. Естественно, краткій докладъ о бракоразводномъ законѣ вызвалъ у слушателей сильнѣйшее впечатлѣніе и призывъ докладчика помочь бѣдѣ, встрѣтилъ единодушное сочувствіе. По мнѣнію докладчика, ни въ одной странѣ не происходитъ въ настоящее время такого рѣшительнаго и быстраго разложенія семейнаго начала, какъ во Франціи. Участь націи, разумѣется, самая плачев-

ная, но существуетъ ли средство—спасти семью какими бы то ни было государственными мѣрами тамъ, гдѣ сама жизнь стремится разрушить ее? Очевидно, недугъ таится въ основной организаціи *общества*, а не въ частныхъ законахъ.

Другое общественное явленіе, еще болѣе страшное, отмѣчено цѣлымъ рядомъ докладовъ и всесторонне выясненно продолжительными преніями, вопросъ объ алкоголизмѣ. Онъ неразрывно связанъ съ вопросами о нравственномъ и физическомъ вырожденіи и о повышеніи преступности. На всѣ эти темы съѣздъ представилъ множество документальныхъ данныхъ и въ общемъ нарисовалъ удручающую драматическую перспективу больного общества.

Во Франціи алкоголизмъ сравнительно недавняго происхожденія. До пятидесятыхъ годовъ недугъ былъ неизвѣстенъ; населеніе пило виноградную водку, и даже въ спеціальныхъ изслѣдованіяхъ говорили о пьянствѣ, но не объ алкоголизмѣ. Въ 1855 году выработка вина оказалась крайне скудной, и одновременно въ продажѣ появилось громадное количество алкоголя; въ слѣдующія десятилѣтія потребленіе его съ одного литра на человѣка дошло до пяти литровъ. Доктора забили тревогу, стали публиковать подробные анализы алкоголическихъ напитковъ, доказывали вполнѣ наглядно, какой страшный ядъ заключается въ любимѣйшемъ напиткѣ французовъ—въ абсентѣ, сколько бѣдствій причиняетъ этотъ ядъ своимъ жертвамъ и ихъ потомству; голосъ этотъ звучалъ и продолжаетъ звучать въ пустынѣ. Издавались даже законы противъ пьянства, но судьи опасались примѣнять ихъ: до такой степени порокъ сталъ популярнымъ,—приходилось опасаться негодованія народа на строгость наказаній за любимое удовольствіе.

Одинъ изъ докладчиковъ, по профессіи публицистъ, весьма картинно изобразилъ современное значеніе кабака въ общественной жизни Франціи. «La halte au cabaret»—остановка у кабака, важнѣйшій моментъ въ повседневной жизни рабочаго и всей его семьи. Здѣсь онъ забываетъ свою усталость, согрѣвается отъ холода, мирится съ своей женой, оказываетъ рѣдкія ласки своему ребенку, давая ему допить свой стаканъ.

Но все это только внѣшность зла, неизмѣримо мрачнѣй его сущность.

Наука давно удостовѣрила, что алкоголизмъ слѣдуетъ считать глубочайшей причиной нравственнаго и физическаго вырожденія населенія. Въ мѣстностяхъ, наиболѣе пораженныхъ недугомъ, рождаемость понижается и преступность усиливается. Отъ пьяницы рождается пьяница и преступникъ; эта аксіома вновь была подтверждена на съѣздѣ, и докладчики наперерывъ приводили множество примѣровъ поразительной яркости. Врачи съ долголѣтней практикой въ алкоголическихъ мѣстностяхъ, уголовная статистика—единодушно доказывали, какое неотразимое бѣдствіе виситъ надъ страной, зараженной алкоголизмомъ.

Одинъ докладчикъ развернулъ по истинѣ трагическую картину въ полномъ смыслѣ новѣйшаго явленія,—самоубійства дѣтей и

юношей, ниже шестнадцатилѣтняго возраста. Потомство алкоголиковъ уже является на свѣтъ безнадежно пессимистическимъ, съ неизлѣчимо-мрачными настроеніями, съ отчаянными понятіями о жизни—даже раньше, чѣмъ были испытаны какія бы то ни было несчастія. Прирожденное нервное разстройство мѣшаетъ естественному развитію организма, и одновременно съ новымъ рожденіемъ въ міръ появляется новый патологическій субъектъ, тѣмъ болѣе опасный, что маніи на почвѣ алкоголизма не поддаются излѣченію.

Предъ нами рядъ исповѣдей молодыхъ преступниковъ и онѣ поражаютъ полной безпросвѣтностью человѣческой души и мысли.

Одинъ сознается, что убить все равно кого, было его *idée fixe*; онъ не могъ отдѣлаться отъ нея, будто отъ внушенія. *Рубить головы*,—ему казалось величайшимъ наслажденіемъ. Съ первой минуты сознанія, онъ только и мечталъ объ *ударахъ ножа*. И при первомъ же удобномъ случаѣ несчастный совершаетъ убійство съ цѣлью похитить восемь франковъ! Онъ сынъ алкоголической семьи.

Другой, также сынъ алкоголика, разсказалъ на судѣ еще болѣе любопытную исторію. У него страсть къ преступленію развилась на почвѣ маніи величія. Ему нестерпимо хотѣлось заставить публику говорить о себѣ. Онъ не могъ помириться съ мыслью, что его имени нѣтъ въ газетахъ, его не произносятъ публично съ любопытствомъ или ужасомъ. Онъ долженъ хотя бы на нѣсколько минутъ разыграть эффектную роль, пусть сценой будетъ даже эшафотъ. Но онъ заставитъ толпу смотрѣть на чего, удивляться ему и спокойно подставитъ свою голову подъ ножъ гильотины.

И этотъ типъ молодыхъ людей, даже дѣтей, ищущихъ шумной популярности путемъ преступленій, является все болѣе распространеннымъ. Народился особый видъ *сверхчеловѣка*, убѣжденнаго въ своемъ героическомъ призваніи не на основаніи какихъ-либо талантовъ и подвиговъ, а въ силу болѣзненнаго, навязчиваго представленія.

Онъ не поддается никакому лѣченію. Недужный субъектъ стихійно идетъ къ своей цѣли и совершаетъ преступленіе съ величайшимъ наслажденіемъ, разсказываетъ о немъ съ гордостью и безъ малѣйшаго проблеска раскаянія, даже мысли о нравственномъ качествѣ своего дѣйствія.

Что остается обществу дѣлать предъ такими врагами, обличающими свои антисоціальныя страсти неудержимо и въ то же время обдуманно? Наслѣдственный алкоголикъ не можетъ быть посаженъ въ сумасшедшій домъ. Онъ держитъ себя какъ вполнѣ здоровый человѣкъ, можетъ даже отличаться извѣстной талантливостью, способностью логически и убѣдительно разсуждать, проявлять въ особенности большой артистическій талантъ, съ эффектомъ и расчетомъ, и за всѣми этими качествами скрывать неутомимую жажду крови, быть немощнымъ рабомъ темной органической силы и подъ ея внушеніемъ не различать ни добра, ни зла.

*

Болѣе опасное противообщественное бѣдствіе трудно представить. И въ то время, когда общество не обладаетъ никакими предупредительными мѣрами самозащиты, оно умѣло выработать не мало поощрительныхъ.

Та же литература является услужливой спутницей алкоголизма. Порнографія во Франціи процвѣтаетъ въ печати, въ публичныхъ зрѣлищахъ, и неуклонно развращаетъ молодыя поколѣнія. Развращеніе начинается очень рано, на школьной скамьѣ, и является вполнѣ законченнымъ къ юношескому возрасту.

Оно характеризуется крайнимъ пониженіемъ нравственной энергіи, силы сопротивленія предъ чувственными инстинктами. Субъектъ постепенно становится невмѣняемымъ не потому что онъ утратилъ способность различать отрицательныя идеи и поступки отъ положительныхъ, а потому что у него исчезла нравственная сила владѣть своими идеями и поступками. Усиленное развитіе чувственныхъ наклонностей всегда сопровождается вырожденіемъ воли: болѣзненно чувственный субъектъ находится въ положеніи *наименьшаго сопротивленія*, *minous resistentiae*, становится безхарактернымъ, безличнымъ, приноситъ въ жертву минутному наслажденію какіе угодно принципы и обязательства. У него всѣ другія способности развиваются въ интересахъ животнаго самоудовлетворенія,—хитрость, отвага служатъ цѣлямъ соблазна, насилія.

Это психологія, точно установленная и безпрестанно подтверждаемая многочисленными примѣрами изъ жизни.

Нѣтъ нужды напоминать, какую грозную задачу ставятъ эти явленія наукѣ и законодательству.

Большинство уложеній сурово относится къ пьянству. Законы англійскіе, американскіе, австрійскіе и французскіе признаютъ полную отвѣтственность за преступленія, совершенныя въ состояніи опьяненія. Авторитетнѣйшіе юристы безсознательность пьянаго, если она существуетъ, признаютъ безусловно добровольной, слѣдовательно наказуемой.

Все это вполнѣ справедливо, можетъ быть, даже было бы еще справедливѣе усиливать наказанія за преступленія, совершенныя въ пьяномъ видѣ, такъ какъ въ такомъ преступленіи заключается двойное нарушеніе принциповъ общественнаго порядка и нравственности. Такъ именно смотрѣли на вопросъ въ древности, предъявляя самыя настойчивыя требованія чувству человѣческаго достоинства и силѣ человѣческаго разума.

А между тѣмъ, древность не имѣла даже отдаленнаго представленія о томъ, что мы называемъ алкоголизмомъ. И намъ въ точности извѣстны величайшія общественныя и, слѣдовательно, политическія бѣдствія, связанныя съ недугомъ. На сколько же строже должно быть законодательство при такихъ условіяхъ и на сколько долженъ казаться намъ презрѣннѣе и ненавистнѣе человѣкъ, предающійся пьянству и своей личностью вносящій въ общество ужасъ библейской кары, даже болѣе страшной, потому что потомство алкоголика раньше полнаго исчезновенія причиняетъ непоправимыя бѣдствія всему обществу, распространяетъ

заразу вырожденія вглубь и вширь и способно растлить самый здоровый соціальный организмъ.

И все-таки врядъ ли одно законодательство въ силахъ устранить или даже ограничить растлѣніе.

Съѣздъ единогласно призналъ алкоголизмъ «страшнымъ бичомъ» и настаивалъ на необходимости средствъ спасенія. Нѣкоторые докладчики предложили рядъ административныхъ и законодательныхъ мѣръ, но президентъ присоединился къ другого рода предложеніямъ, имѣвшимъ въ виду не государственную регламентацію, а общественную инициативу.

И это сознаетъ само общество, оно только не выработало цѣльнаго единаго плана борьбы, не организовало великаго крестоваго похода противъ врага. Президентъ высказалъ мысль о необходимости особаго конгресса для обсужденія вопроса объ алкоголизмѣ, конгресса не для выработки репрессивныхъ мѣръ, а для организаціи общественной борьбы съ возрастающимъ зломъ. Подобная организація была бы великимъ подвигомъ патріотизма.

Желаніе, особенно краснорѣчиво звучавшее среди ученыхъ, посвятившихъ свой трудъ и свои силы настоятельнѣйшимъ политическимъ соціальнымъ нуждамъ своего отечества. Ни одна сессія современной французской палаты не могла бы сравниться значительностью поднятыхъ и разъясненныхъ вопросовъ, благородствомъ истинно-патріотическихъ настроеній съ собраніемъ историковъ и соціологовъ. И этимъ фактомъ доказывается жизненность и непрерывное развитіе національной французской мысли, несмотря на всѣ болѣзненныя явленія современной политической борьбы.

СОДЕРЖАНІЕ.

	стр.
Гдѣ настоящая Франція?	1
Культурная задача грядущаго вѣка.	21
Европейская политика въ борьбѣ за справедливость и гуманность	42
Schicksalsmensch.	65
О театрѣ и идеяхъ	87
Культурные и соціальные вопросы нашего времени при свѣтѣ германской исторіи.	111
О политикѣ и соціологіи въ современной Франціи.	142

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

Политическая роль французскаго театра въ связи съ философіей XVIII-го вѣка. Москва. 1895 г. Цѣна 3 руб. 50 коп.

Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ. Жизнь. — Личность. — Творчество. С.-Петербургъ. 1896 г. Цѣна 2 руб.

Шекспиръ. С.-Петербургъ. 1896 г. Цѣна 25 коп.

Писемскій. С.-Петербургъ. 1897 г. Цѣна 1 руб.

Учитель взрослыхъ и другъ дѣтей. (Бичеръ-т оу). Москва. 1898 г. Цѣна 30 коп.

Люди и факты западной культуры. Герой современной легенды. (Наполеонъ). Совѣсть въ исторіи одной жизни. (Мильтонъ). Москва. 1898 г. Цѣна 1 руб.

Національная героиня Франціи (Жанна д'Аркъ). Москва. 1898 г. Цѣна 35 коп.

Бѣлинскій. Москва. 1898 г. Цѣна 10 коп.

Исторія русской критики. Части I и II. С.-Петербургъ. 1898 г. Цѣна 2 руб.

Изъ Западной культуры. С.-Петербургъ. 1899. Цѣна 2 р.

Императоръ Александръ II. Москва. 1899 г. Цѣна 45 коп.

Пушкинъ. Москва. 1899 г. Цѣна 25 коп.

Изъ исторіи Москвы. (1812-й годъ). Москва. 1899 г. Цѣна 30 коп.

Островскій. С.-Петербургъ. 1899 г. Цѣна 25 коп.

Поэзія и правда міровой любви (**В. Г. Короленко**). С.-Петербургъ. 1900. Ц. 75 к.

Исторія русской критики. Части III и IV. С.-Петербургъ. 1900. Цѣна 2 р.

Цѣна **60** коп.